При поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Дмитрий
Мамин-Сибиряк

ЗОЛОТО

Золото //Азбука, 2014
FB2: , 16 April 2014, version 1.0
UUID: 150AB461-3AD3-4C3E-9EEC-FC1078B0AC76
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Дикое счастье. Золото

Д. Н. Мамин-Сибиряк родился и большую часть жизни прожил на Урале. В историю русской литературы он вошел прежде всего как автор «уральских» романов, которые и принесли ему широкую известность. Все в них казалось необычным для читателей: и сам колорит сибирской жизни — природа, быт, традиции, народная речь, и новые герои — заводчики, старообрядцы, охотники, и их сильные, волевые характеры. А. П. Чехов отзывался о произведениях Мамина-Сибиряка: «Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они все — зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей — сильных, цепких, устойчивых и черноземных людей, — то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них». Содержание: Дикое счастье Золото

Содержание

Дикое счастье 0006
I 0006
II 0020
III 0044
IV 0071
V 0090
VI 0105
VII 0126
VIII 0144
IX 0165
X 0183
XI 0211
XII 0232
XIII 0255
XIV 0281
XV 0310
XVI 0333
XVII 0355
XVIII 0372
XIX 0393
XX 0421
XXI 0443
XXII 0458
XXIII 0480
XXIV 0502

XXV 0526
XXVI 0536
Золото 0545
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 0545
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 0678
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 0797
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 0901
ЧАСТЬ ПЯТАЯ 1021

Дмитрий Мамин-Сибиряк
Дикое счастье. Золото

Дикое счастье

I

— Господи Исусе Христе, помилуй нас...

– Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

– Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, – во как зарядил!

– Откедова Бог несет?

– В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его...» – ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась

пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.

– Ну, едва тебя Бог простил с запором-то… – проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

– Ты востер больно… Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

– Ладно, как пересобачил лошадь-ту, – говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

– За долгами отец посылал, – коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. – В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась…

– Знамо дело, не так же ее бросить… Не нашли с отцом-то другого времени, окромя рас-

путицы, – ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. – Эх, как пересобачил... Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

– Так ты уж тово, Зотушка... Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

– Ладно, ладно... Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить – только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь этот Михалко! – думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. – Нет чтобы дать дяде пятачок... А-ах, чтоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими

ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой… помилуй нас грешных! Ведь всего один пятачок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни… Просил даве у старухи червячка заморить – в шею выгнала… Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой – угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в

отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

– Нет, видно, не вышлют... – решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. – Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстри-

женными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», – подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода – всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриар-

хальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая

голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземинe не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем;

красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

– Будет вам лясы-то точить, – строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. – Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик...

– Ну не буду, мамынька, – оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Пошутил, и кончено...

– Уж бабушка всегда у нас такая... – прибавила Нюша.

– Какая такая? – сердито заговорила Татьяна Власьевна. – Ну, говори, верченая!..

– Да такая... слово сказать нельзя.

– Ох, ты-то – невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот...

Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то,

так не до смеху будет... Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать... У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти – тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка...» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит,

милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

– А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое...

Он замялся и почесал у себя в затылке.

– Пойдем ко мне в горницу, – проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях.

Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» – являлось железным законом.

– Ну что, Миша?.. – спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

– Да вот, тятенька... я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, – неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

– Это из Полдневской?

– Да. От Маркушки... Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, – говорит, – увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, – говорит, – ему поглянется – пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

ГордейЕвстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два зо-

лотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника... Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

– Жилка... – в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. – Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

– Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? – спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. – За долг?

– Нет, про долг он ничего не говорил, а

только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, – говорит, – мне с Гордеем Евстратычем переговорить...» Крепко наказывал.

– А про жилку-то он тебе говорил или нет?

– Только всего и сказал: «Покажи, – говорит, – тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее...» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

– Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? – спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

– Да, совсем в худых душах... [1]Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

ГордейЕвстратыч не слыхал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

– Все это вздор, Миша... Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

II

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, – вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканные из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в

длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства

раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву – это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

– А ты, баушка, на меня не сердишься? – спрашивала Нюша впросонье.

– Отстань, – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

– В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка… Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?

– Отстань!..

– Феня такая счастливая… – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. – У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному… Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.

– Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой… Ох, ужо повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному по-

толку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

– Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, – начинает Нюша, сладко позевывая. – А знаешь, сколько он за него заплатил?

– Отстань...

– Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

– Тьфу!.. тьфу!.. – отплевывалась старуха. – Провались ты с своим Вуколом Логинычем... Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч... Тьфу!..

– Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых... Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

– Как семьдесят?

– Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик...

– Ох, дурак, дурак этот Вукол... Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостев... семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков... Ох-хохо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то... Теперь взять хоть Настю Шабалину – вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу

срамит... Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, – пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать... А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промеж себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых – нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползи

ли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, – как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок – тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный

домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

– Слава тебе, Господи! – прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела

ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

– Господи Исусе Христе, Сыне Божий... – шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под но-

шей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» – шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю – сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудев-

шего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика... Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода – ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра оста-

лось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, – именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее… Татьяна Власьевна видит себя пятнадцатилетней девушкой – она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточ-

ную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки... Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец – суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай... И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную... Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю – и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил... Прости и его согрешения, Господи... А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, по-

знакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек – глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании…

– Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? – спросила Татьяна Власьевна. – Точно сказать что-то хочешь…

– Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу… – ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

– Ну так говори…

– А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна: погубила ты меня, иссушила!.. Господь те-

бе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

– Гоните меня, Татьяна Власьевна... – тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. – Гоните...

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее... Красивая она была тогда да молодая, – кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, – бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча,

всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.

– Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, – заговорила она, когда немного пришла в себя. – Опозорил мою головушку... Как я теперь на мужа буду глядеть?

– Голубушка, Татьяна Власьевна... Мой грех – мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе... Прогонишь меня – один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница... Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

– Уходи, Поликарп Семеныч... Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

– Прощай, чужая жена – моя погибелюшка, – проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается... Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

– Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех... – пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое... Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь – не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся

настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девятин

Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

– Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай... Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

– Как же это, Таня...

– Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь... Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик... не поминай лихом...

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

– А я буду молиться за тебя Богу, – уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому,

«честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу – ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец – строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни началила – из Зотея ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьев-

ны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это – путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, – благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, – думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. – Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры

сыплются из трубы, – значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. – Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

ГордейЕвстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно – сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая... Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему... Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

– Ты что это, Гордей? – спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь?

– Нет, мамынька... Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

– Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

– Гонял, да без толку... Самому надо съездить.

III

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

– Я сам поеду, – прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома – раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду...» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на измоpенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути – в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места... Все эти мысли промельк-

нули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь?

– Значит, какое-нибудь дело завелось, – решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.

– Зачем в Полдневскую-то наклался? – спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

– Дельце есть маленькое... После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

– Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

– Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать... Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать...

– Подождите с книгой-то, Гордей Евстра-

тыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем…

– Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

– Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным – непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю… По пути и забежит, от Пятовых-то.

– Как знаешь.

ГордейЕвстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика – туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел,

чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ощип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» – подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожках настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

– Куда Бог несет, Гордей Евстратыч? – издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. – Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить... Уж не на

охоту ли собрался?

– Какая у нас охота, Вукол Логиныч... – ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал... – припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. – Тьфу ты, греховодник... Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее вы-

ехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор – все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает... – подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. – Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам... Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят... Вот лошадь-то какая – зверь зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному

виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по планту» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные – отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась право-

славная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка – и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за

косогором, гора за горой... Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной трущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы – восемь верст, две версты подался – ключик из косогора бежит, значит – половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред собой Ша-

балина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, – и только. Сыт, одет, ну, копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча... А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да... В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым де-

лом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует… То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом… Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», – раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом… Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, стано-

вой Плинтусов даже спит с ним на одной постели... От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да... Вон Нюша на возрасте – ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться – и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», – невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль – шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки – трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гор-

дей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

– В которой избе живет Маркушка-старатель? – спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

– Ну народец!.. – проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей – составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, – вот и все. «Ну народец! – еще раз подумал Брагин. – В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики...»

– Господи Исусе Христе... – помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

– Аминь... – отдал из комнаты чей-то хриплый голос. – Это ты, Гордей Евстратыч?

– Я, Маркушко...

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

– Ну что, плохо тебе? – спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.

Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.

– Надо… надо… больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, – отозвалась голова Маркушки. – Думал, не доживу… спасибо после скажешь Маркушке… Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

– Надо за попом послать?

– Где уж… нет… вот ужо я тебе все обскажу…

ГордейЕвстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

– Видел жилку-то? – глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

– Видел…

– Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч… да… пуще глазу своего берег… Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу… Человека я порешил… штегеря, давно это было… Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой… да… думал отмолить, а тут смерть пришла… ну, я тебя и вспомнил… Видел жилку? Но богачество… озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой

грех... и старуху свою заставь... в скиты посылай...

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

– Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать... Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.

– А ежели ты обманешь, Маркушка?

– Нет, Гордей Евстратыч... Ох, тошнехонько!.. нет, не обману... Не для тебя соблюдал местечко, а для себя... Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

– Ладно, поклянусь...

– Исусовой молитвой поклянись!

– Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь... Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь – так о тебе особая и молитва.

– Думал я про Шабалина... – заговорил Маркушка после тяжелой паузы. – Он бы ико-

ну снял со стены… да я-то ему, кровопивцу, не поверю… тоже вот и другим… А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч… особливо твою мамыньку, Татьяну Власьевну… ее-то молитва доходнее к Богу… да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?

– Нет, Маркушка, это грешно… Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещевался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

– Ну, слушай, Гордей Евстратыч… Робили

мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных... шахту били... много они денег просадили на нее... я ходил у них за штегеря... на восемнадцатом аршине напали на жилку... а я сказал, что дальше незачем рыть... От всех скрыл... ну, поверили, шахту и бросили... Из нее я тебе жилку с Михалком послал...

– Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

– Нельзя было... по малости ковырял, а чтобы настоящим делом – сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться... надо капитал... с начальством надо ладить... А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы... пустяк... Шабалин обещал двадцать целковых.

– Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? – заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

– Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч... а как Шабалин делает... россыпью объяви... а в кварце, мол, золото попадается только гнездами... это можно... на

это и закона нет... уж я это знаю... ну надо замазать рты левизорам да инженерам... под Шабалина подражай...

– Хорошо, там увидим... Ты расскажи, где жилку-то искать?

– А вот как ее искать... Ступай по нашей Полуденке кверху... верстах в пяти в нее падает речка Смородинка... по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная... от Смородинки возьми на Заразную... тут пойдет увал... два кедра увидишь... тут тебе и жилка...

ГордейЕвстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

– Все? – спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

– Все... ах, еще вот что, Гордей Евстратыч... угости, ради Христа, водочкой наших-то... пусть погуляют...

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой

иероглифами.

– Славные ребята… – умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. – Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой… пусть не поминают лихом Маркушку… Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

– Тебе бы выпить самому-то, Маркушка… Может, облегчит…

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку… Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела

умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки…

– Как же это вы живете здесь, – удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, – хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть…

– Нам невозможно без водки… – отрезал кривой мужичонко. – Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет…

Кайло – рыжий детина с оловянными глазами – и Пестерь – мужик в шапке – в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось

странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

– На́, пей, Домашка… – говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

– Зачем ты ее поишь? – спросил Гордей Евстратыч.

– Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! – удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

– Домашка у нас молодец… – отозвался с своего ложа Маркушка. – Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч… ей тоже без водки-то невозможно…

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с гряз-

ным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Ро́спитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У… язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего

дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

– Так уж ты тово… не забывай их… – хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.

IV

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно – она никак не могла разгадать.

– Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, – заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. – Вот, погляди, какую игрушку добыл…

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку «игрушку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

– Никак золото… – недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

– Да, мамынька… настоящее червонное золото, – уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. – Бог его нам послал… видно, за родительские молитвы.

– Что-то невдомек мне будет, милушка.

ГордейЕвстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел.

– Вот поклялся-то напрасно, милушка… – строго проговорила старуха, подбирая губы. – Этакое дело начинать бы да не с клятья, а с молитвы.

– Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, – тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому… Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

– Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколко! –

со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. – Уж успел пронюхать… Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

– Вернее смерти, потому – Маркушка сам мне говорил…

– А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку… тому же Вуколу.

– Нет, мамынька… Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено…

– Как же это так вдруг, милушка… – опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. – Как будто даже страшно: всё торговали, как другие, а тут золото искать… Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

– А у Вукола вон какой домина схлопан – небось, не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам Господь за родительские

молитвы счастье посылает… Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи…

– Уж это что говорить, милушка… Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно… И молитва там, и милостыня, и сорокоуст – все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень…

– Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, – с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. – Ему небось ничего не страшно… Все слопает. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

– Да разве я говорю, что жилку Вуколу отдать? – тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. – Надо подумать, посоветоваться.

– С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава богу, не двух по третьему...

– С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

– Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок...

Старшая невестка, Ариша, была колобовской «природы», а младшая, Дуня, – савиновской, поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова, – рассуждала про себя Татьяна Власьевна. – Недаром два раза в волостных старшинах сидел... Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить

нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по Писанию, только на́, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

– А я вот что тебе скажу, милушка… Жили мы, благодарение Господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить… Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать?

А все это от твоей жилки... Погляди-ко, ты остребенился на сватьев-то... Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом...

– Мамынька, ради Христа, прости меня дурака... – взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. – Это я так... дурость нашла.

– Надо повременить, Гордей Евстратыч.

– Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется...

– Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ноч-

ного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная нежданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченною доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей патриархальной простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о.

Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами; выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которою о. Крискент гордился в особенности.

– А... дорогая гостья! Сколько лет, сколько зим не видались, – приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с граненными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадушке дополняли картину. Сам о. Крис-

кент – низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, – принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно поворачивался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом проницательными темными глазками, которые постоянно улыбались, – особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе – середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадается среди нашего духовенства. Тот запас семей-

ных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к о. Крискенту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители-священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел вовремя согласиться – это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его домика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека, в сущности, сводилась к тому, что он,

как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

– Садитесь, Татьяна Власьевна... Ну, как вы поживаете? – говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. – Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят... Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

– А я пришла к вам по делу, отец Крискент... – заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. – И такое дело, такое дело вышло – дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

– Так, так... Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, – мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. – Человек предполагает – Бог располагает. Это уж не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать... Как сказал апостол: «Претерпевый до конца, той спасен будет...» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о.

Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывавшая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

– Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? – спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

– Я боюсь, отец Крискент… Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно сделается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло…

– Так, так… Конечно, богатство – источник многих злоключений… особенно при наших слабостях, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем десять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, по добре расточих», примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на

ниве Господней... Я лично смотрю на богатство как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

– А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? – спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. – Это от одного разговору, отец Крискент! А что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется... Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный че-

ловек и вдруг накинул на себя этакое благочестие... Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

– Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу... Вот она и служит, Татьяна Власьевна! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью... Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения: разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять – да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьев-

не, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства.

– Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьевна.

– Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, – говорила в раздумье Татьяна Власьевна, – если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников...

– Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах... Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменил тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

– Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? – переводила на свой

язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

– О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку…

– Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам Промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее.

– Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: «берите жилку» и не говорил – «откажитесь»… – ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего камлотового подрясника. – Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка, Дуня?

– Слава богу, отец Крискент, слава богу…

Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, Богородица... Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал.

– Слава богу, слава богу... – повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горнице» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как наболь-шие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотушка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

– Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, – говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. – Как ты думаешь,

брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

– А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли... Вот что!.. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь... От этого золота один грех...

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова!.. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

– Только поскорее... – торопила теперь старуха. – Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку...

V

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко, и гремела недаром: невесты были на подбор – высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и

обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль... У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест – все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались – по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах; не ровен час, попритчилось что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы как своих ушей таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

– Мы этих на племя оставили, – шутили старики Колобовы и Савины, – а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны... Этак, пожалуй, всю нашу бело-

глинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Нюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычаи». Жили крепко, по-старинному, до новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь – и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных – весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским товаром» особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в из-

вестной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно этот завалявшийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

– Уж брошу же я эти панские товары! – в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Нюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. – Просто житья не стало... Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не желтого, а «ранжевого». А куда я с другим то-

варом денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода и остатков да обрезков не полагается. Вот ужо брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом. Вон Пазухины живут себе как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки мученической.

– Тоже и с хлебом всяко бывает, – степенно заметит Татьяна Власьевна. – Один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь... Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала... Четыреста рубликов из кармана.

– А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшком Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» – это было своего рода законом для всего брагинского дома, а

Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья – все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с целую комнату; ее топили особенными полуторааршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, «голанку», – и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

– В самом деле, Гордей Евстратыч, – уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, – вот у меня на целый дом всего две маленьких печи – и тепло, как в бане. Вот бы вам…

– Это батюшкову-то печь ломать? – изум-

лялся каждый раз Гордей Евстратыч. – Что вы, что вы, отец Крискент... Нет, этому не бывать, потому это какая печь – батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся – он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна... Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь...

– Да, оно, конечно... пожалуй... нынешние кирпичи ничего не стоят, – соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч походил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни делал Гордей Евстратыч, он делал с тем осо-

бенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще напиться чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время – утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая – все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал пря-

мо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил недоканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», – говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью – оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрязг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспи-

тывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В дванадесятые праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имев-

шем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, – он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастия и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под

началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим – это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сара-

фанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна

и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить...» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком и из нее подчас можно было веревки вить.

– Ох, мудреная ты моя головушка, – иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. – Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

– А так и буду... Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

– Ах, ну тебя совсем... Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без урода.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей – он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам: отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

VI

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов – самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастием вроде того, если бы кого продернули в газетах.

– А у Брагиных-то не того... – заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребе приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

– А что, Марфа Петровна? – осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

– Да так!.. неладно, – нарочно тянула Мар-

фа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

– Уж не болен ли кто? – сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно

самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу, невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно...

– В самом деле, не прихворнул ли у них кто? – спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

– Нет, все здоровы, а только что-то нелад-но... Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни...

– Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Нюшу, или, может, письмо откуда получили?.. Вообще это неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстя-

ную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», – подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда

стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

– Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, – ласково встретила Матрена Ильинична гостью. – А мы тут совсем мохом обросли без тебя...

– То-то, поди, соскучились? – отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спо-

койно-добродушный тон важной старухи. – Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

– На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит… А что?

– Да я так сказала… живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.

– А как Кондрат Гаврилыч? – тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

– Чего ему делается… – нехотя ответила Матрена Ильинична. – Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь… А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то!

– Я ничего, Матрена Ильинична… ей-богу… Я так сказала…

– Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась…

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде-племени.

– А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, – успокаивала Марфа Петровна, – а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых… Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной – водой не разлить…

– Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, – стонала Матрена Ильинична. – Внове ее дело, долго ли до какой напасти…

– Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

– Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский

дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбавшимися глазами, – Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя; Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, – она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишка-

ми, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

– Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, – встретила свою гостью Агнея Герасимовна. – Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, – продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Аг-

нею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:

– Чуть-чуть не захлестнуло... И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершной, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, – грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик... А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской – некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Вла-

сьевне было ходить к о. Крискенту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками... Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

– И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, – выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, – непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, – компанию будут водить только с становым да

с мировым…

– Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

– Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок… Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне – ну, родня, свои люди, – а вам скажу. Вот сами увидите… Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют…

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, – думала Пелагея Миневна. – Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо…»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, както всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.

– Вот чему не потеряться-то… – смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. – Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?

– У вас, Анна Гордеевна, всегда такие сло-

ва... как ножом по сердцу режете...

– Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже... А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин – и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались... Позабыл, видно?

– Мало ли что прежде было... И теперь можно бы когда вечерком по улице на саночках прокатиться... Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

– А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться... Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди... Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли... Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Во-

лодьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, – из игры да из песни слова не выкинешь... За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным на-

казанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

– Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? – иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. – Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю... К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха...

– А что же мне делать, если никого другого нет... Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова... Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

– Уж и нашли же вы сокровище... Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку...

– Это все бабушка, Феня... А у ней извест-

ная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме – сама и маленькая... Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай... А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

– Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело...

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай – он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха – борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали меж-

ду собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни по-

решить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гненького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, – Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и – в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в на-

ступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу.

– Молодец, если умел Сила Пазухина поучить… – говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. – Есть сноровка… молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом… Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены.

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.

Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе – ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

– И хорошо, что не в отца пошел, – говори-

ла она, – с таким бойцом жить – без ребрышка ходить... А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

VII

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не

доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безыменной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был – проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

– Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, – говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, – да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки... Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

– А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

– Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спущаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку

Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое – косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

– Здесь… – говорит Евстратыч, подъезжая к кедрам.

Они спешились. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой мо-

лодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними завален-ное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут проби-ваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

– Ну, теперь нужно будет лезть туда, – про-говорил Гордей Евстратыч, вынимая из пере-метной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. – Одним концом захватим за кедры, а другой в яму спустим... Маркушка сказывал – шахта всего восемна-дцать аршин идет в землю.

– Как бы, тятенька, не оборваться, – заме-тил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. – Я полегче вас буду – да-вайте я и спущусь...

– Нет, я сам...

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного

колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, – это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему со-

кровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», – думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует – и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное – позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог

Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.

– А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? – говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

– Нет... невозможно, – хрипел Маркушка, не поворачивая головы. – Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают... Только деньги да время задарма изведешь... прожженный народ наши приисковые... чистые варнаки... Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают... нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись...

– Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

– Ах, какой же ты, право, непонятный... Знамо дело, что не дадут. Я уж тебе говорил, что надо под Шабалина подражать... он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным... Есть тут один анжинер – тебе уж к нему в правую ногу придется...

– Да кто такой?

– А Лапшин, Порфир Порфирыч... ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, – он все оборудует левой ногой... уж я знаю эту канитель... Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то... только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то, как лягушку, раздавят...

– Не люблю я этих чиновников, Маркушка... Нож они мне вострый!

– Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно...

– А я этого Порфира Порфирыча даже очень хорошо знаю. Не один раз у меня в лавке бывал... Все платки кумачные покупал...

– Пьяный?

– Навеселе...

– Ну, обнаковенно. У него зараза: платки девкам в хоровод бросать... Прокурат он, Порфир-то Порфирыч, любит покуражиться; а так – добреющая душа, – хоть выспись на нем... Он помощником левизора считается, а от него все идет по этим приискам... Недаром Шабалин-то льнет к нему... Так уж ты прямо

к Порфиру Порфирычу, объявишь, что и как; а он тебя уж научит всему...

Крепко не хотелось Гордею Евстратычу связываться с крапивным семем, но выбирать было не из чего. Надо было ковать железо, пока оно горячо; а бог знает, что еще впереди. Бывая в Полдневской, Гордей Евстратыч несколько раз предлагал Маркушке перевести его в Белоглинский завод к себе в дом; но Маркушка ни за что не хотел оставлять своего логовища и не мог даже себе представить, как он умрет не в Полдневской. Делать нечего, пришлось устраивать Маркушку в его теперешнем помещении, что было очень трудно сделать. Балаган Маркушки промерзал со всех четырех углов, в пазы везде дуло, дым ел глаза, и при всем том не было никакой возможности его поправить хотя сколько-нибудь. Для первого раза Гордей Евстратыч устроил Маркушке постель, послал теплое меховое одеяло, белье, разного харчу, сальных свеч и т. д.

– Я тебе доктора пошлю, он тебя вылечит, – несколько раз предлагал Брагин.

– Нет... какой уж тут доктор, – с безнадеж-

ной улыбкой говорил Маркушка, делая напрасное усилие улыбнуться. – Ваши доктора только уморят… я у старух пользуюсь…

– Да чем они тебя лечат, старухи-то?

– Средствие такое есть… пью настой из черных тараканов…

Маркушка был фаталист и философ, вероятно, потому, что жизнь его являлась чем-то вроде философского опыта на тему, что выйдет из того, если человека поставить в самые невозможные условия существования. С двенадцати лет Маркушка пил водку и курил табак: каторжная приисковая работа чередовалась с каторжным бездельем. Середины ни в чем не было, и, вероятно, на этом основании Маркушка создал себе ее искусственно в форме водки. Благодаря этому радикальному средству печень Маркушки весила тридцать фунтов, а он чувствовал, что у него в боку лежит точно целый жернов.

– Это от болоней, – объяснил Маркушка со слов пользовавших его старух. – Все ничего, а как болонь в человеке повреждена – тут уж шабаш… Наши полдневские все от болоней умирают.

Гордею Евстратычу приходилось отыскивать инженера Лапшина, который официально жил в Сосногорском заводе, около которого по преимуществу были разбросаны золотые прииски. От Белоглинского завода до Сосногорского считалось верст двести, но «для милого дружка и семь верст не околица». Нечего делать, кое-как управив свои торговые делишки и перехватив на всякий случай деньжонок, Гордей Евстратыч тронулся в путь-дорогу. Осенняя распутица была в самом разгаре, точно природа производила опыты над человеческим терпением: то все подмерзнет денька на два и даже снежком запорошит, то опять такую грязь разведет, что не глядели бы глаза. Уральские дороги вообще не отличаются удобствами, но в распутицу они превращаются в пытку, и преступников вместо каторги можно бы наказывать тем, что заставлять их путешествовать в осеннюю и весеннюю распутицу по Уралу. В Сосногорский завод Брагин приехал на седьмой день, хотя ехал день и ночь; но, на его несчастье, Лапшин только что уехал под Верхотурье ревизовать Перемытые прииски. Передохнул

Брагин денек в Сосногорске; дальше проживаться даром было нечего, а домой возвращаться с пустыми руками было совестно, – он решил ехать вслед за Лапшиным, чтобы перехватить его где-нибудь на дороге, благо к Верхотурью было ехать в свою же сторону, хотя и другими дорогами. До Перемытых приисков было верст сто с небольшим; но там Брагин опять не застал Лапшина, который только что укатил обратно, в Сосногорск. Приходилось опять тащиться назад. Терпение Гордея Евстратыча подверглось настоящему испытанию, но он решился добиться своего и поймать Лапшина во что бы то ни стало.

На этот раз Порфир Порфирыч был дома. Он жил в одноэтажном деревянном домишке, который и снаружи и внутри отличался величайшим убожеством, как богадельня или солдатская казарма. В передней денщик чистил сапоги и на вопрос Гордея Евстратыча, можно ли будет видеть барина, молча указал сапожной щеткой на открытую дверь в следующую комнату. Сотворив про себя приличную случаю молитву, Гордей Евстратыч перешагнул порог и очутился в совершенно пустой ком-

нате, в которой, кроме дивана да ломберного стола, решительно ничего не было. На диване в одной рубахе и форменных штанах с голубой прошвой лежал низенького роста господин с одутловатым и прыщеватым лицом, воспаленными слезившимися глазами и великолепным сизым носом. Это и был сам Порфир Порфирыч.

– Порфиру Порфирычу-с… – нерешительно заговорил Брагин, отвешивая купеческий поклон.

– Тэк-с… Порфиру Порфирычу сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой… Так? Из белоглинских? Так… Помню. Платки еще девкам покупал…

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Садись – чего стоять-то? Ноги еще, может, пригодятся… Сенька!

– Сичас, вашескородие… – послышалось из передней.

– Давай стул, че-орт!..

– Сичас, вашескородие…

– Ну, садись не то ко мне на диван, пока там что…

– Ничего-с, постоим-с…

– Да ты садись: знаешь мой характер?

ГордейЕвстратыч осторожно присел на самый кончик дивана, в самых ногах у Порфира Порфирыча, от которого так и разило перегорелой водкой. Порфир Порфирыч набил глиняную трубку с длиннейшим чубуком «Жуковым» и исчез на время в клубах дыма.

– Ну что, золото нашел? – заговорил Порфир Порфирыч после небольшой паузы.

– Точно так-с… Есть такой грех.

– Все грешны, да Божьи, и девать нас некуда. Богатое?

– Еще не знаю, Порфир Порфирыч…

– Ой, врешь, по роже твоей вижу, что врешь… Ведь ты обмануть меня хочешь? А потом хвастаться будешь: левизора, дескать, облапошил… Ну, голубчик, распоясывайся, что и как. Я человек простой, рубаха-парень. Семен!

– Сичас, вашескородие…

– Дурак!.. Ну-с, так как это у вас все случилось, расскажите. А предварительно мы для разговору по единой пропустим. У меня уж такое правило, и ты не думай кочевряжиться. Сенька двухголовый! Подать нам графин вод-

ки и закусить балычка, или икорки, или рыжичков солененьких…

Семен на этот раз не заставил себя ждать, и на ломберном столе скоро появилась водка в сопровождении куска балыка. Выпили по первой, потом по другой. Гордей Евстратыч рассказал свое дело; Порфир Порфирыч выслушал его и с улыбкой спросил:

– Все?

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Своим умом дошел или добрые люди научили всю подноготную выложить?

– Был такой грех, Порфир Порфирыч…

– То-то, был грех. Знаю я вас всех, насквозь знаю! – загремел Порфир Порфирыч, вскакивая с дивана и принимаясь неистово бегать по комнате. – Все вы боитесь меня как огня, потому что я честный человек и взяток не беру… Да! Десять лет выслужил, у другого сундуки ломились бы от денег, а у меня, кроме сизого носа да затвердения печенки, ничего нет… А отчего?.. Вот ты и подумай.

– Уж не оставьте, Порфир Порфирыч. На вас вся надежда, как, значит, вы все можете…

– Женат?

– Вдов.

– Дети есть?

– Два сына женатых, дочь…

– Замужем?

– Нет.

– Молоденькая?

– Заневестилась недавно.

– Хорошенькая?

– Не знаю уж, как кому покажется…

– Ну, отлично. Я люблю молоденьких, которые поласковее… Знаешь по себе, что всякая живая душа калачика хочет!.. Ты хотя и вдовец, а все-таки живой человек…

– Я уж старик, Порфир Порфирыч, у меня и мысли не такие в голове.

– Опять врешь… Знаешь пословицу: стар, да петух, молод, да протух. Вот посмотри на меня… Э! я еще ничего… Хе-хе-хе!.. Да ты вот что, кажется, не пьешь? Не-ет, это дудки… Золота захотел, так сначала учись пить.

– Увольте, Порфир Порфирыч. Ей-богу, больше натура не принимает.

– Враки… Пей!.. Вон Вуколко ваш, так тот сам напрашивается. Ну, так жилку нашел порядочную, Гордей Евстратыч? Отлично… Мы

устроим тебя с твоей жилкой в лучшем виде, копай себе на здоровье, если лишние деньги есть.

– Уж как Господь пошлет…

Эта деловая беседа кончилась тем, что после четырех графинчиков Порфир Порфирыч захрапел мертвую на своем диване, а Гордей Евстратыч едва нашел дверь в переднюю, откуда вышел на улицу уже при помощи Семена. Мысли в голове будущего золотопромышленника путались, и он почти не помнил, как добрался до постоялого двора, где всех удивил своим отчаянным видом.

– Ну, я приеду к вам в Белоглинский, – говорил на другой день Лапшин, – тогда все твое дело устрою; а ты, смотри, хорошенько угощай…

На прощанье Порфир Порфирыч опять напоил Гордея Евстратыча до положения риз, так что на этот раз его замертво снесли в экипаж и в таком виде повезли обратно в Белоглинский завод.

VIII

Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Евстратыч приоделся в свой длиннополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги «со скрипом» и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то не ладно, но что – он ей не говорил; провожая его теперь в шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза.

– Устрой, Господи, все на пользу!.. – молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип.

Кучера Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была невелика: до лавки доехать да иногда в гости. В новом шабалинском доме Гордей

Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, устланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж; у подъезда и в передней двери были дубовые, с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар, из отставных солдат, помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами; из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой: зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет – все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместилась в самых непри-

нужденных позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липачка, станового Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна; это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным!

– Наконец-то!.. – закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. – Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку... Вот от кого не ожидал-то! Господа, рекомендую: будущий наш золотопромышленник, Гордей Евстратыч Брагин.

Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки; обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями, Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными глазами, Порфир Порфирыч соскочил с дива-

на, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать.

– Садись, Гордей Евстратыч, – усаживал гостя Шабалин. – Народ все знакомый, свой... А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать. А? Думал-думал да и надумал... Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях! Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки как своих ушей.

Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами; сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с золотой запонкой. Липачек, толстый, опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми и с Варварой Тихоновной, которая в качестве

блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией, но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла!

– Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа… – предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. – Полдюжины холодненького, – коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках.

– Чтобы не рассохся… – прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. – Так ведь, Варвара Тихоновна?

– У вас только и на уме что вино, – жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина.

На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки – точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных вазочках свежая пастила и шоколадные конфеты.

– Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось, – докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. – Такую россыпь облюбовал, такую...

– Антик с гвоздикой или английский с мылом? – добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно кто скреб глиняным черепком у вас в ухе.

– Именно – и с мылом, и с гвоздикой!..

– Вот мы сейчас вспрыснем... – провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. – Гордей Евстратыч, пожалуйста.

– Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки... – нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. – Не за этим я шел, признаться сказать.

– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – обрезала Варвара Тихоновна. – Я здесь за игуменью иду, а это братия...

– Что же, дело хорошее... – согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий единоверческий крест, прежде чем выпить бокал.

– Невинно вино, а укоризненно пьянство,

Гордей Евстратыч, – заметил Плинтусов и опять захохотал.

«Ну и канпания, – думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком, – только бы пособил Господь подобру-поздорову отсюда выбраться...»

Но выбраться подобру-поздорову из шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стуколку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачек и Порфир Порфирыч плясали вприсядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось в какой-то один безобразный сон; он видел, как в тумане, ярко-зеленое платье Варвары Тихоновны, сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все, потом играли опять в карты... Гордей Евстратыч тоже пел, и ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказались самые простые.

– Уж я тебя произведу... – кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к само-

му лицу Гордея Евстратыча. – Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем... Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести... Вот за это за самое я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого, кроме рубахи да портков, никогда ничего не было... А взятки я брать не беру!.. Натурой еще кое-что принимаю... вон Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда Вукола дома нет. Так, Варенька?

– Стала я целовать тебя, – выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. – Велико кушанье!

– А мы сейчас, господа, поедем кататься, – говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. – А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу... Так, Гордей Евстратыч?

– Обнаковенно, – пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали.

К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих

пошевенках; на свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой.

– Ты... что это меня держишь? – закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. – Ра-азе я... пья-ан... а?..

– Я, тятенька, ничего, – оправдывался Архип.

– Ты обманывать меня... а? смеяться... а?.. над отцом смеяться?.. я тебе п-покажу-у!..

ГордейЕвстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, так что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна Власьевна едва отняла облитого кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча; старуха вся тряслась как в лихорадке.

– А ты мне что за указ? – кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. – Кто здесь хозяин... а?.. Всех расшибу!..

– Гордей Евстратыч... голубчик... Христос с тобой, опомнись! – умоляла Татьяна Власьевна. – Вон соседи-то все смотрят на нас... Ведь отродясь такого сраму не видывали...

– А мне плевать на всех соседей... к нам сейчас гости едут... Понимаешь: гости!..

Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену; Дуня тихо плакала. Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьевна велела ей сидеть на своей половине. На беду, и Михалка не было даже: он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка.

– Пойдемте, братец, в горницы, – хлопотал около Гордея Евстратыча выскочивший из флигелька Зотушка, – право, пойдемте...

В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями.

– А, спасенная душенька, Татьяна Власьев-

на! – орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. – Принимай гостей, спасенная душа!

– Милости просим, дорогие гости! – низко кланялась Татьяна Власьевна с приветливой улыбкой. – Прошу пожаловать в горницы…

Татьяна Власьевна забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них; она узнала и Липачка, и Плинтусова, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых.

– Вон мы какие, – лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. – Матушка, Татьяна Власьевна, поцелуемся… Голубушка ты моя! Все спасаться к тебе приехали…

– Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горницы-то, – упрашивала Татьяна Власьевна. – Еще грешным делом простудитесь без шубы-то… Милости просим, дорогие гости! Вукол Логиныч, пожалуйте…

– Лезем, лезем, спасенная душа.

Горницы брагинского дома огласились

пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно; Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой.

– Так вот ты где поживаешь, Гордей Евстратыч! – заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. – Ничего, славный домик... Лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика...

– Батюшкова печка, Порфир Порфирыч...

Брагин, взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом, на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго-приветливое лицо маменьки... Что такое? зачем? Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь... Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и со-

вестно, хотелось выгнать всю эту пьяную орду из своего дома; но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча – значит, прощай и жилка. Вот и мамынька ходит с таким покорным убитым лицом… Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Евстратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда; но гости созваны, надо их угощать.

– А где же остальные? – спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку.

– Какие остальные? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Ну, ведь есть у вас в доме кто-нибудь помоложе тебя, бабушка?..

– Как не быть, ваше высокоблагородие, да только не случилось на этот раз: внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим.

– Так-так…

– А у ней все прехорошенькие, – поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. – Особенно внучка Нюша…

– Нюша? Славное имя… Анна Гордеевна, значит, – соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. – А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы… Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка, а?

– Она спит теперь, Порфир Порфирыч, – отделывалась Татьяна Власьевна от хорошего средства. – Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать… Вот тут смородинная наливочка, а там на сорока травах…

– Отлично… Только, бабушка, я один не пью.

– Ох, милушка, я ни одна, ни с другими не пью… И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет. А меня уволь, Порфир Порфирыч.

– Ага, испугалась, спасенная душа!.. – потешался довольный Лапшин. – А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в Царствие Небесное?.. А я тебе прямо скажу: всех нас на одно лыко свяжут да в самое пекло. Вуколку первого, а потом Липачка, Плинтусова… Компания!.. Ох, бабушка, бабушка, бить-

то нас некому, по правде сказать!

Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал:

– В-вукол Л-лог-гиныч... ведь мы с тобой кругом шестнадцать!.. Б-благодет-тель...

– То-то, Зотушка... Мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь?

– Старуха не велит... Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч, – шепотом сообщал Зотушка.

– Знаю, знаю... Да я-то не больно ее испугался... Вот мы ее сегодня утешим – будет нас долго помнить! Ха-ха... Мы сегодня второй напой делаем. Вон Гордей-то Евстратыч скоро рога в землю...

– Братец не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испивают, а чтобы настоящим манером – ни боже мой!..

– Нет, это дудки, Зотушка: сказался груздем – полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога... Вона какая наста артель: угодники!

Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления, – он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать... на все наплевать, – шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. – Золото, жилка... плевать!.. Кругом шестнадцать вышло, вот тебе и жилка... Ха-ха!.. А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота.

Татьяна Власьевна угощала незваных и нежданных гостей, а у самой в горле стояли слезы, точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон Липачек и Плинтусов орут какую-то безобразную песню, вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну рюмку за другой. «Господи, да что же это такое?» – думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости и всучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе; но тако-

го безобразия не бывало… Вон Липачек снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол, Вуколко щелкает его по носу. А вина, вина сколько вытрескали и еще просят…

– Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? – смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету.

– Мам-мынька… еще… – мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула.

Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями, и чего-то так боится ее старое семидесятилетнее сердце. Вон и сумерки наступили, и Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина… Ох, господи, господи! Все видели, решительно все: и как отец Архипа ругал, и как к ней подступал, и как гости на тройках подъехали, и как они в пошевнях головами мотали, точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Коло-

бовы.

Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной.

– Ах, матушки вы мои… голубушки… – умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. – У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе… А-ах, красавицы, что это вы от меня горохом рассыпались?

– Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, – говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, когда он только что хотел обнять Нюшу за талию. – Так нельзя, ваше высокоблагородие… У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить…

Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка, даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка девчонкой; а люди разве пожалеют их? О всех наговорят бог знает что, только слушай.

«И все это из-за жилки», – думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову.

Безобразный кутеж в брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьевна до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносившимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой.

– А ты, баушка, зачем Порфира Порфирыча

прогнала от нас? – приставала Нюша. – Ведь он не съел бы нас, баушка?

– Ежели бы съел – один конец, милушка; а то хуже бывает...

Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продежурили всю ночь на кухне в ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих:

И-идет ста-арец по-о-о доро-о-оге...
Чер-норизец, по-о-о ши-ро-око-ой...
О чем, ста-арче, горько плачешь,
Черно-ризец, возры-да-а-а-ешь?..

Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачек остались распростертыми в горницах брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батюшкову печь. Сам хозяин лежал на

полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напружившимися жилами. Татьяна Власьевна осторожно прокралась в горницы, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к «самому» и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки сигар, объедки балыка и т. п.

– Хорошо, мамынька?.. Хи-хи-хи!.. Кругом шестнадцать!

Татьяна Власьевна вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипываньем.

– А ты чему обрадовался, дурак? – грозно спросила Татьяна Власьевна, взбешенная этой выходкой.

– Я? Хи-хи-хи!.. Вот она, жилка-то, мамынька!.. Хи-хи-хи!..

– Тьфу, дурак!.. – отплевывалась Татьяна Власьевна.

– Золота захотела... денег... Хи-хи-хи!.. Богатые будем, милый сын Гордей Евстратыч...

Мамынька, рюмочку!..

IX

Дело разработки найденного золота под крылышком Порфира Порфирыча быстро пошло в ход. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы отложить открытие прииска до весны. Как только были исполнены необходимые формальности и получены нужные документы, Гордей Евстратыч приступил сейчас же к подготовительным работам. Прииск был назван по речке – Смородинским, или просто Смородинкой. Ставили начерно приисковую контору и теплый корпус для промывки золота; тут же устраивалась дробильная машина с конным приводом, и золотая дудка превращалась в настоящую шахту. Стенки прежней дудки значительно были расширены и выровнены, а потом был спущен лиственный сруб; пустую землю и руду поднимали наверх в громадных бадьях, приводимых в движение конным воротом. Человек пятьдесят рабочих «пробили на жилке» короткий зимний день весь напролет, а Кайло, Лапоть и Потапыч в качестве

привилегированных рабочих «налаживали» шахту. Окся, Лапуха и Домашка тоже готовились принять самое деятельное участие в этой работе, когда поспеет теплый корпус, где будут на станках промывать превращенный в дробильне кварц в песок. Полдневские держались наособицу и задавали некоторый тон, потому что как-никак, а жилку открыл ихний же Маркушка и на ихней земле.

Одно было нехорошо на новом прииске: речка Смородинка была очень невелика и притом сильно промерзала, так что в воде предвиделось большое затруднение.

– А ты налаживай прудок скорее, – поучал Маркушка, когда Гордей Евстратыч заворачивал к нему. – Ночью-то вода даром уходит, а тут она вся у тебя в прудке, как в чашке... А потом эти все конные приводы беспременно брось, Гордей Евстратыч, а налаживай паровую машину: она тебе и воду будет откачивать из шахты, и руду поднимать, и толочь скварец... не слугу себе поставишь, а угодницу.

Маркушка точно ожил с открытием прииска на Смородинке. Кашель меньше мучил его

по ночам, и даже отек начинал сходить, а на лице он почти совсем опал, оставив мешки сухой лоснившейся кожи. Только одно продолжало мучить Маркушку: он никак не мог подняться с своей постели, потому что сейчас же начиналась ломота в пояснице и в ногах. Болезнь крепко держала его на одном месте.

– Кабы мне ноги Господь дал, да я бы на четвереньках на Смородинку уполз, – часто говорил Маркушка, и его тусклые глаза начинали теплиться загоравшимся огнем. – Я и по ночам вижу эту жилку… как срубы спутают, как Кайло с Пестерем забой делают… Ох, хоть бы одним глазком привел Господь взглянуть на Смородинку!..

Мысли и заботы обыденной жизни, а особенно хлопоты с приисковой работой как-то странно были переплетены в голове Маркушки с твердой уверенностью, что он уж больше не жилец. Можно было удивляться тому напряженному вниманию, с которым Маркушка следил за всеми подробностями работы на Смородинском прииске, точно от этого зависела вся его участь. Пестерь и Кайло приходили в лачугу Маркушки каждый день по вече-

рам и, потягивая свои трубочки перед горевшим на каменке огоньком, рассказывали обо всем, что было сделано на прииске за день, то есть, собственно, говорил один Кайло, а Пестерь только сосал свою трубочку. Этим путем Маркушка знал размеры опускаемого в шахту сруба, место, где ставили теплый корпус, план дробилки, устройство конных приводов и т. д. Эти разговоры точно подливали масла в потухавшую лампу Маркушки и в последний раз освещали ярким лучом его холодевшую душу. Он еще жил, хотя жил слабой, отраженной жизнью, если можно так выразиться – жизнью из вторых рук.

– Ох, дотянуть бы мне только до весны, – иногда говорил Маркушка с странным дрожанием голоса. – Доживу я, Кайло? Как ты думаешь?..

– Может, доживешь, а может, нет, – отвечал Кайло с спокойствием и непроницаемой дальновидностью истинного философа.

– Нет, помрешь, Маркушка, – отрезывал грубо Пестерь.

– Помру?..

– Уж это верно: вчера собака выла ночью,

значит чует покойника.

Маркушка задумывался и тяжело вздыхал. Ему хотелось жить, как живут другие, то есть «робить» в шахте, пить, драться с Пестерем, дарить козловые ботинки Лапухе или Оксе, смотря по расположению духа. Приисковые бабы часто проведывали Маркушку и каждый раз успевали у него что-нибудь выпросить, потому что в лачуге Маркушки теперь было всего вдоволь – и одежи всякой, и харчу, даже стояла бутылка с вином. Все это, конечно, привезено было Брагиным, который старался обставить Маркушку со всем возможным комфортом. Когда установился санный путь, в Полдневскую приехала сама Татьяна Власьевна, чтобы окончательно устроить больного Маркушку. Женские руки доделали то, чего не умел устроить Гордей Евстратыч при всем желании угодить больному; женский глаз увидел десятки таких мелочей, какие совсем ускользают от мужчины. На полу была постлана серая кошма, у постели поставлен столик с выдвижным ящиком, в переднем углу, где чернел совсем покрытый сажей образ, затеплилась лампадка, появился

самовар и т. д. Маркушка сначала ужасно стеснялся производимыми переменами в его логовище, но потом примирился с ними, потому что так хотела Татьяна Власьевна, а ее слово для больного было законом.

– Только вот эта твоя печь – нож мне вострый, – говорила Татьяна Власьевна, протирая глаза от дыма.

– Это каменка-то?.. Отличная печь, Татьяна Власьевна…

– А копоть?.. И прибирать по-настоящему ничего у тебя нельзя, потому сейчас копоть насядет – и все тут. Вон рубашка на тебе какая грязная, одеяло…

– Ох, голубушка ты моя!..

Сначала Маркушка сильно побаивался строгой старухи, которая двигалась по его лачужке с какой-то необыкновенной важностью и уж совсем не так, как суются по избе оглашенные приисковые бабы. Даже запах росного ладана и восковых свеч, который сопровождал Татьяну Власьевну, – даже этот запах как-то пугал Маркушку, напоминая ему о чем-то великом и неизвестном, что теперь так грозно и неотразимо приближалось к

нему. Мысль о будущем начинала точить и грызть Маркушку, как червь.

Татьяна Власьевна заметила на себе болезненно-пристальный взгляд Маркушки и спросила:

– Ты чего это глядишь на меня больно востро?

– Так, родимая моя, так гляжу… Много на моей душе грехов, голубушка…

– Все грешные люди, один Господь без греха.

– Вот умру скоро, Татьяна Власьевна… Тяжело… давит… А ты еще, святая душенька, ухаживаешь за мной…

– Что ты, Христос с тобой?!. Какие ты слова выговариваешь?

– Душу я загубил… душу человеческую… Он ведь надо мной постоянно стоит. Это он моей души дожидается…

– Перестань болтать-то пустое!.. Не согрешишь – не спасешься!..

Татьяна Власьевна заговорила о силе покаяния и молитвы, которые спасают закоснелых в грехе грешников. Это было чисто раскольничье богословие, исходной точкой кото-

рого являлся тезис: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек скорее покается». А потом – что один раскаявшийся грешник всегда милее Господу десятка никогда не согрешивших праведников. Против такой богословской теории был бессилен даже авторитет о. Крискента, который не переваривал крайностей даже в вопросах о спасении души. Этот благочестивый человек видел рай слишком в богословски-отвлеченных формах, тогда как паства тяготела к самым жестоким представлениям, которые были для нее понятнее. Маркушка был слишком реалист, чтобы усвоить себе отвлеченные богословские понятия; между тем он считал себя очень грешным человеком, значит, там, вверху, в надзвездном мире ожидала его карающая беспощадная рука, которая воздает сторицей за все земные неправды. Степенная, душевная речь Татьяны Власьевны затронула в душе этого отчаянного человека неизвестные даже ему самому струны. Ведь с ним никто и никогда не говорил, да он и не в состоянии был слушать такие благочестивые разговоры, потому что представлял собой один сплош-

ной грех. Теперь другое дело, теперь он жадно ловил каждое слово богобоязливой старухи, как умирающий от жажды глотает капли падающего дождя, и под ласковым сочувствующим взглядом другого человека эта ледяная глыба греха подалась… У Маркушки в глазах стояли слезы, когда Татьяна Власьевна кончила ему свое первое утешительное и напутственное слово; он сам не знал, о чем он плакал, но на душе у него точно просветлело. Мрак и сомнения уступили место радостно-светлому чувству.

– А Кайло и Пестерь, если покаются, тоже могут войти в Царство Небесное? – спрашивал Маркушка, чувствовавший себя отделенным от своих друзей целой пропастью.

– И они войдут, если покаются.

Маркушка усомнился, но, взглянув на строгое лицо Татьяны Власьевны, не мог не поверить ей.

– А Лапуха с Оксей?

– Все люди – все человеки…

Душевное просветление Маркушки не в силах было переступить через эту грань: еще допустить в Царство Небесное Кайло и Пестe-

ря, пожалуй, можно, но чтобы впустить туда Оксю с Лапухой... Нет, этого не могло быть! В Маркушке протестовало какое-то физическое чувство против такого применения христианского принципа всепрощения. Он готов был поручиться чем угодно, что Окся и Лапуха не попадут в селения праведных...

После этого первого визита к Маркушке прошло не больше недели, как Татьяна Власьевна отправилась в Полдневскую во второй раз. Обстановка Маркушкиной лачужки не показалась ей теперь такой жалкой, как в первый раз, как и сам больной, который смотрел так спокойно и довольно. Даже дым от Маркушкиной каменки не так ел глаза, как раньше. Татьяна Власьевна с удовольствием видела, что Маркушка заглядывает ей в лицо и ловит каждый ее взгляд. Очевидно, Маркушка был на пути к спасению.

– Лучше тебе? – спрашивала Татьяна Власьевна.

– Лучше, голубушка...

– Вот что, Марк, – заговорила серьезно Татьяна Власьевна, – все я думаю: отчего ты отказал свою жилку Гордею Евстратычу, а не

кому другому?.. Разве мало стало народу хоть у нас на Белоглинском заводе или в других прочих местах? Все меня сумление берет... Только ты уж по совести расскажи...

– А что я сказывал Гордею Евстратычу, то и тебе скажу... Больше ничего не знаю. Плохо тогда мне пришлось, больно плохо; а тут Михалко в Полдневскую приехал, ну, ко мне зашел... Думал, думал, чем пропадать жилке задарма – пусть уж ей владеет хоть хороший человек.

– Отчего же ты раньше Гордею Евстратычу о жилке не объявился? Ведь пятнадцать лет, как нашел ее...

– Ах, Татьяна Власьевна, голубушка... ах, какая ты, право! Ну уж и слово сказала... а? Ведь в этом золоте настоящий бес сидит, ей-богу, особливо для бедного человека... Так и я: так думал и этак думал. Даже от этих самых мыслей совсем было уже решился, да еще Господь спас... Смешно и вспомнить... Перво-наперво страх на меня напал, потом стал я ото всех прятаться... мучит ведь оно, золото-то! Думал потом продать жилку кому-нибудь! Кутневы были живы еще, суды завели бы... А

когда умерли Кутневы, зачал я ходить по богатым мужикам, которые золотом занимаются: кто десять рублей посулит, кто двадцать, кто просто в шею выгонит... всячины было, родная... Жаль было этакое богачество за четвертной билет губить: ведь тут тыщи... Одно слово – богатство!.. А самому заняться тоже невозможно: первое, нечем мне взяться за работу, а второе... Ох, да что тут говорить, Татьяна Власьевна! Сама, голубушка, знаешь: только пикни бы Маркушка с своей жилкой, его сейчас бы и под лапу сгребли... Маленький человек, еще в остроге бы досыта насиделся! Тот же Порфир Порфирыч али Плинтусов с Шабалиным... Не я первой! Вот я и подыскивал все подходящего человека... Ну, которые получше, не верили мне, а другие просто за страм считали говорить с Маркушкой... Да... Известные ведь мы люди на всю округу!.. Так год за год и тянулось дело, а я поковыривал свою жилку, что-ничто, пока не доковырялся вот до чего... Мудреное это дело, Татьяна Власьевна, золото! Тоже оно к рукам идет, руку знает... Вот я и порешил, чтобы оно досталось Гордею Евстратычу да тебе, чтобы вы грех

мой замаливали...

Глаза Маркушки горели лихорадочным огнем, точно он переживал во второй раз свою золотую лихорадку, которая его мучила целых пятнадцать лет. Татьяна Власьевна молчала, потому что ей передавалось взволнованное состояние больного Маркушки: она тоже боялась, с одной стороны, этой жилки, а с другой – не могла оторваться от нее. Теперь уж жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее.

Захватывающее влияние золота уже успело отразиться на всей брагинской семье. Первое появление Порфира Порфирыча с компанией в этом доме было для всех истинным наказанием; а когда Гордей Евстратыч проспался на другой день – он не знал, как глаза показать. Второе нашествие Порфира Порфирыча уже не показалось никому таким диким, и Татьяна Власьевна первая нашла, что он хотя пьяница и любит покуражиться, но в душе добрый человек. В сущности, это последнее заключение двоилось, потому что Татьяна Власьевна как-то инстинктивно боялась Пор-

фира Порфирыча, в чем не хотела сознаться даже самой себе.

– Велико кушанье... – говорила она даже вслух. – Уж Липачка и Плинтусова не боюсь, а Порфира Порфирыча и подавно... Ну не даст золото мыть – проживем и без золота, как раньше жили.

Но этот страх пред ревизором был каплей, которая тонула в море других ощущений, мыслей и чувств. Пока в брагинской семье переживалось напряженное состояние, было промыто официальное первое золото. Жилка оказалась чрезвычайно богатой, потому что на сто пудов падало целых тридцать золотников, тогда как считается выгодным разрабатывать коренное золото при пятидесяти – шестидесяти долях, а в Америке находят возможным эксплуатировать даже пятидолевое содержание. Одним словом, результат получился блестящий, точно награда за все пережитые брагинской семьей треволнения.

– Теперь Михалка и Архипа посадим на прииск, мамынька, – решил Гордей Евстратыч, пересыпая в бумажке золотой песочек.

– А в лавке кто будет сидеть?

– Пусть Ариша с Дуней сидят…

– Молоды они, Гордей Евстратыч. Пожалуй, не управятся…

– Тогда лавку закроем… А мне без ребят одному на прииске не разорваться. Надо смотреть за всеми: того гляди, золото-то рабочие растащат…

Все это было, конечно, справедливо… но закрыть батюшкову торговлю панским товаром Гордей Евстратыч никогда не решился бы, а говорил все это только для того, чтобы заставить мамыньку убедиться в невозможности другого образа действия. А Татьяне Власьевне крепко не по душе это пришлось, потому что от нужды отчего же и женщин не посадить в лавке, особливо когда несчастный случай какой подвернется в семье; а теперь дело совсем другое: раньше небогато жили, да снохи дома сидели, а теперь с богатой жилкой вдруг снох посадить в лавку… Это было противоречие, с которым Татьяна Власьевна никак не могла примириться теоретически, хотя практически видела его полную неизбежность.

– Можно бы приказчика в лавку посадить,

Гордей Евстратыч, – пробовала она замолвить словечко, хотя сейчас же убедилась в его полной несостоятельности.

– Нет, уж этому не бывать, мамынька! – решительно заявил Гордей Евстратыч. – Потому как нам приказчик совсем не подходящее дело; день он в лавке, а ночью куда мы его денем? То-то вот и есть... Мужики все на прииске, а дома снохи молодые, дочь на возрасте.

– Чтой-то уж! Гордей Евстратыч, какие ты речи говоришь... А я-то на что?..

– А я не к тому речь веду, что опасаюсь сам, – нет, разговоров, мамынька, много лишних пойдет. Теперь и без того все про нас в трубу трубят, а тут и не оберешься разговору...

Перед Рождеством Гордей Евстратыч сдал первое золото в Екатеринбурге и получил за него около шести тысяч, – это был целый капитал, хотя, собственно, первоначальные расходы на прииске были вдвое больше. Но ведь это был только первый месяц, а затем пойдет чистый доход. Чтобы начать дело, Гордею Евстратычу пришлось затратить не только весь свой наличный капитал, но и перехватить

деньжонок у Пятова Нила Поликарпыча. К своим родным, Савиным и Колобовым, Гордей Евстратыч ни за что не хотел обращаться, несмотря на советы Татьяны Власьевны; вообще им овладел какой-то бес гордости по отношению к родным. Раньше не хотел посоветоваться с ними насчет жилки, а теперь пошел за деньгами к Пятову. Вместе с тем Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч ужасно стал рассчитывать каждую копейку, чего раньше не было за ним, особенно когда расходы шли в дом.

– Мне паровую машину ставить надо к весне, – говорил он, оправдываясь. – Да и Ирбитская ярмарка на носу, надо товар добыть, а деньги все в прииск усажены.

Конечно, это были только временные стеснения, которые пройдут в течение первых же месяцев.

Первые дикие деньги породили в брагинской семье и первую семейную ссору, хотя она и была самая небольшая. Когда Гордей Евстратыч ездил сдавать золото, он привез обеим снохам по подарку. Обыкновенно такие подарки делались всегда одинаковые, а

тут Гордея Евстратыча точно бес толкнул под руку купить разные: Арише серьги, Дуне брошку. Вот эта-то брошка и послужила яблоком раздора, потому что Арише показалось, что свекор больше любит Дуню и привез ей лучше подарок. Сначала Ариша надулась и замолчала, а потом принялась плакать в своей каморке, пока это горе не перешло в открытую ссору с Дуней. Невестки перессорились между собой, перессорили мужей и довели дело до Гордея Евстратыча. Суд и решение были самого короткого свойства.

– Не умели носить моих подарков, так пусть они у меня полежат, пока вы будете умнее, – решил Гордей Евстратыч, запирая и брошку, и серьги к себе в шкатулку.

Невестки жили раньше душа в душу, но тут даже суровое решение Гордея Евстратыча и все увещания Татьяны Власьевны не могли их примирить. Если бы еще дело было важное, тогда примирение не замедлило бы, вероятно, состояться, но известно, что пустяков люди не забывают и не прощают друг другу…

X

Отец Крискент был «удивлен»... Именно когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная сторублевая бумажка, в других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых пять сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего «прохождения церковной службы» о. Крискентом это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что о. Крискенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был не кто иной, как Гордей Евстратыч.

– Доброе дело, доброе дело... – говорил о. Крискент и сейчас же прибавил: – Воздадите Божие Богови, а кесарево кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно справляться.

Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хва-

лили благое начинание и ревность Гордея Евстратыча. А к этому присоединились другие известия: одной старушке ночью в окно чья-то рука подала десять рублей, трем бедным семьям та же рука дала по пяти, и т. д. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские тысячи.

Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самые верные известия, вместе с количеством добытого Брагиным золота, поднимали и зависть к их неожиданному богатству. Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившийся под гору ком снега, так что люди самые близкие к этой семье начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не только не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покучить-

ся с деньгами, ведь не чужие, слава богу...

– Ну, ежели он не хочет, так бог с ним, – говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. – Погордиться захотел перед роденькой-то.

Ссора брагинских невесток подлила масла в огонь: теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их... Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем: вот тебе и спасенная душа!.. Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины, но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете: стоило бросить малейший повод – и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных.

А золото шло все богаче и богаче... Жилка дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где «жилка выклинивалась», то

есть сходилось в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше ста человек. Гордей Евстратыч во второй раз свез добытое золото и привез с собой больше десяти тысяч. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на третий день Рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, Святки в брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла; один Гордей Евстратыч точно ничего не видел и не слышал, что делалось кругом: он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать.

– Ну и пусть дуются, – говорил он матери, – я им ничего не сделал…

– Я тебе говорила тогда, милушка… – пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. – Вон они и обиделись!

– Мне наплевать на них!.. И без них проживем.

– Ох, не гордись, не гордись, милушка. Гордым Господь противится...

– Что же, по-твоему, мне самому идти да кланяться им?.. Жирно будет, – пожалуй, подавятся.

Дело было дрянь, как его ни поверни, и Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой, – раздумывала она про себя. – Гордей-то и прав выходит: на духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых...» Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела «подпустить беска» везде и теперь «переплескивала» самые невероятные известия от Брагиных к Колобовым и Савиным и наоборот. Ослепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результате получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая се-

бе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков, – это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и наконец убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем.

– А старухи-то, старухи – настоящие злыдни, так и шипят! – подсказывала Марфа Петровна. – Вишь, им поперек горла стало ваше-то золото... Зависть одолела!

– Чтой-то, Марфушка, и люди за такие ноне пошли? – с тоской спрашивала Татьяна Власьевна.

– Ох, и не говори, Татьяна Власьевна... Не кормя, не поя, ворога не наживешь, голубушка!..

– А ведь ты верно сказала, Марфуша. Жили мы, никому не мешали и теперь не мешаем, а тут на-кася, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими.

– Так, Татьяна Власьевна... С чужими де-

лить нечего – вот и мир да гладь да божья благодать.

Всех чаще теперь бывали в брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам: он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудреными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное. Овдовев в молодых годах, он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства, Феня не знала запрета ни в чем и делала все, что хотела. Бойкая и красивая, с светло-русой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил, она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна,

не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятова был еще сын Володька, но тот сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки; они подходили и по характеру друг к другу, и по тому, что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись с самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества.

– Уж не стала бы я по-твоему возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным! – не раз говорила Феня, встряхивая своей желтой косой. – Нечего сказать, не нашла хуже-то!..

– Он славный, Феня…

– Славный, славный… Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить.

– Да мне с ним не танцевать.

– Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно. Такие у попов страшные бывают… Славный!.. Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, – вот тебе и славный!

– Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня, так жаль… Я тебе не умею ска-

зать, как жаль! Недавно они у нас все в гостях были... Ну, сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна...» А сам так на меня смотрит, жалостливо смотрит. «Что, – говорю я ему, – умирать, что ли, собрался?» – «Нет, – говорит, – а около того... Теперь, – говорит, – вы стали богатые; а пеший конному не товарищ». Вот этим он меня и зарезал... Стою я да смотрю на него, как дура какая, а потом как поцелую его... Так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого!

– Ого!.. Так вы вот как?!. Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку – и все тут... Выдумала! Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь... Погоди, вот ужо налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону.

– Нет, Феня... я уже сказала и от своего слова не отопрусь.

– Ну-ну... Девичья память короткая: до порога!

Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с

Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого, хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением.

В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетронутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы Господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик: обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения большаков Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них, пожалеют отдать ку-

да-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работящий, и семья у них маленькая; ну и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу; а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордей Евстратыч и подавно.

Пелагея Миневна целые Святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной; а там, заведенным порядком, и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось: то гости у Брагиных, то что. Только этак накануне Нового года Пелагея Миневна собралась-таки к Брагиным. Надела старинный шелковый сарафан, по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку и в таком виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в брагинский дом.

– У них теперь никого и дома-то нет, кроме

старухи, – говорила провожавшая ее Марфа Петровна. – Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать... В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи благослови!..

Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.

– Какая наша стряпня, Пелагея Миневна, – скромничала довольная Татьяна Власьевна. – Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать.

– Что вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме... Мастерицы-бабочки, не отку-

да-нибудь взяты! Особенно Ариша-то… Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разе только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.

Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.

– Ах, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем… – перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. – Плохая стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде… Поясницу так ломит другой раз – страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет…

Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно: сын на возрасте, жените – и заменушку в дом приведете…». Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, – с какой стати она сама

стала бы навязываться Пазухиным?..

– А Марфа Петровна? – уклончиво спросила Татьяна Власьевна. – Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила...

– Это вы справедливо, Татьяна Власьевна... Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.

– Что говорить, что говорить!.. – покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. – Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны...

– Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу... Конечно, про себя перенесешь – и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком, так донимает... А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.

Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые

мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.

– Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна... Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?

– А вот соберемся как-нибудь... Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям... Гордость всех одолела...

Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнованием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело, – наступил самый критический момент... Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом:

– А где у вас Алексей-то Силыч? Что-то ровно его не видать...

– Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит

больно-то расхаживать.

– Смиренный парень, что говорить... Надо вам за него Бога молить, Пелагея Миневна. Этаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..

Этого было совершенно достаточно... Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» – шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.

– Алена Евстратьевна!.. – проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в стоявшую неподвижно женскую фигуру. – Откуда Бог несет?

– Из Верхотурья приехала, – как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.

– Аль не узнали меня-то?

– Что-то как будто запамятовала…

– Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами…

– Да-да… помню.

Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри… Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.

«И принесло же ее ни раньше ни после… – сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. – Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется…»

Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай вышел не в руку; ну да все под

Богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.

Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.

– На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? – язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.

– Какое золото? – удивилась Алена Евстратьевна.

– Отец-то разве не описывал тебе ничего? – спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.

– Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала...

«Врет, все врет наша Аленушка... – думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. – На жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»

Алене Евстратьевне было за сорок; это бы-

ла полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.

Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня

гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с бóльшим уважением и даже раза два советовалась с ней.

– Как это вы живете, Гордей Евстратыч? – говорила Алена Евстратьевна. – Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы... Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!

– Ладно нам, Алена Евстратьевна... Куда уж нам за богатыми гоняться! – ответил Гордей Евстратыч. – Век прожили не хуже других...

– Вам-то хорошо так говорить, а дети как? Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем?.. Или взять Нюшу теперь... Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать... Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять.

Взять эти ваши сарафаны… Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили… Взять хоть наше Верхотурье… Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме… Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.

ГордейЕвстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.

– Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, – не унималась Алена Евстратьевна. – Весь дом портит…

– Ну уж это ты напрасно… Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем…

– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать… А то совестно к вам

приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины... Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко... Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это непорядок в доме...

– А я печку не буду ломать, – продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, – вот полы перестлать или потолки раскрасить – это можно. Там из мебели что поправить, насчет ковров – это все сделаем не хуже других... А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.

Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.

А на Смородинке золото так и лезло из земли – что неделя, то и два да три фунта. После Крещенья Гордей Евстратыч еще сгонял в

город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по-старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще о. Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал:

«Да, да!»

– Баушка, ведь это к нам! – крикнула Нюша, бросаясь к окну.

К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.

– Видно, к Гордею Евстратычу, – сообразила Татьяна Власьевна.

Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.

– Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска...

– А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, – говорил Плинтусов, щелкая каблуками. – Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства.

Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять доро-

гих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.

«И меня, старуху, вспомнили», – думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.

– Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, – докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.

– Как же это вы так надумали?.. Напрасно только себя беспокоили, – точно оправдывалась Татьяна Власьевна. – Мы маленькие люди...

– Ах, маменька, какие вы, право, – жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. – Это везде так принято в порядочном обществе...

Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.

– Вот мы и поздравим старушку соборне, – кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Вла-

сьевну по плечу. – Так ведь, отец Крискент?.. Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь...

Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова.

– Ведь их надо будет оставить обедать, – соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. – Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..

Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет – и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.

Дело вышло из-за церковного староства.

Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть.

– Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, – пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.

– Не пойму я вас что-то, отец Крискент.

– А очень просто... Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча – пусть его постарается для Бога.

– А... так вы вот как, отец Крискент!.. Значит, вам не служба дорога, а деньги.

И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика...

– Правду, видно, старинные люди сказывали, – кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, – что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.

Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.

– Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию… – заявил Пятов, хватаясь за шапку. – Вы богатые стали, лучше нас найдете.

– Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка… – заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. – Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..

– Мамынька, оставь!.. – грозно приказал Гордей Евстратыч.

Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины… Вот тебе и бабушкины именины, – нечего сказать, отпраздновали!..

XI

Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горовым местам выглянули первые проталинки с всклоченной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Да-

же холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всесокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.

Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гущам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешаны, как бриллиантовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опушенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и то-

нов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, сшитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.

С наступлением весны работа на Сморо-

динке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которою речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.

ГордейЕвстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Ар-

хип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.

– Ничего вы не смотрите, дармоеды! – ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. – Ну какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем... Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..

Михалкои Архип больше отмалчивались

в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливавшим богатством. К Пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото...

Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие – рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать рублей –

деньги, на полу их не подымешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопатывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.

– Чтой-то, милушка, какой ты скупой стал! – мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. – Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить... Да и недолго он натянет: доживет не доживет до полой воды!

– Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то... Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездишь – это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит... Хоть взять Зотея: ну что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в руки – и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой... Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.

– Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? – удивлялась

Татьяна Власьевна. – Уж не объест же он нас... Чужим людям подаем, а своего не гнать же.

– Мало ли чего прежде-то было, мамынька... Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться... Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!

– Что ты, что ты, милушка! Христос с тобой... Да разве они воровки какие?

– Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «Мамынька, смотрите в оба...» После смерти не покаешься.

Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отрава, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.

– И в самом-то деле, что это мы больно рас-

кошелились?.. – удивлялась Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. – Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут...

– Верно, мамынька, – подтверждал Гордей Евстратыч. – Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну а мы свое дело сделали...

– А клятва-то, милушка?

– Клятва – другое, мамынька... Мы за него вечно будем Богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было... Так я говорю, мамынька?

– Так, милушка... Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.

– Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну а Господь его не допустил до золота... Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым... Натурально, ежели бы они в живности были,

мамынька.

– Все перемерли, все!.. – с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: – А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал...

– Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.

А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже.

В конце этого психологического процесса Маркушка настолько сросся с своей идеей,

что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружавших, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его, и он смотрел на всех как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.

– Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, – утешал кривой Потапыч больного. – Уж это завсегда так бывает...

Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щеголяли напропалую в новых кумачных сарафа-

нах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделывали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.

– Ну что, били? – иногда спрашивал он своих благоприятелей.

– Погоди, еще не уйдут от наших рук, – мрачно отвечал Кайло.

– Надо их хорошенько отлупить… – советовал Маркушка, вздыхая. – И Домашку и ту надо взлупить.

– И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем…

Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает цену предметов потребления. Но Маркушка,

как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.

– Вы их заманите обманом... – советовал несколько раз Маркушка.

– Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.

Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами... Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чувство: его именно подхватывала эта вешняя

вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки неслось все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп, и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.

С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в этом обновлении, и каждую минуту готов

был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.

«Только бы до травы…» – думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.

А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой… Когда северная весна пошла вперед быстрыми шагами,

Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплявшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.

Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестеря и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки: именно в этот день они умирали от жажды, и Маркушка их спас… Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и наконец проговорил:

– Что ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!

– Вот что, братцы… – заговорил Маркушка, собираясь с силами. – Не ходите вы завтра робить на Смородинку…

– И не пойдем, – согласился Кайло, чуявший какую-то новую поживу. – Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился…

– А что?

– Рабочих поедом съел… Все ему не ладно, все не так… Ругается… Намедни нас с Пестерем обыскивал… Ей-богу!..

Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.

– Да разве мы… ах, милосливый Господи!.. – ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. – Маркушка… да ужли уж мы… Вот спроси Пестеря… а-ах!..

– Обнаковенно… ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, – согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. – Комар носу бы не подточил… А то обыскивать!

– А, поди, крепко воруете? – спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.

– Маркушка… Да разве нам можно не воровать… а?.. Человек не камень, другой раз выпить захочет, ну… А-ах, милосливый Господи! Точно, мы кое-что бирали, да только так, самую малость… ну, золотник али два… А он обыскивать… а?!. Ведь как он нас обидел тогда… неужли на нас уж креста нет?

– Вот что, братцы, вы завтра робить не хо-

дите… – говорил Маркушка. – Я хочу беспременно поглядеть на Смородинку… так вы меня туда и снесите.

– Представим, Маркушка.

– Я вам заплачу, братцы…

– И так снесем. Все равно помрешь… Потапыча прихватим на всякий случай!..

Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет… Пестерь, умиленный выпитой водкой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю;
Я без милого не лягу,
Без надежи не усну…

Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Брагин – все это были пенившиеся валы бесконечной

широкой реки...

Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была нелегкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.

– Эй ты, шайтан, умер, что ли? – несколько раз окликал свою ношу Кайло.

Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он прошел бы с завязанными глазами: все горы

в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.

– Тебе хорошо, черту... Умрешь, и вся тут, а мы как? – соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. – Шайтан ты, я тебе скажу... Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать... От этакого богачества мог бы тебе хошь десять рублей в месяц давать, а то...

Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы поднять; а то они здорово бы полудили ему бо-

ка... Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.

Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахну́ло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояли конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилось от радости при виде с детства знакомой картины.

– Ну, шайтан, гляди, это твоя работа... – корили Маркушку приятели. – Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.

– Пусть его... – прохрипел Маркушка. – На его душе грех...

Заветная идея Маркушки осуществилась

наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.

На другой день вечером Маркушка умер.

XII

Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие прикле-иться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинской доме от новых знакомых отбоя не было: все спешили принести сюда по-

сильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты – всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения... Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастиями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды недостало бы золотых гор.

– Мамынька, да что же это такое? – спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью.

– Ничего, милушка, потерпи, – отвечала Татьяна Власьевна. – В самом-то деле, ведь у нас не золотые горы, – где взять-то для всех?.. По

своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет...

Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.

– Деньги – вода, – объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, – пришла – ушла, только ее и видел... А ты копейку недосмотрел, она у тебя рубль из карману долой.

Михалкои Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо

понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Кощея. Нет того чтобы устроить их, как живут другие… Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.

Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толклась всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала – загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных.

Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после Пасхи уже наверно подошлет кого-нибудь. Дело нешуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.

– Старухи-то еще что говорят, – прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, – легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет... Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..

Татьяна Власьевна строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее

обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать... Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.

Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей – развей горе веревочкой, – хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны по-прежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с сво-

ей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.

– Просто спятили с ума на старости лет, – говорила откровенная Феня. – Нашли чего делить… Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое старость, а тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.

– А баушку так и узнать нельзя стало, – жаловалась Нюша. – Все считает что-то да бормочет про себя… Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает… И скупая какая стала – страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.

– А Гордей Евстратыч?

– И не говори… К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь…

– Гостей зато много бывает.

– Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости... Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр... Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.

Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой

и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.

Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.

– Какой же вы след видели, добрые люди? – спрашивала Татьяна Власьевна.

– А тот след, Татьяна Власьевна, – отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая

свою русую бороду, – летела жар-птица из зеленого сада да ронила золотое перо около вашего двора – вот тебе и первый след...

ГордейЕвстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.

– Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? – спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам.

– Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.

– Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья – один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала...

– А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие и не браковку замуж отдаем... Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.

– Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч... Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем...

Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.

– Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? – спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разго-

вор.

– Я, мамынька, думаю заодно с тобой... За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.

– Опять дурак!.. – загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. – Ни уха ни рыла не понимаешь, а туда же...

– Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, – со смирением возражал Зотушка. – Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете...

– Ты меня учить... а?!. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон!.. И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..

– Гордей Евстратыч... – пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. – Милушка, что это ты говоришь?

– Мамынька, оставь нас... Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит... Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.

– И я, братец, тоже больше не могу... – с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. – Вы думаете, братец, что стали

богаты, так вас и лучше нет... Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья... Я и так уйду, сам... А только одно еще скажу вам, братец! Не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишитесь.

– Ладно, ладно, разговаривай... Лучше найдем.

– Я ведь не о себе, братец... Польстились вы на золото, – как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже... Послушайте меня, дурака.

– Зотушка... Гордей Евстратыч... – плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. – Побойтесь вы Бога-то!

– Я грешный человек, мамынька, да про себя... – смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. – Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знакомых, теперь меня гонит, а будет время – и вас, мамынька, выгонит... Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..

Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:

– Это все от тебя, мамынька! Да... Разве это порядок в дому... а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем... Кто здесь хозяин?

– Гордей Евстратыч... да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?..

– Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька... Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь...

Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:

– Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..

– Ах, мамынька, мамынька!.. – застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. – Ведь это что же такое будет... а? Мамынька, прости на скором слове!..

Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:

– Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то... Кабы покойник-отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, Бог простит...

Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание про-

исходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг – и общая гибель неизбежна.

– Господи помилуй! – крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. – Зотушка… милушка…

Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся – погибнуть дому сему», – вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем

естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.

– Баушка... а баушка, – нерешительно спросила она молившуюся старуху.

– Ты разве не спишь, милушка? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Нет, баушка...

Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее

темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила.

– Баушка, как же... что давеча-то тятенька сказал? – спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.

– Ох, милушка, милушка... Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет... Молись Богу, голубушка.

Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.

Зотушка, когда вышел из братцевой горни-

цы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень – матушкино благословение – и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу.

– Куда, Зотей Евстратыч? – окликнул его о. Крискент. – Садись, подвезу.

– Спасибо на добром слове, отец Крискент… А я иду куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому.

Отец Крискент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю словоназидания.

– Как же ты думаешь, Зотей Евстратыч, устроиться?

– А что мне думать, отец Крискент? Свет не клином сошелся… Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие угодники, в немощах силу обретаем…

– А ведь это точно… да! – согласился о. Крискент и, приподняв брови, глубокомысленно

прибавил: – Может, это даже тебе на пользу Господь посылает испытание, Зотей Евстратыч... Судьбы Божии неисповедимы.

Сидя в своем теплом домике, о. Крискент всегда любил распространяться на тему о благости Провидения и о промысле Божием, тем более что ему, то есть о. Крискенту, было всегда так тепло и уютно и он глубоко верил в благость и Промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку как «взыскующаго града». Простившись с о. Крискентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти – к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий «источник на всякие художества»: он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить, и сказку сказать... А главное, что носил с собою Зотушка, как величайшее сокровище, – это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от

всех других мирских людей. Именно эта душевная особенность Зотушки делала его своим человеком везде, точно он вносил с собой струю «мирови мира», которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы.

– Ежели пойти к Савиным или к Колобовым – нехорошо будет, – рассуждал про себя Зотушка. – Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на братца Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, – от винного беса не уйти... Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется.

Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый Султан, совсем зажиревший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя «паратьнее крыльцо», Зотушка через кухню пробрался на половину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой.

– А я к вам, Федосья Ниловна, – заговорил

Зотушка. – Нил-то Поликарпыч дома? Нету?.. Ну, еще успеем увидаться, моя касаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши...

Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала божьего человека. «Источник» переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил:

– Касаточка ты моя... Сейчас говорил отцу Крискенту: «Нам, отец Крискент, доброго не изжить». Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?

– Да так... Крою белье разное.

В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в уголок, снял сапоги и тоже примостился к разложенному полотну.

– А ты меня, касаточка, спроси, как все это дело устроить... Когда Савины дочь выдавали, так я все приданое своими руками кроил

невесте. Уж извини, касаточка: и рубашки, и кофточки – все кроил… И шить я прежде источник был; не знаю, как нынче.

– Я тебя на машинке научу шить, Зотушка, – обрадовалась Феня. – Сначала только чаю напьешься…

Через час, когда чаи были кончены и Зотушка далее пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, Зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой «стих».

И-идет ста-арец по-о-о доро-оге-е…

XIII

Лето для брагинской семьи промелькнуло как золотой сон. Смородинка работала превосходно; в неделю иногда намывали до шести фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало: вода одолевала, нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратыч исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников, и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратыч окончательно убедился, что жил до сих пор в своем Белоглинском заводе дурак дураком.

– Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать с себя, – говорил Вукол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. – По-настоящему надо жить, как прочие живут... Первое, одеться надо как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петербур-

ге... Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат.

– А я с белоглинскими-то тово, Вукол Логиныч...

– Знаю, знаю, Варя рассказывала... И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтобы не совестно было перед настоящими людьми.

Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменил, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойтись с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море: в одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали арфисток и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать... Ведь люди-то, люди-то какие: все на подбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с три короба, а в руки взять нечего... А впрочем, народ обходительный, и даже оде-

тыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой.

– Мы здесь живем как братья, Гордей Евстратыч, – говорил Брагину юркий адвокат из восточных человеков. – Все равно как одна семья.

Действительно, все эти невьянские, и кушвинские, и миасские, и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок, – стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хо-

телось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании.

Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине; отец это видел и старался утешить ее по-своему.

– Ну, Нюша, будет дурить, – говорил ей Гордей Евстратыч под веселую руку. – Хочу тебя уважить: как поеду в город – заказывай себе шелковое платье с хвостом... Как дамы носят.

– Не надо, тятенька...

– Вздор мелешь!.. Какое хочешь: зеленое или красное?

– Не надо, тятенька...

– И выходишь дура, если перечишь отцу. Я к тебе с добром, а ты ко мне... Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостинец привезу, что глаза у всех разбегутся.

Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша по-прежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, иногда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась

и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорвиголовушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бранить:

– Дурища ты, Нютка... Ей-богу!.. Вот еще моду затеяла... Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то... И по любви замуж выходят, да горе мыкают... Ей-богу, я этому Алешке в затылок накладу.

Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка таращил глаза на дочь заводского бухгалтера, и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосьи Ниловны.

– Гляжу я на тебя и ума не могу приложить: в кого ты издалась такая удалая, – говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь красавицей Феней. – Уж можно сказать, что во

всем не как наша Анна Гордеевна.

– А я так ума не приложу, что с вами со всеми делается, – отвечала бойкая на язык Феня. – Взять тебя, баушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко.

– А что, милушка?

– Да так... На себя не походишь, баушка. Скупая стала да привередливая.

– Ох, нельзя, милушка, нельзя, голубушка... Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает, чуть что.

– Вот тоже ребят на прииске заморили... Снохи скучают, поди, об них неделю-то...

– Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен.

– Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц...

– Пш-ш... Что ты, милушка, какие ты слова разговариваешь... Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело... Мы невесток, слава богу, не обижаем, как сыр в масле катаются.

– Масло-то ваше больно горькое, баушка Татьяна!.. Вон Нютка, лица на ней нет... Мы с

Зотушкой все ее жалеем.

Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезнованием покачивала головой.

Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помочь. Притом на Смородинку постоянно завертывали разные гости: то Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатка в которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лапуха с Домашкой. Бабы «играли песни», а Порфир Порфирыч тешился тем, что

бросал в хоровод платки и пряники. Это было его любимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой Липачек. Гордей Евстратыч смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что, раз, – нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем – и потому, что как-то неловко было отставать от других.

– На всех приисках одна музыка-то... – хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. – А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить – грех будет... Так, Архип? Чего красной девкой глядишь?.. Постой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек... Ха-ха! Отец не пускает к Дуне, так мы десять их найдем. А ты, Михалко?.. Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском не заглянете?.. С Варей вас познакомлю, так она вас арифметике выучит.

Эти уроки пошли молодым Брагиным «в наук». Михалко потихоньку начал попивать вино с разными приисковыми служащими,

конечно в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художества друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна проведала стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась.

– Ты бы присматривал за ребятами-то, – несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. – У вас там на жилке всякого народу про́пасть; пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые, долго ли свихнуться.

– На людях живем, мамынька, – успокаивал Гордей Евстратыч, – ежели бы что – слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит.

– А ты, милушка, все-таки посматривай...

– Ладно, ладно... Ты вот за Нюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится, да и за невестками тоже. Мужик если и согрешит, так грех на улице оставит, а баба все домой принесет. На той неделе мне сказывали, что

Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует... Может, зря болтают только, – бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю, они у меня и воды не замутят.

– Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка... Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их... Хоть кого на грех наведут.

Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей как огня и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее Евстратыче он, конечно, не смел и носу пока-

зать на Смородинку, но без него он являлся сюда, как домой, и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему.

– Чего вам смотреть на старика-то, – говорил Пятов своим новым приятелям, – он в город закатится – там твори чего хочешь, а вы здесь киснете на прииске, как старые девки... Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете: любовницу себе завел... Вот сейчас провалиться – правда!.. Мне Варька шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда Вукола дома нет...

Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых.

– Эх вы, телята!.. – хохотал Володька. – Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного... Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро.

– Да ты врешь, Володька... Смотри!..

– Чего смотри?.. Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В арфистках раньше была, потом с Шабалиным жила до

Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему... Мне сама Варька сказывала – потому Шабалин пьяный все ей рассказывает.

Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретные удовольствия, был кровь с молоком, недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза, только ума у Володьки Пятова не было ни на грош: весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках, носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке.

– Погодите, батька смотрит-смотрит да еще жениться вздумает, – посмеивался Володька Пятов. – Что, испугались? То-то... Смотрите в оба, а то как раз наследников новых наживете.

Приисковые рабочие очень любили Володьку Пятова, потому что он последнюю ко-

пейку умел поставить ребром и обходился со всеми запанибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке.

Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу, как мертвую; Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем «на тех порах», так что ей и сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большею частью одна Ариша, которую иногда сменяла только Нюша; де-

ло было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятова сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода – молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку сама Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь задельем.

– Как у вас там, дома-то? – спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку.

– Чтой-то, маменька, как ты и спрашиваешь… – удивлялась Ариша.

– Да я так, Ариша, к слову пришлось… Муж-то как у тебя?

– Муж… да чего ему сделается, маменька?.. Будто редко теперь дома бывает, а так ничего.

– Ну а Татьяна Власьевна?

– И Татьяна Власьевна ничего…

Эти разговоры с маменькой кончились тем, что ничего не подозревавшая Ариша наконец заплакала горькими слезами, почуя

что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревелась с ней, хотя и догадалась бóльшую половину утаить от дочери.

– Только, ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори Дуняше, – упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком, – бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что… Мы с Матреной Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают, а все страшно как-то… Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то: как-нибудь про себя износим. Главное – не доведи до поры до времени до большаков-то, тебе же и достанется.

Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко – она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что что-то неладное творится в дому, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрого Татьяна Власьевна не хотела. «Может, и в самом деле нездоровится», – решила про себя старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью

Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач: это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа; Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша, в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который, на счастье, не был в эту ночь дома.

Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагиными из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через пять минут старуха узнала наконец, что такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню.

– И ведь что говорят-то, – задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна. – Михалку про-

пойцом называют, а про Архипа... ну, одним словом, славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют... Ах, дай бог память... Домашкой ее зовут, из полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит, а старухи-то тростят страсть как... Будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и наговорят, Татьяна Власьевна... Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке. Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятова разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна; пустяки это все, я так думаю.

– Нет уж, Марфа Петровна, начала – так все выкладывай, – настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая от горя. – Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем-ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут – взять хоть Агнею Герасимовну... Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья.

– Вот Агнея-то Герасимова все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши... Да. Только всего она Арише не сказала, чего промежду себя дома-то разговаривают. О чем бишь я хотела вам рассказывать-то?..

– О Володьке Пятове...

– Да-да... так. Третьего дня вечерком завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества: Михалку – насчет водки и к картам приучает, а Архипа – по женской части... А потом про Шабалина начали говорить да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке: дым коромыслом... А ребята-то молодые – им это и повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям... А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке шабалинской. Ей-богу, не вру... Ну а Варька-то заодно с Володькой обманывает Вукола-то Логиныча. А как вы думаете: на вино, да на карты, да на разные поступки с этими шлюхами ведь деньги надо?..

– Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна:

ведь у Михалки с Архипом и денег сроду своих не бывало, отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые-то расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает, через его руки всякая копеечка проходит.

– Позвольте, Татьяна Власьевна... Я то же старухам говорю, а они на Володьку на Пятова все валят: он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит, и отца поучит обманывать в расчетах, и на всякие художества подымается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна Власьевна, так думаю, голубушка... Чужие-то дела куды ловко судить: и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь... Теперь взять хоть Агнею Герасимовну или Матрену Ильиничну: старухи, кажется, степенные, умницами слывут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а не то что самим рассказывать... Так ведь, Татьяна Власьевна?

– Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму! Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают.

– Вот, вот, Татьяна Власьевна… Вместо того чтобы прийти к вам или вас к себе позвать да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы то подумайте, разве наши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну по глупости там или по малодушию, так Агнее-то Герасимовне с Матреной Ильиничной не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи да с вами бы беду и поправить.

– Так, так, Марфа Петровна. Справедливые слова ты говоришь… Будь бы еще чужие – ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои – вот что обидно.

– По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики эти самые Савины и Колобовы и есть… Ей-богу!..

– Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна… Что им за нужда на сво-

их-то детей беду накликать?

– Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна… А если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло… Вот и рады случаю придраться к вам!

Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых «обнесли напраслиной». Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания, Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамыньки почти безучастно и только прибавил:

– Ну, пусть их, мамынька… Почешут-почешут языки, да и отстанут. Всего не переслушаешь. Занялся бы я этими вашими сплетками, да, вишь, мне не до них: в Нижний собираться пора.

– А с кем ты поедешь-то, милушка?

– Не знаю еще… Может, Вукол поедет, так с ним угадаю.

– Ох, милушка, милушка… Вукол-то этот… сумлеваюсь я…

– Пустое, мамынька… Тоже, мамынька, и про Вукола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек.

– Ну как знаешь, милушка… А только ты поговорил бы с Аришей-то, больно она убивается. Расстраивают ее, ну, она и скружилась…

– Хорошо, мамынька, поговорю…

ГордейЕвстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменился к ней, так по крайней мере думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее, не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать, то есть не то чтобы он бранился или кричал, а просто по всему было видно, что он недоволен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе и

делался такой румяный – даром что старик. И глаза у него как-то особенно блестели, и Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал: смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит Дуня, и что вообще дома, при других, он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьевна послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила: Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке, – вообще дом был почти совсем пустой.

– Ступай, ступай, с тобой поговорить хочет отец-то… – посылала Татьяна Власьевна невестку. – Да говори прямо, все, что сама знаешь, как родимому отцу.

Ариша набросила свой ситцевый сарафан, накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В

своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками.

– Вы, тятенька, меня звали на что-то…

– Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем ладком… Что больно приунищилась?.. Не бойсь, не укушу. Для вас же стараюсь…

ГордейЕвстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином; она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом.

– Ну, Ариша, так вот в чем дело-то, – заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. – Мамынька мне все рассказала, что у нас делается в дому. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было… Так ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил… Да-а. Одно тебе скажу: ни-

кого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают – все это вздор... Напрасно только расстраивают.

– Я ведь, тятенька, ничего...

– Хорошо... Ну, что муж тебя опростоволосил, так это опять – на всякий чох не наздравствуешься... Ты бы мне обсказала все, так Михалко-то пикнуть бы не смел... Ты всегда мне говори все... Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец... Будешь меня слушаться?

– Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила...

– И отлично... А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри: щенок еще он... Ну, ступай с Богом...

Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заалелась вся как маков цвет и даже закрыла лицо рукой.

– Видно, горько старого целовать? – спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ари-

ши. – Ты ведь у меня умница… Только ничего никому не рассказывай – поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе наособицу… А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово…

– Нет, мне, как другим, тятенька… Я не хочу наособицу…

– Ах ты, глупая… А если я хочу? Понимаешь: я этого хочу!

«Видно, отец-то поначалил крепко…» – подумала Татьяна Власьевна, взглянув на красное лицо выходившей из горницы Ариши.

Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.

XIV

Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу: бабушке – парчи на сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям – разного платья и невесткам – тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише; первой – бархатная шубка на собольем меху, а второй – весь золотой «прибор», то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу:

– Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу...

– А ежели я так хочу, мамынька? – упрямо заявил Гордей Евстратыч. – Может, она мне лучше всех угодила, ну и дарю...

– Дуне опять завидно, милушка...

– Ну, Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем.

– Ох, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять... Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый

народ пошел, не к нам будь сказано! А ты, милушка, никак бороду-то себе подкорнал на ярмарке?

– Немножко, мамынька... Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамынька, да тоже бороды себе подправляют, ну и я маненько подправил, так, самую малость...

Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему ни приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал «форсить» в том же роде, как форсил Вукол Шабалин. И платья себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться – вообще крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в го-

род сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном: в длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки навыпуск – одним словом, «оделся патретом», как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу белоглинскую пора, мамынька, нам оставлять, – коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, – а то в добрые люди нос показать совестно...» Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно, она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное: с женским инстинктом старуха почуяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить: немку себе завел... Она с ним и в Нижний ездила, она и переодела его, и бороду подстричь заставила – одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу шабалинская Варя, – это уж ее рук дело.

– И денег он на эту немку травит, страсть... Квартиру ей завел в городу и всякое прочее, – объясняла Марфа Петровна. – У Колобовых да

у Савиных в голос все кричат про нее.

– А я так думаю, Марфа Петровна, что пустое это болтают, – обрезала Татьяна Власьевна, – как тогда про ребят наших наврали тоже. Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла... Так и теперь, пустое плетут на Гордея Евстратыча...

Такой ответ и удивил, и обидел Марфу Петровну: значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими. Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она вовремя спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости.

– Я ведь и сама то же самое думаю, – заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. – И раньше я вам говорила... Все это Савины да Колобовы придумывают.

К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип по-прежнему оставались на прииске. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдох-

нуть. «Молоды еще отдыхать-то, – говорил он на все доводы Татьяны Власьевны, – пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьевна решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство. А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю; он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьевна давно и счет потеряла. Какие-то, господь их знает, шаромыжники не шаромыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч и говорит, что это и есть самая настоящая компания и все эти господа всё нужный народ. Для чего они были нужны – Татьяна Власьевна не могла дать ума, потому что этаковой-то бросовый народ какие такие дела мог делать... А тут еще приехала из своего Верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить: так братцем и поворачивает, как хорошим болваном. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна, можно сказать, все произошла и могла поставить брагинский дом на настоящую точку, как в

других богатых домах все делается, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Нюши и произошло изгнание Зотушки.

– Вот теперь и полюбуйся... – корила свою модницу Татьяна Власьевна, – на кого стала наша-то Нюша похожа? Бродит по дому, как омморошная... Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка... Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается? Стыдобушка нашей головушке, а чья это работа? Все твоя, Аленушка...

– Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала! Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не чета Алешке-то Пазухину... У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки, так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить, мамынька, а в богатом дому как показать этакое чучело?.. Вам, обнаковенно, Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так.

Только один срам от него и выходит братцу Гордею Евстратычу.

– Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться... Все под Богом ходим. Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот ужо Господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость.

– Ах, мамаша, ничего вы не понимаете!.. – заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. – Нельзя же по-прежнему жить без всякого понятия...

Татьяна Власьевна заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьевна. Это задело старуху, потому что чего им было скрываться от родной матери. Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьевна пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертывалась.

«Ох, недаром наша Алена Евстратьевна

вертится, как береста на огне», – думала про себя старуха.

И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое: в нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал невпопад или спрашивал что-нибудь непутевое, совсем не к месту. «Ужо надо с отцом Крискентом посоветоваться, – решила Татьяна Власьевна, – больно неладно с отцом-то у нас… Может, это он от этих новых знакомых, а может, оттого, что водки начал принимать в себя даже очень предовольно». Отец Крискент с своей обычной благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил:

– Да, да… Помните, я говорил вам тогда, Татьяна Власьевна: богатство – это испытание. Оно испытание и выходит…

– Уж я, право, отец Крискент, даже не рада этой нашей жилке; все у нас от нее навыворот пошло… Со всеми рассорились, не знаю за что; в дому сумление.

– Я вам говорил… да, говорил, – сочувственно повторял о. Крискент, покачивая своей головкой. – Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна.

В вящее подтверждение своих слов о. Крискент с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника.

– Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые-то знакомые отшатились! Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины… И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями, ну, с этого и пошло… А теперь сваты-то слышать об нас не хотят.

– Да, да… – лепетал о. Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. – А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпыч тогда восстал на меня… Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных попов. А ежели разо-

брать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да... Я говорю, что богатство – испытание. Ваше-то золото и меня достало, а я претерпел и вперед всегда готов претерпеть.

– Ох, верно, отец Крискент... Вам все это зачтется, все зачтется...

– А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна, много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами – я тогда неутомим, я... Теперь взять хотя ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратьевны.

– Задумывается он все, отец Крискент... А о чем ему думать? Слава богу, всего, кажется, вдоволь, и только жить да радоваться нужно... Конечно, обнесли напраслиной внучков моих, про Гордея Евстратыча болтают разное, совсем неподобное...

– Неподобное?

– Да… Даже рассказывать совестно.

– Ах да, слышал, слышал… Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна.

Руки о. Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой: ему пришла великолепная мысль.

– Знаете что, Татьяна Власьевна? – заговорил о. Крискент с подобающей торжественностью. – Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на Бога… Да? Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и докончим… Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно высказал ревности к Божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет стараться для Бога, враг человеческий и отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я

готов претерпеть всегда.

– Непременно восстанут, отец Крискент: и Савины, и Пазухины, и Колобовы…

– Я сие предвижу и не устрашаюсь, поелику этим самым устроим два благих дела: достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа… Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту – вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом в старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит.

Мысль была великолепная и совпадала с планами о. Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения.

– Гордей Евстратыч собирается себе дом строить, – рассказывала Татьяна Власьевна, – да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он старый-то, в котором теперь живем, хотел поправлять, только подумал-подумал и оставил. Не поправить его по-настоящему, отец Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья

женатые, детки у них; того и гляди, тесно покажется – вот он и думает новый домик поставить.

– И отлично... Это даже превосходно, Татьяна Власьевна: одной рукой будет ревновать для Господа, другой для себя. А что у вас Нюша?

– Ох, и не спрашивайте... Высохла девка совсем: не знаем, что с ней и делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила...

– Гм... И нельзя поправить?

– Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас, очень осердились. Конечно, Нюша еще молода, износит и не такую беду, только все-таки оно жаль, жаль смотреть-то на нее.

Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству Божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старичками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными

делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать Господеви, да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего: как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм Божий, как он умилительно поет на клиросе по дванадесятым праздникам, как истово знает все четьи минеи, и о. Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат не кому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще дело быстро катилось вперед, к своему естественному концу, и о. Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарпычем Пятовым. Это была самая щекотливая часть взятой на себя о. Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на своем жестком монашеском ложе, о. Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал

тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, о. Крискент побаивался трех личностей: у Колобовых – самого Самойла Михеича, нравного и крутого на язык старика, у Савиных – самой, то есть Матрены Ильиничны, начетчицы и большой исправщицы, а у Пазухиных – злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали.

Помолившись и еще раз вспомнив о великой «разделительной силе златого бисера», о. Крискент отправился прежде всего к Савиным, где Матрена Ильинична встретила его с гордой холодностью, – она уже наслышалась о подходцах, хотя и удивилась, когда о. Крискент после необходимых вступительных благоразмышлений приступил к самой сущности.

– Значит, Нила-то Поликарпыча по шеям? – обрезала Матрена Ильинична медоточивого оратора.

– Нет, я не говорю этого, Матрена Ильи-

нична, а только делаю уповательное рассуждение...

– Ну а Самойла Михеича куда денешь? Он ведь кандидатом числится у нас в старосты...

– А может быть, Самойло Михеич сам откажется от прохождения службы в чине церковного старосты?

– А я тебе вот что скажу, отец Крискент... Все у нас было ладно, а ты заводишь смуту и свары... Для брагинского-то золота ты всех нас разгонишь из новой церкви... Да! А помнишь, что апостол-то сказал: «Вся же благообразна и по чину вам да бывают». Значит, ежели есть староста и кандидат в старосты, так нечего свои-то узоры придумывать. Так и знай, отец Крискент.

Отец Крискент только склонил свою головку, ибо чувствовал себя в этом деле, то есть относительно Самойла Михеича, правым вдвойне: во-первых, он был только кандидат, а затем – Самойло Михеич прикержачивал. Конечно, этих мыслей о. Крискент не высказал Матрене Ильиничне, а, приняв на свою главу еще несколько ядовитых словес, с смирением потек к Колобовым. Там было не луч-

ше. Самойло Михеич сначала прикинулся, что ничего не понимает, а потом наговорил о. Крискенту кучу мужицких грубостей вроде того, что нынче попы сидя обедни служат, а приход будет лежа Богу молиться. Это стоило «деревянных» попов Нила Поликарпыча. У Пазухина о. Крискента в свою долю отполировала Марфа Петровна. Вообще, испытание оказалось тяжелее, чем предполагал о. Крискент; он не ожидал проявления такого духа строптивости от своего словесного стада. Раньше он решил испить чашу до дна за один прием, то есть разом побывать у всех, но теперь он почувствовал себя слишком разбитым, чтобы идти еще к Нилу Поликарпычу, своему явному недоброжелателю. Удрученный самыми невеселыми мыслями, о. Крискент забрел в брагинский дом, чтобы подкрепить себя душеспасительной беседой с Татьяной Власьевной и поведать ей вынесенные сегодня поношения. У Брагиных дома были только одни женщины, и Татьяна Власьевна приняла о. Крискента с надлежащим почетом, как самого дорогого гостя.

– А я только хотела идти к вам, отец Крис-

кент, – заговорила Татьяна Власьевна, когда они остались с глазу на глаз.

– Что такое случилось?

– Уж я вот все по порядку, отец Крискент, обскажу... Тогда я пришла от вас и к слову молвила Гордею Евстратычу про старосту-то. Думаю, как бы он чего еще не вздумал артачиться, тоже ведь как на это взглянет. Ну, сказала я это ему, а он ничего, стал расспрашивать, что и как, а потом сам и говорит: «Мамынька, надо будет помириться с Пятовым-то... Напрасно он обидел меня тогда, ну, да господь с ним...» Я даже сперва-то ушам своим не поверила, а он опять: «Мы, – говорит, – мамынька, Алену Евстратьевну зашлем сперва к Нилу-то Поликарпычу, она насчет разговору-то у нас простовата. Пусть там поразведает».

Это известие приятно изумило о. Крискента, у которого точно гора свалилась с плеч от слов Татьяны Власьевны, хотя он, собственно, не мог сразу проникнуть всего значения такого неожиданного оборота дела.

– Это будет настоящий христианский подвиг, Татьяна Власьевна, – проговорил он, со-

бираясь с мыслями. – Видите, только вы сказали еще одно слово, а дух разделения уже оставил Гордея Евстратыча.

– Верно, верно, отец Крискент… И ведь как это преотлично вышло! А я сначала-то даже не поверила… Только потом, когда раздумалась и вспомнила ваши-то слова о злом духе…

– Не любит он, Татьяна Власьевна, благочестивых подвигов…

– Да, да… А Гордея-то Евстратыча, может, и то еще смутило, что Зотушка-то теперь у Пятовых живет… Приютили они его, а Гордею-то Евстратычу совестно против них, вот он и хочет выправиться за один раз… Да и Алена-то Евстратьевна тут же подвернулась…

– Оно уж одно к одному… Бог даст, и совсем искореним разделительную силу злата. Довольно с вас испытаний.

– Ох, довольно, отец Крискент! А мне, старухе, в другой раз так, пожалуй, и совсем не под силу приходится… Даже роптала сколько раз!

Действительно, модница Алена Евстратьевна на другой же день отправилась в пятовский дом и вернулась оттуда с самыми

утешительными вестями. Нил Поликарпыч очень рад помириться и готовится испросить прощения у обиженного им напрасно о. Крискента. Татьяна Власьевна даже прослезилась от умиления и не знала, как ей благодарить о. Крискента за его благую мысль.

– Только бы с Пятовыми помириться, – соображала про себя Татьяна Власьевна, – а там помаленьку и с другими со всеми помиримся. Только бы отогнать злого-то духа, разделителя от милушки!.. Устрой, Господи, все на пользу.

Свидание недавних «противителей» было назначено в пятовском доме, почему хлопот Фене и Зотушке был полон рот. Нужно было все прибрать, да убрать, да приготовить. Ведь сама Татьяна Власьевна пожалует, а у ней глазок-смотрок, только взглянет и всякую неполадку насквозь увидит. Господский дом был старинной постройки, с низкими потолками, узкими окнами и толстыми кирпичными стенами, каких нынче уже не строят, за исключением, может быть, крепостей и монастырей. В комнатах все было устроено тоже по-старинному: пузатая мебель красного де-

рева, кисейные занавески на окнах, тюменские ковры на полу, орган «с ошибочкой в дудках», портреты генералов и архиереев на стенах, клетка с канарейками и т. д. Феня была большая охотница до цветов, и все окна были уставлены цветочными горшками, но и цветки были тоже все старинные: герани, кактусы (эти кактусы сильно походили на шишковатые зеленые косы, которые вылезали прямо из земли), петухи, жасмин, олеандры, гортензии и т. д. Модные цветы в Белоглинском заводе были только в шабалинском доме, но Феня не понимала экзотической декоративной зелени, которая всегда оставалась мертвой и не расцветала ни одним алым цветком. Все эти пальмы, филодендры, драцены, фикусы, агавы и папирусы наводили на нее тоску.

– Пошевеливайся, Зотушка! – покрикивала Феня на своего помощника. – Надо поспеть убраться до вечера, а то, пожалуй, скажут про нас с тобою неладно что-нибудь. Алена Евстратьевна бедовая у вас. Да что ты сегодня точно мертвый?

Зотушка действительно что-то крепко

призадумался и все вопросительно поглядывал на барышню Фенюшку. Теперь он задумчиво почесал у себя в затылке и проговорил:

– Тяжело у меня на сердце, Федосья Ниловна.

– Что так?

– Да уж так: чует оно что-то неладное… Уж это завсегда у меня так. Чуть что – и засосет…

– Перестань врать-то… Чего тебе чуять-то? Слава богу, что так все устроилось, будет старикам-то вздорить. Мне отца Крискента страсть как жалко тогда было, когда тятенька его обидел…

– Хорошо-то оно хорошо, это точно, а все-таки оно несовсем… Ох, недаром эта модница, наша Аленушка, прилетала! С добром она не ходит, не нам будь сказано.

– Да что она может сделать?

– Эх, барышня, барышня… Чужая душа потемки, барышня, а только неспроста сестричка прилетала. Грешный человек – не люблю ее: вот тебя люблю, а ее нет. Душа не лежит к человеку, голубушка Фенюшка…

Феня серьезно побаивалась гостей, то есть, собственно, Татьяны Власьевны и Алены Ев-

стратьевны, которые своим женским всевидящим взглядом увидят каждую соринку, каждый хозяйственный промах. Девушка целых два дня хлопотала по всему дому, чтобы все было как следует, как у других. Она перебрала посуду, столовое серебро, скатерти, двадцать раз сбегала вниз к кухарке Анисье, чтобы самой за всем досмотреть и все приготовить. В порыве усердия она даже подстригла и перемыла все цветы, точно зоркий глаз бабушки Татьяны мог заметить каждый засохший листочек. В назначенный день, когда вечером должны были собраться гости, Феня испытывала лихорадочное волнение и с четырех часов перебегала от окна к окну, выглядывая – не покажутся ли знакомые крашеные пошевни, в которых обыкновенно приезжала Нюша. В своем шерстяном платье цвета бордо, плотно охватывавшем ее статную фигуру, девушка была очень красива, а тревога и беспокойство придавали ее лицу такое хорошее выражение. Нил Поликарпович тоже чувствовал себя не совсем спокойно и все старался прикрыть свою лысину остатками волос, сохранившимися на висках. Для воодушевле-

ния он несколько раз пробовал было затянуть: «Твоя победительная десница», но ничего не выходило, и он неровно начинал шагать по зале, поправляя ногами ковры и пробуя произвести некоторую симметрию в цветочных горшках. Это был тихий и молчаливый человек с очень развитыми семейными наклонностями; Феню любил он до безумия, хотя и не умел проявить своего чувства громкими внешними формами, как делают другие отцы. Но Феня сердцем чувствовала эту любовь и ценила своего молчаливого, немножко странного отца.

Первыми приехали бабушка Татьяна с Аленой Евстратьевной.

– А где Нюша? – спрашивала Феня, выскакивая встречать гостей на крыльцо.

– Дома осталась, дома… Что-то головой скудается, – ответила бабушка Татьяна, целуясь с Феней. – Отец-то дома?

– Дома, дома… Здравствуйте, Алена Евстратьевна!..

– Гордей Евстратыч сейчас приедет, он заехал только за отцом Крискентом, – ответила бабушка Татьяна на немой вопрос Фени.

Нил Поликарпыч встретил гостей в передней и с молчаливой улыбкой провел их в гостиную, куда Анисья уже тащила большущий поднос с чашками. Модница Алена Евстратьевна разоделась в шелковое зеленое платье со шлейфом и в кружевную наколку; она была в зеленых перчатках и золотых серьгах с малиновыми шерлами. Женщины, конечно, зорко оглядели комнаты и, похвалив молодую хозяйку за образцовый порядок, уселись вокруг стола. В это время подкатили сани с Гордеем Евстратычем и о. Крискентом; Нил Поликарпыч выбежал встречать их на крыльцо, а затем провел в гостиную, где и состоялась трогательная сцена примирения. Гордей Евстратыч и Нил Поликарпыч облобызались и обнялись, а затем Нил Поликарпыч отвесил земной поклон о. Крискенту и со смирением проговорил:

– Прости и благослови, отче, меня, окаянного.

– Бог тебя простит, Нил Поликарпович, а я давно простил, поелику сие было только разделительное недоразумение отъинуда. Жили мы с тобой до старости, не ссорились, а те-

перь и подавно не следует нам ссориться. Мир дому сему, и паки мирови мир...

Чай прошел в самой непринужденной дружеской беседе, причем все старались только об одном: чтобы как можно угодить друг другу. Отец Крискент торжествовал и умиленно поглядывал на Татьяну Власьевну, выглядывавшую в своем шелковом темно-синем сарафане настоящей боярыней. Гордей Евстратыч, в новом городском платье, старался держаться непринужденно и весело шутил. Когда подана была закуска, общее настроение достигло последних границ умиления, и Нил Поликарпович еще раз облобызался с Гордеем Евстратычем.

– Испытание, испытание... – лепетал о. Крискент, вознесенный даже до третьего блаженства. – Нужно все претерпевать. Да!

За закуской мужчины долго толковали о своих делах, то есть о постройке новой церкви, о должности церковного старосты и т. д. Гордей Евстратыч говорил, что он рад потрудиться для Божьего дела и чувствует себя еще в силах; потом начал рассказывать о доме, который затевал строить. Место уже было под-

смотрено, только Гордей Евстратыч выжидал еще одного случая, а какого случая – он недосказал. Татьяна Власьевна вслушивалась в этот разговор, и ей не нравился тот тон, каким говорил Гордей Евстратыч о своем новом доме и о том, что он еще в силах, точно он хвастался перед Нилом Поликарпычем; потом старухе не понравилось, как себя держала модница Алена Евстратьевна с молодой хозяйкой, точно она делала ей какой экзамен. Феня краснела и смущалась, а Алена Евстратьевна с какой-то загадочной улыбкой величественно кивала головой и время от времени все взглядывала на братца Гордея Евстратыча, который почему-то смущался и начинал кусать свою подстриженную бороду.

В восемь часов был подан ужин, потому что в Белоглинском заводе все ложатся очень рано. Стряпня была своя домашняя, не заморская, но гости находили все отличным и говорили нехитрые комплименты молодой хозяйке, которая так мило конфузилась и вспыхивала ярким румянцем до самой шеи. Гордей Евстратыч особенно ласково поглядывал сегодня на Феню и несколько раз принимался

расхваливать ее в глаза, что уж было совсем не в его характере.

– Я и не знал, что твоя Феня такая хозяйка, – говорил он Нилу Поликарпычу, поглаживая бороду. – Вон у меня их трое, молодых-то, в дому, а толку, пожалуй, супротив одной не будет.

Алена Евстратьевна подхватывала похвальные слова братца и еще сильнее заставляла краснеть смущенную Феню, которая в другой раз не полезла бы за словом в карман и отделала бы модницу на все корки; но общее внимание и непривычная роль настоящей хозяйки совсем спутывали ее. Отец Крискент хотел закончить этот знаменательный день примирением Гордея Евстратыча с Зотушкой, но когда хватились последнего – его и след простыл. Это маленькое обстоятельство одно и опечалило о. Крискента и Татьяну Власьевну.

– Ну, уважила ты нас всех, Феня, – говорил на прощанье Гордей Евстратыч. – Пожалуй, я этак часто поважусь к вам в гости ездить...

– Чтой-то, милушка, пристали вы сегодня к девке, – останавливала Татьяна Власьевна. –

Проходу не даете…

– Да ведь я так… Мне, старику, можно поболтать пустяки с молоденькими. Ведь я старик, Феня? Уж дедушка давно!

– Какой вы старик, – наивно ответила Феня. – Вот тятенька действительно старик, а вы еще…

– Что еще-то?

Феня окончательно смутилась и не знала, что ей ответить.

– Я еще у тебя, Феня, в долгу, – говорил Гордей Евстратыч, удерживая на прощанье в своей руке руку Фени. – Знаешь за что? Если ты не знаешь, так я знаю… Погоди, живы будем, в долгу у тебя не останемся. Добрая у тебя душа, вот за что я тебя и люблю. Заглядывай к нам-то чаще, а то моя Нюша совсем крылышки опустила.

XV

Примирение с Пятовыми точно внесло какую благодать в брагинскую семью; все члены ее теперь вздохнули как-то свободнее. Гордей Евстратыч «стишал» и начал походить на прежнего Гордея Евстратыча, за исключением своего нового костюма, с которым ни за что не хотел расстаться. Михалко и Архип выезжали теперь с прииска раза три в неделю, и невестки вздохнули свободнее. Точно к довершению общего благополучия, у Дуни родилась прехорошенькая девочка.

– Мне мальчишек больше не надо, – говорил счастливый Гордей Евстратыч. – Девочка не в пример лучше...

Татьяна Власьевна поняла последние слова как утешение Дуне, которой хотелось иметь первенцем сына; но Гордей Евстратыч говорил совершенно серьезно и пестовал маленькую Таню даже больше, чем своего внука Степушку. Когда Татьяна Власьевна предложила в кумовья Нила Поликарпыча, Гордей Евстратыч точно испугался и сказал, что у него уже есть кум, знакомый золотопромыш-

ленник, а кумой будет сестрица Алена Евстратьевна. Теперь Пятовы часто бывали у Брагиных и Брагины у Пятовых. Вообще все шло как по маслу, и только в общем довольстве не принимал никакого участия один Зотушка, который в самый момент примирения Гордея Евстратыча с Нилом Поликарпычем перебрался совсем из пятовского дома под крылышко Агнеи Герасимовны, где и проживал все время. Как ни старались залучить Зотушку, чтобы помирить с братцем Гордеем Евстратычем, – все было напрасно. Феня нарочно ездила к Колобовым, чтобы выпытать у Зотушки, почему он не хочет мириться, но ничего не могла добиться. Зотушка плакал от радости, когда видел свою барышню, но на все расспросы говорил самые непонятные слова: «Так уж лучше будет, моя барышня...», «Погоди, вот ужо соберусь...» и т. д.

– Ведь это грешно, наконец, Зотушка, – увещевала упрямого божьего человека Феня. – Бабушка Татьяна много слез из-за тебя пролила...

– Я сам, барышня Фенюшка, плачу обо всех, часто плачу... А бабушке Татьяне скажи

от меня, что ее слезы еще впереди, большие слезы.

– Что ты, Зотушка, господь с тобой! Какие ты слова говоришь?..

– А ты думаешь, мне легко их говорить? И тебе, барышня моя распрекрасная, тоже слезы будут... Да.

– Ну, уж я-то не заплачу, ты это напрасно говоришь...

– Вот и заплачешь, вместе с бабушкой Татьяной заплачешь... Покудова сестрица Алена Евстратьевна будет гостить – Зотушка не придет. Так и бабушке Татьяне скажи, Феня.

– Ах, какой ты несговорный, Зотушка. Ну стоит на тетку Алену сердиться? Ты знаешь, какая она, значит, и толковать о ней нечего...

– Знаю, все знаю, чего и вы не знаете. Да... А мне тебя жаль, Феня, касаточка, вот как жаль.

Зотушка действительно несколько раз начинал плакать и со слезами целовал белые ручки барышни Фенюшки.

– Вздор мелет! – сердито отрезала Татьяна Власьевна, когда Феня передавала ей свои разговоры с Зотушкой. – Это его Колобовы да

Савины настраивают... Что ему скажут, он то и мелет.

Перед самым Рождеством Зотушка жестоко закутил, и его оставили в покое.

Благодаря неутомимым хлопотам о. Крискента Гордей Евстратыч был наконец выбран церковным старостой. Когда Савины и Колобовы узнали об этом, они наотрез отказались ходить в единоверческую церковь и старались также смутить и Пазухиных. Такие проявления человеческой злобы сильно смущали о. Крискента, но он утешал себя мыслью, что поступал совершенно справедливо, радея не для себя, а для церковного благолепия.

– Савины и Колобовы не ко мне в церковь ходят, а к Богу, – говорил о. Крискент со смирением. – Всуе мятутся легковернии...

Но Савины и Колобовы думали несколько иначе и даже послали на о. Крискента два доноса – один преосвященному, а другой в консисторию, находя выборы нового старосты неправильными. Узнав об этом, о. Крискент не только не смутился, но выказал большую твердость духа и полную готовность претерпеть в борьбе с разделительными силами,

волновавшими теперь его словесное стадо.

А Гордей Евстратыч уже вступил в отправление своих старостинских обязанностей, и все прихожане не могли им нахвалиться. Первым его подвигом в новой обязанности было то, что он пожертвовал в новую церковь весь иконостас, то есть заказал его на свой счет, а затем помогал везде, где только показывалась церковная нужда: сшил церковным каморникам новые кафтаны, купил новое паникадило, сделал новые праздничные ризы и т. д. Эти пожертвования, на худой конец, стоили тысяч пять, и все преклонялись пред благотворительностью нового тысячника Гордея Евстратыча. Истинным любителям церковного благолепия, какие встречаются только в единоверческих церквах, больше всего нравился сам Гордей Евстратыч, когда он стоял за старостинским прилавком в своем старостинском кафтане. Это был такой осанистый, красивый старик, точно на заказ. Все, что он делал, выходило у него так торжественно и благочестиво, что даже о. Крискент любовался из алтаря новым старостой, когда он с степенной важностью ставил свечи, откладывая

широкие единоверческие кресты. Последняя бабенка, ставившая копеечную желтую свечку, и та чувствовала, что ее жертва точно будет приятнее Богу, если пройдет через руки Гордея Евстратыча... И Нил Поликарпыч, конечно, был отличный староста, но у него был один, очень неприятный недостаток: Нил Поликарпыч, по своей рассеянности, часто забывал, кому заказаны были свечи, и ставил их наугад. Впрочем, при особенной ревности единоверцев ставить свечи пред образами трудно было и не перемешать, когда, например, у старосты на руках зараз являлось свеч пятнадцать или двадцать. Но Гордей Евстратыч в этом случае обладал исключительно счастливой памятью и скоро совершенно затмил своего предшественника.

– Тебе и книги в руки, Гордей Евстратыч, – сознавался сам Пятов, когда они вечерком сидели в гостиной о. Крискента за стаканом чаю. – Экая у тебя память... А меня часто-таки браковали бабенки, особенно которая позубастее. Закажет Флору и Лавру, а я мученику Митрофану поставлю.

Вообще Гордей Евстратыч оказался как раз

на своем месте и отнесся к своим новым обязанностям с особенною ревностью, так что удивлял даже о. Крискента.

Благодаря новому старосте праздничная служба на Рождестве отличалась особенной торжественностью. Единоверческая церковь, низенькая и тесная, переделанная из старинной раскольничьей молельни с полатями и перегородкой посредине, была вычищена до последнего уголка; множество свеч, новые ризы на священнике и дьяконе, наконец, сам новый староста в своем форменном кафтане – все дышало благолепием. Вся брагинская семья была в церкви. Впереди других, у левого клироса, стояла в белом кисейном платье Феня Пятова; она была необыкновенно хороша, как распустившаяся роза. Гордей Евстратыч часто поглядывал на нее и, когда ходил ставить свечи к местным образам, проходил мимо нее так близко, что задевал ее локтем. Девушка опускала глаза и едва заметно улыбалась; Гордей Евстратыч чувствовал эту тихую улыбку, которая мешала ему молиться, и даже сердился на Феню и других девок, которые выпятились вперед. Недаром прежде молель-

ня была разделена глухой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую: соблазну никакого. Даже Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч молится как будто не совсем истово, и сделала ему строгий выговор.

Святки для Брагиных на этот раз прошли необыкновенно весело, хотя особенных гостей и не было, кроме Порфира Порфирыча, Шабалина, Липачка и Плинтусова. Молодежи набралось столько, что устраивали святочные игры, пели песни, гадали и т. д. Порфир Порфирыч оказался самым подходящим человеком, чтобы топить олово, ходить по улицам и спрашивать у встречных, как зовут жениха, играть в жмурки и вообще исполнять бесчисленные причуды развеселившейся молодежи. Феня и Нюша одевали Порфира Порфирыча в сарафан бабушки Татьяны и в ее праздничную сорочку и в таком виде возили его по всему Белоглинскому заводу, когда ездили наряженными по знакомым домам. Даже Нюша и та заметно «отошла» и, кажется, начинала помаленьку забывать своего Алешку. Зотушка устраивал костюмы, но сам

не участвовал в общем веселье, ссылаясь на головные боли и какое-то «трясение» после недавнего пьянства. Вообще веселье лилось через край, всяк куролесил в свою долю. Ариша была мастерица заводить песни, Феня – плясать и т. д. Старики больше любовались на молодежь, прохаживались по закускам и калякали о своих собственных делах. Раз подгулявший Гордей Евстратыч сильно тряхнул стариной, то есть прошелся с Феней русскую.

– Только для тебя, Феня, и согрешил!.. – говорил расходившийся старик, вытирая вспотевшее лицо платком. – По крайности буду знать, в чем попу каяться в Великом посте… А у меня еще есть до тебя большое слово, Феня.

– Какое слово?

– А уж такое… Давно собираюсь переговорить, да все как-то время не выбирается. Не оставляй ты, Феня, моей-то Нюши…

– Что вы, Гордей Евстратыч! Да разве я… мы душа в душу с Нюшей живем. Сами знаете.

– Все вы, девки, так-то душа в душу живете, а чуть подвернулся жених – и поминай как звали. Так и твое дело, Феня: того гляди,

выскочишь, а мы и остались с Нюшей-горюшкой.

– Я замуж не пойду…

– Ладно, ладно… У всех у вас одна вера-то!

ГордейЕвстратыч дружелюбно похлопал Феню по плечу и подумал про себя: «Экая девка уродилась, подумаешь… а?»

Конечно, от бдительности Татьяны Власьевны и о. Крискента не ускользнуло особенное внимание, с каким Гордей Евстратыч относился к Фене. Они по-своему взглянули на дело. По мнению Татьяны Власьевны, все обстоятельства так складывались, что теперь можно было бы помириться с Савиными и Колобовыми, – недоставало маленького толчка, каких-нибудь пустяков, из каких складываются большие дела в жизни. Именно она с этой точки зрения и взглянула на отношения Гордея Евстратыча к Фене.

– Он-то ее даже очень уважает, – говорила бабушка Татьяна о. Крискенту, – вот я и думаю: ежели бы Феня замолвила словечко, может, Гордей-то Евстратыч и совсем бы стишал…

– Глас девственницы имеет великую силу

над мужским полом, – глубокомысленно изрек о. Крискент. – Сему есть много даже исторических примеров…

– А уж как бы хорошо-то было… Сначала бы насчет Савиных да Колобовых, а потом и насчет Пазухиных. То есть я на тот конец говорю, отец Крискент, что Нюшу-то мне больно жаль да и Алексея. Сказывают, парень-то сам не свой ходит… Может, Гордей-то Евстратыч и стишает.

Ободренные первым успехом борьбы с разделительной силой злого духа, когда они помирили Гордея Евстратыча с Пятовым, старики порешили теперь воспользоваться «гласом девственницы». Бабушка Татьяна сама переговорила с Феней, а та с жаром ухватилась за это предложение, только просила об одном, что сначала переговорит с Гордеем Евстратычем о Нюше, а потом уж о Савиных и Колобовых.

– Ну как знаешь, милушка, – говорила бабушка Татьяна, крестя девушку…

– Так лучше будет… Гордей-то Евстратыч сам мне намекнул маленько, да я мимо ушей пропустила тогда.

Феня рассказала, как Гордей Евстратыч говорил ей, что у него для нее есть «великое слово» и в чем оно заключается.

Бабушка Татьяна не совсем поняла объяснения Фени.

– Да ты, бабушка, не сумлевайся: он это и хотел сказать. Я теперь только поняла... Все выйдет как по писаному.

– Стара я стала, милушка, загадки-то разгадывать, а сдается мне, как будто оно и не совсем так...

– Нет, уж так, бабушка Татьяна.

Они вместе выбрали и время, когда переговорить Фене с Гордеем Евстратычем, – за день до крещенского сочельника, когда у Пятовых будут приглашены гости на вечер.

Действительно, к Пятовым съехалось много гостей, и в том числе был и Гордей Евстратыч. Феня выждала, когда гости подкрепятся закуской и Гордей Евстратыч совсем развеселится. Он уже закидывал к ней две-три свои жесткие шуточки и весело разглаживал свою подстриженную бороду.

– А мне с вами, Гордей Евстратыч, поговорить надо... – заговорила Феня, улучив удоб-

ную минутку.

– Вот как… Что такое случилось?

Феня немного смутилась и, ощипывая платок, который держала в руках, вопросительно подняла свое лицо на Гордея Евстратыча. Это девичье лицо с ясными чистыми глазами было чудно хорошо теперь своим колеблющимся выражением: в нем точно переливалась какая-то сила. Гордей Евстратыч улыбнулся, и Фене показалось, что он нехорошо как-то улыбнулся… Но время было дорого, и, после минутного колебания, она проговорила:

– Здесь неловко разговаривать, Гордей Евстратыч. Я вас проведу в свою комнату.

До комнаты Фени было всего несколько шагов – перейти залу и гостиную. Хозяйка указала гостю на стул около туалета красного дерева, а сама поместилась по другую его сторону.

– Ну, в чем дело, Феня? – ласково спрашивал Гордей Евстратыч, мельком оглядывая закрытую пологом односпальную кровать.

– Помните, Гордей Евстратыч, как вы мне тогда сказали про великое слово о Нюше… Вот я хочу поговорить с вами о нем. Зачем вы

ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода: кукла какая-то, а не живой человек... Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Я это не к тому говорю, чтобы мне самой очень нравился Алексей... Я и раньше смеялась над Нюшей, ну, оно вышло вон как. Если он ей нравится, так...

– Так и отдать ее Алешке? – докончил Гордей Евстратыч и тихо так засмеялся. – Так вот зачем ты меня завела в свою горницу... Гм... Ежели бы это кто мне другой сказал, а не ты, так я... Ну, да что об этом говорить. Может, еще что на уме держишь, так уж говори разом, и я тебе разом ответ дам.

– А не рассердитесь на меня?

– Глядя по словам, какие говорить будешь... И муха не без сердца...

Феня посмотрела на своего собеседника. Лицо у него было такое доброе сегодня, хотя он смотрел на нее как-то странно... «Э, семь бед – один ответ!» – решила про себя девушка и храбро докончила все, что у ней лежало на душе...

– Есть и еще, Гордей Евстратыч... – загово-

рила она уже смелее. – Помните, как вы ссорились с тятенькой? Ну, кому от этого легче было, – никому. А помирились – и всем праздник. Вот как Святки-то отгуляли…

Феня весело засмеялась и даже тряхнула своей русой головой. Гордей Евстратыч тоже засмеялся и дрогнувшей рукой схватился за край резного туалета, точно смех Фени уколол его.

– Одним словом, я на вашем месте давно бы помирилась с Савиными и Колобовыми… Ей-богу!.. А то бог знает что у вас в семье делается; невесткам-то небось весело глядеть, как вы волками друг на дружку глядите, да и бабушке Татьяне тоже. Вы бы этак же и помирились, как с тятенькой… Лихо бы закутили!.. Уж если у вас самих язык не ворочается, так я сама бы все оборудовала: поехала бы к Савиным да к Колобовым и сказала, что вы сокрушаетесь очень, а самим приехать как-то неловко, а потом то же самое сказала бы вам… Ведь только бы и всего?.. Право… А то теперь те даже в церковь перестали ходить, отцу Крискенту делают неприятности… Ох уж эти мужчины: чистые петухи…

– Как ты сказала?

– Чистые петухи, сказала. Тесно вам, подумаешь, в Белоглинском-то заводе.

ГордейЕвстратыч сначала улыбался, а потом, опустив голову, крепко о чем-то задумался. Феня с замиравшим сердцем ждала, что он ей ответит, и со страхом смотрела на эту красивую старческой сановитой красотой голову. Поправив спустившиеся на глаза волосы, Гордей Евстратыч вздохнул как-то всей своей могучей грудью и, не глядя на Феню, заговорил таким тихим голосом, точно он сам боялся теперь своей собеседницы. В первую минуту Фене показалось, что это говорит совсем не Гордей Евстратыч, а кто другой.

– Хорошее ты мне слово сказала, Феня... от сердца сказала. Чувствую я это, даже очень чувствую... И сам об этом, может, не одну сотню раз подумал. Да... Только вот ты-то как сказала мне, так я и вижу все, как на ладонке, что и где неладно... Эх, Феня, Феня!.. Сам вижу свои-то неполадки, ну, да оно уж одно к одному все пусть... Ты вот со стороны-то глядишь на нас да и думаешь про себя: дескать, с жиру старики-то бесятся. Так. А ты разбери-ка...

Оно совсем другая статья выходит. Оно, видишь ли, и раньше в семье-то у нас сучки да задоринки выходили, тоже взять хоть этих Савиных да Колобовых. Гордо они держали себя против нас, в том роде, как благодетели какие... Ну, я это переносил, никому ни слова. А как подвернулась эта самая жилка, оно все и выплыло наверх, как масло на воде. Видишь, куда оно погнуло-то... Да!.. Это тебе раз. Об Алешке Пазухине вторая статья подошла... Тут уж, напрямки сказать, золото нас разделило, хоть Алешка парень и подходящий бы, и семья ихняя тоже. Пожалел я Нюшу отдать за него, думал жениха лучше ей найти... Так ведь? Не выродок ведь Нюшка-то моя, не недоносок какой, да и одна дочка у родимого батюшки... А из этого вон оно что выросло-то: девка на глазах моих чахнет.

После короткой паузы Гордей Евстратыч провел по лбу рукой, точно стирая какую-то постороннюю мысль, которая мешала ему вполне ясно высказаться, а потом продолжал:

– Я тебе начистоту все скажу, Феня... За то тебе скажу, что душа у тебя добрая. Люблю... Да... Так вот обзатылил я Пазухиных, Зотушку

прогнал от себя. Это уж моя вина: с сердца сорвалось у меня. После-то сам гляжу я на себя и дивлюсь: зачем я это родного брата из родительского дома выгнал?.. А тут родная дочь на глазах зачала сохнуть. Легко мне это, по-твоему? Своя-то кровь всегда скажется... она проймет... Разве я ослеп? Нет, голубушка, все видел я и все на сердце держал, да только поделать ничего не мог... Не раз и не два думал я помириться со всеми, как вот с твоим тятенькой помирился, так поди же ты – руки не подымались! Даже слов таких у меня точно не было на языке, чтобы на мировую пойти... А тут еще новые дружки да приятели, им надо тоже большое спасибо сказать. Зачал я закруживаться совсем, и все мне тяжелее да тяжелее, потому старые-то дружки все отшатились, а новых не нажил. Ведь новые-то благоприятели к золоту нашему льнут – видим и это... Хорошо. Только и начал я думать, пошто, да как, да зачем. Жили беднее – было лучше в дому, а с богатством пошла какая-то разнота да сумятица. Может, слышала, как Михалко-то жену свою колотил? Вот оно куда пошло... вижу – дело дрянь, и чем дальше,

тем оно хуже. С богатством-то соблазн везде, грех... Водкой я начал зашибать в хорошей компании и всякое прочее. Тебе, девушке, это негоже все знать... Так, к слову пришлось... Ну, я и надумал наконец... то есть не сам даже надумал, а вроде как осенило меня. Уж старостой я был... Стою я за своим прилавком, продаю свечи, а сам в уме держу свои-то неполадки, как и что. Даже так горько мне стало... А тут я сразу все до корня постиг.

ГордейЕвстратыч тяжело перевел дух и еще раз обвел глазами комнату Фени, точно отыскивая в ее обстановке необходимое подкрепление. Девушка больше не боялась этого гордого старика, который так просто и душевно рассказывал ей все, что лежало у него на душе. Ее молодому самолюбию льстило особенно то, что этакий человек, настоящий большой человек, точно советуется с ней, как с бабушкой Татьяной.

– Ну, так я сразу всю причину и нашел, – продолжал Гордей Евстратыч, соображая что-то про себя. – Я уж тебе все до конца доскажу...

– А я знаю, какая причина.

– Какая?

– Золото...

– Нет... Тут совсем особенная статья выходит: не хватает у нас в дому чего-то, от этого и все неполадки. Раньше-то я не замечал, а тут и заметил... Все как шальные бродим по дому и друг дружку не понимаем да добрых людей смешим. У меня раз пружина в часах лопнула: пошуршала-пошуршала и стала, значит, конец всему делу... Так и у нас... Не догадываешься?

– Нет...

– Ну, так я попрямее тебе скажу: жены Гордею Евстратычу недостает!.. Кабы была у него молодая жена, все шло бы как по маслу... Я и невесту себе присмотрел, только вот с тобой все хотел переговорить. Все сумлевался: может, думаю, стар для нее покажусь... А уж как она мне по сердцу пришлась!.. Эх, на руках бы ее носил... озолотил бы... В шелку да в бархате стал бы водить.

Феня инстинктивно поднялась с места; она совсем не ожидала такого оборота разговора и почуяла что-то недоброе. Гордей Евстратыч тоже поднялся. Лицо у него было бледное, а

глаза так и горели.

– Феня, выходи за меня замуж… все будет по-твоему… – глухо прошептал он, делая шаг к ней.

– Гордей Евстратыч… Господь с вами… опомнитесь.

– Я?.. Нет, поздно немножко… Феня, все для тебя сделаю… и помирюсь со всеми, и Нюшу за Алешку отдам, только выходи за меня… Люба ты мне, к самому сердцу пришлась…

– Гордей Евстратыч… в уме ли вы?..

– Ласточка моя, в уме… Ты всех нас спасешь, всех до единого, а то весь дом врозь расползется. Старик я… не люб тебе, да ведь молодость да красота до время, а сердце навек.

– Не пригоже мне, Гордей Евстратыч, такие ваши речи выслушивать…

Вместо ответа, Брагин схватил девушку и поднял кверху как перышко, а потом припал к ней своей большой седевшей головой, которая вся горела как в огне.

– Я закричу… пустите… – шептала Феня, освобождаясь из давивших ее железных объятий. – Я сейчас все бабушке Татьяне расскажу… все…

Она рванулась к дверям, но Гордей Евстратыч, ухватившись за ее платье, на коленях пополз за ней. Лицо у него было даже страшно в настоящую минуту, столько в нем стояло безысходной муки, отчаяния и мольбы:

– Ради бога... Феня... одну минуточку...

Девушка в нерешительности остановилась, хотя у самой глаза были полны слез: она еще чувствовала на себе прикосновение его головы.

– Феня... пожалей старика, который ползает перед тобой на коленях... – молил Гордей Евстратыч страстным задыхавшимся шепотом, хватая себя за горло, точно его что душило. – Погоди... не говори никому ни слова... Не хотел тебя обижать, Феня... прости старика!

Эта патетическая сцена была прервана шагами в соседней комнате: Алена Евстратьевна отыскивала хозяйку по всем комнатам. На правах женщины она прямо вошла в комнату Фени и застала как раз тот момент, когда Гордей Евстратыч поднимался с полу. Феня закрыла лицо руками и горько заплакала.

– Что с тобой, Феня? – с участием спрашивала Алена Евстратьевна, делая вид, что ни-

чего не заметила.

– Ах, оставьте меня… все оставьте… – шептала девушка, глухо рыдая.

Между братом и сестрой произошла выразительная немая сцена: Гордей Евстратыч стоял с опущенной головой, а модница улыбалась двусмысленной улыбкой: дескать, что уши-то развесил, разве не видишь, что девка ломается просто для порядку.

– Не надо было больно круто наступать-то на нее для первого разу… – выговаривала Алена Евстратьевна, когда Феня убежала от них. – Этак все дело можно извести!

ГордейЕвстратыч, вместо ответа, только бессильно махнул рукой: руки и ноги у него дрожали, а в голове точно работала целая кузница – так стучала в жилах расходившаяся стариковская кровь.

XVI

«Глас девственницы» привел к такому результату, какого ни о. Крискент, ни Татьяна Власьевна совсем уж не ожидали. Они только теперь сообразили всю нелепость своего предприятия, а также и то, что все это могли и даже должны были предвидеть.

– Нет, я-то как затмилась... – с тоской повторяла про себя Татьяна Власьевна, когда Феня рассказала ей все начисто, ничего не утаив. – Где у меня глаза-то раньше были? И хоть бы даже раз подумала про Гордея Евстратыча, чтобы он отколол такую штуку... Вот тебе и стишал!.. Он вон какие узоры придумал... Ах, грехи, грехи!.. У самого внучки давно, а он – жениться...

По лицу «мамыньки» Гордей Евстратыч видел, что ей известно решительно все, и даже потемнел от злости. Так он ходил дня три, а потом взял да и угнал с золотом в город. Между ним и бабушкой Татьяной не было сказано ни единого слова, точно их разделила раздавшаяся под ногами пропасть. С неожиданно налетевшего горя Татьяна Власьевна

слегла в постель и крепко разнемоглась; крепка была старуха, точно сколоченная, а тут не выдержала. Она походила теперь на контуженого человека, который сгоряча не может хорошенько сообразить настоящую величину разразившейся грозы. Лечилась она, конечно, своими домашними средствами и слышать не хотела о докторе. На сцену появились разные мази, настои на травах, коренья, святая крещенская вода и т. д. Из домашних больная позволяла ухаживать за собой только одной Нюше; у невесток своей работы было довольно, а модницу Алену Евстратьевну старуха даже на глаза не пускала.

– Что это бабушка так огорчилась? – соображала про себя Нюша; она была не прочь иметь такую мачеху, как Феня.

Феня была в брагинском доме всего только раз, когда все рассказала Татьяне Власьевне, и больше не показывалась: ей было стыдно и Нюши, и невесток, точно она сама была виновата во всем. Зато Алена Евстратьевна не дремала, а повела правильную осаду по всем правилам искусства настоящих записных свах. Она редкий день пропускала, чтобы не

побывать у Пятовых. Приедет и рассядется с своими бесконечными разговорами. Глядя на нее, Феня часто удивлялась, какие на свете «бесстыжие» люди бывают, а модница точно не замечала внушаемого своей особой отвращения и разливалась река рекой. Сначала она вела все посторонние речи, ни одним словом не обмолвившись о случившемся, потом принялась вздыхать и жалеть огорченную девушку, которую так напугал братец.

– Велика беда… – говорила модница в утешение Фене. – Ведь ты не связана! Силком тебя никто не выдает… Братец тогда навеселе были, ну и ты тоже завела его к себе в спальню с разговорами, а братец хоть и старик, а еще за молодого ответит. Вон в нем как кровь-то заходила… Молодому-то еще далеко до него!.. Эти мужчины пребедовые, им только чуточку позволь… Они всегда нашей женской слабостью пользуются. Ну, о чем же ты кручинишься-то? Было да сплыло, и весь сказ…

– Совестно, Алена Евстратьевна… Зачем он тогда схватил меня на руки?.. Разве я какая-нибудь, чтобы так меня обижать…

– Ах, какая ты, Феня, непонятная... Братец совсем ума решились, а ты – «зачем схватил?»... Может, он руки на себя теперь готов наложить. Тоже ведь не деревянный. А вот я тебе лучше расскажу про нашего верхотурского купца Чуктонова. Это недавно было. Видишь, был этот Чуктонов один сын у отца, богатый, молодой, красавец. Хорошо. А в Верхотурье жил один чиновник Коробкин, а у Коробкина была дочь Наталья. Одна всего дочь, как зеница в глазу. Только к этой Наташе и присватывался один богатый старик, то есть он еще не старик, человек еще в поре, ну а в годках. Хорошо. Известно, девичье дело, Наташа даже и обиделась, как это он посмел такие мысли к ней иметь, а отец-то Коробкин даже неприятность сделал старику. Так это дело и рассохлось, а к Наташе присватался Чуктонов, она за него и выскочила. Глупый девичий разум: радуется Наташа, что нашла мужа молодого, да красивого, да развертного. Только радость-то больно недолгая была... Наша бабья красота короче воробьиного носа: на первом же ребенке Чуктонов-то и разлюбил жену. Ну, обыкновенно, детки не красят мате-

ри. Сначала-то по любви все было, а потом пошло уж другое. Муж на других молодых стал заглядывать, а жена его ревновать. И пошло, и пошло… Мало-за-мало начал Чуктонов жену колотить да еще любовницу себе завел. Из синяков бабенка не выходит, а муж гуляет да ее же тиранит. И как он ее тиранил – истинно страсти Господни!.. Возьмет, раздене нет донага, привяжет назади руки к ногам, а сам нагайкой ее и полосует, пока руку не вымахает… А то заложит лошадь, привяжет жену к оглобле да на паре по всему городу и катается. Так до самой до смерти ее затиранил… А другая-то девушка, которая вышла за старика, живет себе да как сыр в масле катается.

– Не все же такие, Алена Евстратьевна, как этот ваш Чуктонов, – возражала Феня. – Это какой-то зверь, а не человек.

– Я и не говорю, что все такие, а только к слову пришлось: всякие бывают и молодые мужья… А муж постарше совсем уж другое: он уж не надышится на жену, на руках ее носит. Оно и спокойнее, и куда лучше, хоть ты как поверни. Вон мамынька тоже за старого мужа выходила, а разве хуже других прожила?

Прежде совсем не спрашивали девок, за кого замуж отдают, да жили не хуже нашего-то…

Все эти доводы и увещания были слишком избиты, чтобы убедить кого-нибудь, и Алена Евстратьевна переходила в другой тон: она начинала расхваливать братца Гордея Евстратыча, как только умела, а потом разливалась в жалобах на неполадки в брагинском дому – как рассорились снохи из-за подарков Гордея Евстратыча, как балуются ребята на прииске, хотя Татьяна Власьевна и стоит за них горой; как сохнет и тает Нюша; как все отступились от брагинской семьи. В общем, модница повторяла то же, что высказал Гордей Евстратыч, но она умела все это расцветить своей специально бабьей логикой и в этой форме сделала доступным неопытному уму Фени. Мало-помалу, против собственной воли, и девушка стала вникать в смысл этих предательских слов, и ей все дело начало казаться совсем в ином свете, а главное: Гордей Евстратыч являлся совсем не тем, чем она его представляла себе раньше. Это был еще полный сил и энергии старик, который желал спасти семью от грозившего ей разрушения

и помощницей себе выбрал ее, Феню. Такой брак был почти богоугодным делом, потому что от него зависела участь и счастье стольких людей. Феня душой любила всю брагинскую семью; сердце у ней было действительно доброе, хорошее, жаждавшее привязанности, а теперь ей представлялась такая возможность осчастливить десятки людей. Алена Евстратьевна слишком хорошо поняла Феню и именно с этой слабой стороны вела свою атаку последовательно и неутомимо, как какой-нибудь стратег, осаждающий неприступную крепость. Как Феня ни крепилась, но заметно поддавалась на «прелестные речи» своего неотступного искусителя и даже плакала по ночам от сознания своего бессилия и неопытности. Ей не с кем было посоветоваться, кругом были все чужие люди, а бабушки Татьяны она как-то начинала бояться. Эта внутренняя работа смущалась особенно тем фактом, что в среде знакомых было несколько таких неравных браков и никто не находил в этом чего-нибудь нехорошего: про специально раскольничий мир, державшийся старозаветных уставов, и говорить нечего –

там сплошь и рядом шестнадцатилетние девушки выходили за шестидесятилетних стариков.

– Бабушка Татьяна мне прямо тогда сказала, что она меня не благословляет… – пускала Феня в ход свой последний, самый сильный аргумент. – А я против ее воли не могу идти, потому что считаю бабушку Татьяну второй матерью. Она худу не научит, Алена Евстратьевна. Недаром она вон как разнемоглась с горя… Нет, нет, и не говорите лучше. Я и слышать ничего не хочу!

– Видишь, Феня, о бабушке Татьяне своя речь… Бабушке-то Татьяне на восьмой десяток перевалило, вот она и судит обо всех по-своему. Конечно, ей настоящую сноху в дом не расчет пускать. Она теперь в дому-то сама большая – сама маленькая: как хочет, так всеми и поворачивает. Внучатные-то снохи пикнуть не смеют, а женись Гордей Евстратыч, тогда другие бы порядки пошли… Уж это верно!.. Старуха просто боится, а ты ее слушаешь. Спроси-ка у снох да у Нюши, желают они тебя мачехой своей величать? То-то вот и есть!.. Совсем другой разговор выходит… То же и

про ребят скажу, про Михалка да про Архипа… Да чего лучше, спроси их сама.

– С чего это вы взяли, Алена Евстратьевна, что я стану спрашивать их о таких глупостях? – обижалась Феня.

– В том-то и дело, что не глупости, Феня… Ты теперь только то посуди, что в брагинском доме в этот год делалось, а потом-то что будет? Дальше-то и подумать страшно… Легко тебе будет смотреть, как брагинская семья будет делиться: старики врозь, сыновья врозь, снохи врозь. Нюшу столкают с рук за первого прощелыгу. Не они первые, не они последние. Думаешь, даром Гордей-то Евстратыч за тобой на коленях ползал да слезами обливался? Я ведь все видела тогда… Не бери на свою душу греха!..

– Почему же непременно я, а не другая? Разве мало стало невест Гордею Евстратычу по другим заводам или в городу… Он теперь богатый, любая с радостью пойдет.

– Вот и проговорилась… Любая пойдет, да еще с радостью, а Гордей Евстратыч никого не возьмет, потому что все эти любые-то на его золото будут льститься. А тебя-то он сыз-

мальства знает, знает, что не за золото замуж будешь выходить... Добрая, говорит, Феня-то, как ангел, ей-богу...

В самый разгар этих переговоров приехал из города сам Гордей Евстратыч и круто повернул все дело. По совету Алены Евстратьевны он прежде всего завербовал на свою сторону податливого о. Крискента. Как он его обошел – трудно сказать, но только в одно прекрасное утро о. Крискент заявился в пятовский дом, когда не было самого Нила Поликарпыча, и повел душеспасительную речь о значении и святости брака вообще как таинства, потом о браке как неизбежной форме нескверного гражданского жития и, наконец, о браке как христианском подвиге, в котором человек меньше всего должен думать о себе, а только о своем ближнем. Против этого противника Феня защищалась еще слабее, чем против Алены Евстратьевны, потому что о. Крискент не такой был человек, чтобы болтать зря. Притом та Божественная форма, в которую он облекал свою беседу, уснащая ее текстами Священного Писания и примером из жития святых, совершенно обезоружива-

ла Феню, так что она могла только плакать украдкой. Девушка получила религиозное воспитание, – увещание о. Крискента производило на нее подавляющее впечатление.

– Необходимо присовокупить еще следующее, – говорил о. Крискент, расстегивая и застегивая пуговицы своего подрясника. – Кто есть истинный раб Христов? Неусумнительно, тот, который несет крест... Все мы должны нести крест. А твой крест, дитя мое, заключается в том, чтобы спасти не только целую семью, но еще через сокровища своего будущего супруга преизбыточно делать добрые дела многим другим людям... Может быть, через тебя возрадуются десятки сирых, вдовиц и убогих. Умягчая сердце своего супруга, ты научишь его благодетельному расточению сокровищ... Это будет христианский подвиг, и он тебе зачтется там, на небеси, где – ни старых, ни молодых, ни богатых, ни убогих. Молодость быстротечна, как вся жизнь; нужно заботиться о будущем, прозирать в загробную жизнь.

– Батюшка, я боюсь... – откровенно призналась Феня со слезами на глазах.

– Хороших дел не нужно бояться… Ты смотришь на брак с земными мыслями, забывая, что в этом мире мы временные гости, как путники в придорожной гостинице.

– А бабушка Татьяна, отец Крискент? Она меня проклянет…

– Татьяна Власьевна, конечно, весьма благомысленная и благоугодная женщина, но она все-таки человек, и каждый человек в состоянии заблуждаться, особенно когда дело слишком близко затрогивает нас… Она смотрит земными очами, как человек, который не думает о завтрашнем дне. Старушка уже в преклонном возрасте, не сегодня завтра призовется к суду Божию, тогда что будет? С своей стороны, я не осуждаю ее нисколько, даже согласен с ней, но нужно прозирать в самую глубину вещей.

Эти переговоры настолько утомили и расстроили Феню, что она побледнела и ходила с опухшими глазами от слез. В ее голове все мысли путались, как спущенные с клубка нитки; бессонные ночи и слезы привели ее в такое состояние, что она готова была согласиться на все, только оставили бы ее в покое.

Даже Зотушки около нее не было; он пьянствовал опять, справляя «предпразднество», как перед Рождеством справлял предпразднество. Нил Поликарпыч точно не замечал ничего и появлялся в доме только к обеду и ужину; у него всегда было много дела и хлопот по заводу, чтобы еще замечать, что делается дома; притом он постоянно лечился и составлял какие-то мази и декокты. Да и вообще отцы, как обманутые мужья, последними замечают то, что уже видят все другие люди. Около Фени не было любящей женской руки, которая разделила бы с ней ее тревоги и огорчения. Если бы была жива мать Фени, тогда, конечно, совсем другое дело; но Феня выросла сиротой и никогда так не чувствовала своего сиротства, как именно теперь, когда решала такой важный шаг.

Когда таким образом Феня оказалась достаточно подготовленной, Алена Евстратьевна приказала братцу Гордею Евстратычу объясниться с ней самому. Девушка ждала этого визита и со страхом думала о том, что она скажет Гордею Евстратычу. Он пришел к ней бледный, но спокойный и важный, как все-

гда. Извинившись за старое, он повел степенную и обстоятельную речь, хотя к сказанному уже Аленой Евстратьевной и о. Крискентом трудно было прибавить что-нибудь новое.

– Все для тебя сделаю, Феня, – повторял он несколько раз с особенной настойчивостью, – а без тебя пропасть мне только... Уж я знаю!.. Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика глаза разгорелись на твою молодость да на твою красу, – ведь думаешь? А разве бы я не нашел, окромя тебя, ежели бы захотел?.. Ты вот это и рассуди... А без тебя мне капут, как Бог свят. Потому какая жисть наша, ежели разобрать: пьянство, безобразие... В том роде, как у Вукола Шабалина. Разве это порядок? Лучше уж разом покончить с собой, чем этакто наматывать на шею смертные грехи...

Феня слушала его с опущенными глазами, строгая и бледная, как мученица. Только ее соболиные брови вздрагивали да высоко поднималась белая лебяжья грудь. Гордей Евстратыч не видал ее краше и теперь впивался глазами в каждое движение, отдававшееся в нем режущей болью. Она владела всеми его

чувствами, и в этой крепкой железной натуре ходенем ходила разгоравшаяся страсть.

– Может, ты сумлеваешься насчет тятеньки? – спрашивал Гордей Евстратыч, стараясь по-своему объяснить раздумье Фени. – Так он не пойдет супротив нас... Мы с ним старинные друзья-приятели... Эх, Феня, Феня!.. За одно твое словечко, всего за одно, да я бы, кажется, весь Белоглинский завод вверх ногами повернул... Ей-богу... Птичьего молока добуду, только скажи... а?.. А уж как бы я тебя баловал да миловал... Э-эх!..

– Гордей Евстратыч, ради бога, повремените немного... Дайте мне с мыслями собраться, а то я ровно ничего не понимаю...

– Значит, можно надеяться? Да?.. Скажи-ка, Феня, как это ты выразила-то?

– Нет... я ничего... – испуганно залепетала девушка. – Я сказала только, что дайте мне с мыслями собраться...

– Ну-ну... Вот это самое!.. Ах ты, касаточка... голубушка!.. А я тебе гостинца из города на всякий случай захватил. Это за старое должок...

Брагин подал закрытую коробку, но Феня

обеими руками отодвинула ее от себя, точно этот подарок мог обжечь ее.

– Да ты посмотри... а?.. А то сейчас за окошко выкину: никому не доставайся!.. Для тебя припасено – тебе и владеть.

Чтобы вывести девушку из затруднения, Брагин сам раскрыл коробку: внутри на бархатной подушечке жарко горели три изумруда, точно бобы, осыпанные настоящими бриллиантами. Это был целый прибор из броши и серег. Подарок, однако, не произвел надлежащего действия, а только заставил Феню покраснеть, точно эта коробка была отнята для нее у кого-то другого.

– Дайте подумать, Гордей Евстратыч... – шептала она, не имея сил сопротивляться.

– Ну, думай, думай... Только по-хорошему думай! Да вот этот гостинец для начала прими, с ним легче, может, будет думать-то...

– Напрасно вы, Гордей Евстратыч, беспокоились...

– Напрасно?..

Брагин порывисто схватил коробку с гостинцем и побежал к форточке.

– Гордей Евстратыч... постойте!.. – остано-

вила его Феня, когда он занес уже руку, чтобы выкинуть гостинец на улицу.

Татьяна Власьевна все еще была больна. По лицу модницы она замечала, что опять что-то затевается, но что – она не знала хорошенько. Нюша находилась неотлучно при больной и тоже не могла ничего знать; невестки отмалчивались, хотя, вероятно, и слышали что-нибудь из пятого в десятое. Ариша знала больше всех, но молчала про себя; в душе она желала, чтобы Гордей Евстратыч женился на Фене, потому что она как-то инстинктивно начинала бояться свекра, особенно когда он так ласково смотрел на нее. Она хорошо помнила, как он обнял и поцеловал ее перед своим отъездом в ярмарку.

– Что это Феня-то не идет проведать? – несколько раз спрашивала Татьяна Власьевна. – Тоже и отец Крискент глаз не кажет… Совсем забыли старуху!

– У Фени, бабушка, горло болит… – лгала Нюша, чтобы успокоить больную, которая делала вид, что верит этому…

– Долго ли простудиться?.. Ох-хо-хо…

Однажды под вечер, когда Татьяна Вла-

сьевна в постели пила чай, а Нюша сидела около нее на низенькой скамеечке, в комнату вошел Гордей Евстратыч. Взглянув на лицо сына, старуха выпустила из рук блюдечко и облилась горячим чаем; она почувствовала разом, что «милушка» не с добром к ней пришел. И вид у него был какой-то такой совсем особенный... Во время болезни Гордей Евстратыч заходил проведать больную мать раза два, и то на минуту. Нюша догадалась, что она здесь лишняя, и вышла.

– Ну как, мамынька, твое здоровье? – спросил неровным голосом Гордей Евстратыч, перебирая пальцами борт своего сюртука.

– Неможется все, милушка... залежалась я что-то.

– Вставать надо, мамынька...

Пауза. И сыну, и матери одинаково тяжело; они стараются не смотреть друг на друга.

– Мамынька, я пришел к тебе за благословеньем: жениться хочу... – с искусственной твердостью проговорил Гордей Евстратыч.

Эта фраза точно ужалила больную. Она поднялась с подушки и быстро села на постели: от этого движения платок на голове сбил-

ся в сторону и жидкие седые волосы рассыпались по плечам. Татьяна Власьевна была просто страшна в эту минуту: искаженное морщинистое лицо все тряслось, глаза блуждали, губы перекосились.

– Как… ты сказал, Гордей?

– Жениться хочу, мамынька…

– В добрый час… На ком же это, милушка?

– На Фене…

Старуха глухо застонала и упала в подушки; с ней сделалось дурно, и глаза закрылись, как у мертвой.

– Мамынька…

– Милушка… нельзя… не могу…

– Мамынька, все уж дело слажено… Мы с Нилом Поликарпычем и по рукам ударили.

– Не мм… нет тебе моего благословения… не мм…

– Я пошлю отца Крискента к тебе. Пусть он с тобой договорит…

– Зачем отца Крискента?

– Так… Ведь он уговаривал Феню, ну и тебя уговорит. Я не таюсь ни от кого, мамынька…

– Так ты вот как, милушка… не спросясь матери… Нет, это не ты придумал… нет… это

та... змея подколодная устроила... Алена всех смутила... и отца Крискента она же подвела, змея...

– Это уж все равно, мамынька... Дело сделано. Я насчет твоего благословенья пришел...

– Не могу...

ГордейЕвстратыч замолчал, подавляя душившую его злобу. Он боялся наговорить лишнего, надеясь уломать старуху более мирным путем. Начинать свадьбу ссорой с матерью все-таки было неудобно...

– Как знаешь, мамынька... – проговорил он, едва сдерживаясь. – Только ведь мы и так обвенчаемся, ежели ты будешь препятствовать. Так и знай... Я к тебе еще зайду.

– И на глаза лучше не показывайся...

Когда Нюша вошла в комнату, она даже вскрикнула от страха: Татьяна Власьевна лежала как пласт, и только страшно горевшие глаза говорили о тех страшных муках, какие она переживала.

– Бабушка!.. Господи, что же это такое? – заплакала девушка, бросаясь к постели. – Бабушка... милая...

– Нюша... О! змея, змея, змея...

– Бабушка… Христос с тобой!

– Тетка Алена змея… Нюша, голубушка… сейчас же беги к Пятовым… и чтобы непременно Феня была здесь… Слышишь?.. Да чтобы сейчас же… а если… если… она не захочет… я сама к ней приползу… Слышишь?.. Нюша, ради Христа, скорее!.. Ох, Аленка, змея подколодная!.. Нюша, скорее… в чем есть, в том и беги…

Накинув свою заячью шубейку, Нюша пешком побежала в пятовский дом. Через полчаса она вернулась вместе с Феней, которая шла за ней, пошатываясь, как после тяжелой болезни.

– Ну, теперь ты оставь нас одних, – проговорила Татьяна Власьевна Нюше, когда девушки вошли в ее комнату. – Феня, голубка моя, садись вот сюда… ближе… Плохо слышу… ох, смерть моя…

Девушка опустилась на низенькую деревянную скамеечку-подножку, на которой обыкновенно сидела Нюша, и, закрыв лицо руками, тихо плакала.

– Рассказывай все… все, как было… – глухо шептала Татьяна Власьевна, делая усилие

подняться на своей подушке и опять падая на нее. – Нет… не надо… я знаю все… змея Аленка… она, она, она… Ох, Господи Исусе Христе! Феня, голубка, лучше я… сама тебе все расскажу… все… как на духу…

Не утаивая ничего, с рыданиями, бабушка Татьяна рассказала Фене про свой страшный грех с дедушкой Поликарпом Семенычем, а также и про Зотушку, который приходится Фене родным дядей.

– Мой грех, мой ответ… – хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. – Всю жисть его не могу замолить… нет спокою моей душеньке нигде… Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не губи себя… Феня, голубка, прости меня многогрешную… Нет, пред образом мне поклянись… пред образом… затепли свечку… а то собьют тебя… Аленка собьет с пути… она и отца Крискента сбила, и всех…

Через минуту перед старинным образом Нерукотворного Спаса теплилась свеча, и Феня тряслась всем телом и повторяла за бабушкой Татьяной слова клятвы, что никогда, даже после смерти рабы Божией Татьяны, она,

девица Федосья, не выйдет за раба Божия Гордея.

XVII

Отказ Фени привел Гордея Евстратыча в настоящее бешенство. Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Власьевну, но Гордей Евстратыч был убежден, что это именно мать расстроила все дело. Он несколько раз наступал на Татьяну Власьевну с угрозами и проклятьями, но старуха покорно отмалчивалась; убитый Гордей Евстратыч иногда принимался умолять ее на коленях, со слезами на глазах, но старуха оставалась по-прежнему непреклонна. Раз, вернувшись пьяный от Шабалина, он бросился на мать с кулаками, и только Нюша спасла бабушку от дикого насилия. Произошла страшная сцена, заставившая оцепенеть весь дом. Татьяна Власьевна, собственно, не должна была бы вынести всех этих испытаний, которые валились на ее седую голову одно за другим, но она, наперекор всему, быстро начала поправляться, точно в это семидесятилетнее дряхлое тело были вдохнуты новая

жизнь и сила, которая живила и укрепляла его; наоборот, Феня слегла в постель и разнемогалась с каждым днем все сильнее. Когда бабушка наконец встала с постели – это был совсем другой человек, в котором нельзя было узнать прежней Татьяны Власьевны. Гордей Евстратыч успел в это время немного опомниться и пришел к матери с повинной.

– Прости, мамынька... – умолял он, валяясь у старухи в ногах.

– Бог тебя простит, а я еще подумаю, – отвечала Татьяна Власьевна. – Ты меня хотел убить, Гордей Евстратыч, да Господь не допустил тебя. Знаю, кто тебя наущал... все знаю. И вот мой сказ тебе: чтобы Алены Евстратьевны и духу не было и чтобы напредки она носу сюда не смела показывать...

– Мамынька, как же я буду выгонять сестрицу?..

– Умел принимать, умей и выгнать... Не велико кушанье!.. А ежели не выгонишь, сию же минуту уйду из дому и прокляну вас обоих... По миру пойду на старости лет!

Вся высохшая, с побелевшим восковым лицом и страшно горевшими глазами, Татьяна

Власьевна походила на одну из тех подвижниц, каких рисуют на старинных образах. Прежней мягкости и податливости в ней не было больше и следа; она смотрела гордой и неприступной. И раньше редко улыбавшиеся губы теперь сложились сурово, как у схимницы; это высохшее и изможденное лицо потеряло способность улыбаться. Даже Нюша и та боялась грозной старухи.

– Я всех вас распустила... везде непорядки... – говорила Татьяна Власьевна сыну. – А теперь будет не так, Гордей Евстратыч...

– Мамынька, да ведь я хозяин дому, – возражал иногда Гордей Евстратыч.

– Какой ты хозяин!.. Брата выгнал и меня хотел пустить по миру... Нет, Гордей Евстратыч, хозяйка здесь я. Ты налаживай свой дом, да в нем и хозяйничай, а этот дом батюшкин... И отцу Крискенту закажи, чтобы он тоже не ходил к нам. Вы с ним меня живую бы закопали в землю... Дескать, пущай только старуха умрет, тогда мы все по-своему повернем.

Обиженная и огорченная Алена Евстратьевна принуждена была на скорую руку сло-

жить свои модные наряды в чемоданы и отправиться в Верхотурье, обозвав братца на прощанье дураком. Старуха не хотела даже проститься с ней. Отец Крискент проникновенно понял то, что Гордей Евстратыч боялся высказать ему прямо, и, с своей обычной прозорливостью, сам не заглядывал больше в брагинский дом.

Зотушка опять вернулся к Пятовым: как только Феня слегла, так он и заявился, бледный, худой, с трясущимися руками, но с таким же кротким и любящим сердцем и почти женской мягкостью в характере. Теперь Феня была рада ему вдвойне: это был не чужой человек, хотя Зотушка и сам этого не подозревал. Болезнь девушки, сначала неопределенного характера, вдруг резко перешла в нервную горячку: молодая натура не выдержала всех испытаний и теперь жестоко боролась с тяжелым недугом. Зотушка ходил за больной как сиделка, и больная инстинктивно искала его руки, когда нужно было переменить место на подушке или приподнять голову; никто не умел так угодить ей, как Зотушка. Она из его рук принимала и лекарство, которое

прописывал привезенный из города доктор.

«Замучили девку, замучили...» – думал Зотушка, когда сидел длинную зимнюю ночь в комнате Фени, где теперь все было пропитано запахом лекарств.

Больная не могла лежать спокойно и часто металась, придавленная нестерпимым гнетом. В горячечном бреду она все умаливала кого-то погодить, потом начинала громко молиться и повторяла обрывки произнесенной клятвы. Эта пестрая путаница недавних впечатлений проходила чрез ее воспаленный мозг с мучительной болью, заставляя с новой силой пережить тысячи раз все вынесенные испытания. Мысль работала с лихорадочной торопливостью; призраки и фантастические представления нарастали, переплетались и заканчивались страшными галлюцинациями. Главным образом девушка страдала от неотступного преследования трех людей, являвшихся ей в тысяче всевозможных превращений, – это были Гордей Евстратыч, бабушка Татьяна и дедушка Поликарп Семеныч. Они не отходили от Фениной кровати и мучили ее своим постоянным присутствием, как

тяжелый кошмар. Старая, старая, страшная бабушка Татьяна особенно пугала больную. Феня даже вскрикивала каждый раз, когда грозный призрак наклонялся к ней и холодными костлявыми руками чего-то искал в ее мозгу... «Бабушка, оставь меня!» – кричала больная, открывая глаза: но перед ней вместо бабушки стоял уже Гордей Евстратыч, весь золотой – с золотым лицом, с золотыми руками, с сверкавшими золотыми глазами. Он даже дышал какой-то золотой пылью, которая наполняла всю комнату и от которой Феня начинала задыхаться. Это золото жгло ее, давило, а Гордей Евстратыч ползал около кровати и плакал золотыми слезами. Больная видела себя уже женой этого золотого Гордея Евстратыча и сама постепенно превращалась тоже в золотую: и руки и ноги у ней были настоящие золотые и такие тяжелые, что она не могла ими пошевелить. Налитые золотом веки не поднимались; даже мысли в голове были золотые и шевелились в мозгу золотыми цепочками, кольцами, браслетами и серьгами – все это звенело и переливалось, как живая чешуя. Опять крик, опять новые грезы; но те-

перь бабушка Татьяна и Гордей Евстратыч сменялись худеньким дедушкой Поликарпом Семенычем, который все искал Зотушку; а Феня прятала его то у себя под подушкой, то в коробке с гостинцем Гордея Евстратыча.

Иногда к этим вполне определенным впечатлениям прибавлялось что-то новое, неясное и смутное, расплывавшееся, как туман; но Феня чувствовала присутствие этого неопределенного, потому что оно заставляло ее дрожать в лихорадке. Испытываемое ею ощущение можно сравнить с тем, какое переживает человек ночью в глухом лесу, когда знает, что опасность в двух шагах, но не может ее разглядеть. Сухие губы бабушки Татьяны в этих случаях шептали: «Феня, голубушка! Змея, змея, вон она!» И бабушка Татьяна дрожала и протягивала руки вперед, точно хотела защищаться от настоящей живой змеи, которая вот-вот живой петлей захлестнет ее. Это была Алена Евстратьевна, которую больная не видала, но слышала ее походку и вкрадчивый голос.

– Зотушка… мне страшно… – шептала Феня, хватаясь за руку Зотушки. – Говори что-

нибудь… спой. Ты никого не видишь?

– Нет, касаточка, никого не вижу… Христос с нами, ласточка…

– Ты не оставляй меня одну… Золото… везде золото…

Феня страстно прислушивалась к звукам Зотушкина голоса, стараясь на них сосредоточить все свое внимание и тем вырвать себя из фантастической области, где блуждала ее больная мысль. Она точно хваталась за стих Зотушки, чтобы не унестись опять в безбрежное море своих галлюцинаций. Но действительность переплеталась с грезами, а ее уносила темная волна вперед, в темную бездну, где ее снова окружали ее мучители. Прислушиваясь к бреду больной, Зотушка многого не понимал, особенно когда Феня начинала заговариваться о бабушке Татьяне и Поликарпе Семеныче. Какую связь имел этот Поликарп Семеныч со всем случившимся – для Зотушки оставалось загадкой. Только раз, когда Феня особенно сильно металась и бредила, все дело разъяснилось: больная выболтала все, что сама знала о страшном грехе бабушки Татьяны и о самом Зотушке, называя его

своим дядей. От этих речей Зотушку прошиб холодный пот, и пред его глазами запрыгала целая дюжина проворных бесенят, безобразно задиравших мышиные хвосты. Когда больная очнулась от своего забытья, она по лицу Зотушки угадала, что он знает тайну бабушки Татьяны; она закрыла глаза от охватившего ее ужаса.

– Что с тобой, касаточка? – спрашивал Зотушка.

– Что?.. Ты слышал?

– Слышал...

– Ну... так это правда... Все равно, я умру, Зотушка... по крайней мере не на чужих руках...

– Христос с нами, ласточка... Зачем помирать, еще поживем в свою долю.

– Нет, нет... я знаю... Зотушка, я не виновата.

Зотушка наклонился к руке Фени, и на эту горячую руку посыпались из его глаз крупные слезы... Вот почему он так любил эту барышню Феню и она тоже любила его!.. Вот почему он сердцем слышал сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что ей вместе с

бабушкой Татьяной будут большие слезы... А Феню точно облегчило невольно сделанное признание. Она дольше обыкновенного осталась в сознании и ласкала своего дядю, как ушибившегося ребенка.

– А где Нюша? Что она не придет ко мне? – спрашивала больная.

– Она заходила не один раз, да ты-то все не узнавала ее...

– И бабушка Татьяна была?

– И бабушка была...

– Зотушка, держи меня... крепче держи...

Наступивший бред был сильнее прежнего; и Зотушка одно время совсем всполошился, думая, что барышня Феня отходит. Он побежал к Нилу Поликарповичу и приволок его за руку в комнату Фени. Старик Пятов иногда сменял Зотушку, когда тот уходил в кухню «додернуть» часик на горячей печке, а большею частью ходил из угла в угол в соседней комнате; он как-то совсем потерялся и плохо понимал, что происходило кругом. Страшная мысль лишиться Фени нагоняла на него столбняк, и он только ощупывал свою плешивую голову, напрасно стараясь что-то припом-

нить. Иногда он принимался со слезами упрашивать доктора-старичка спасти его Феню и предлагал свою домашнюю аптеку. Доктор рассеянно выслушивал этот бред наяву, записывал что-то в своей карманной книжке и повторял: «Хорошо, хорошо. Скоро наступит кризис, тогда все выяснится...» Больная редко узнавала отца и старалась скрыть от отца свои страдания. Он так всегда любил ее, и она жалела его. Кто заменит ее больному старику? Кто будет предупреждать, как это делала она, его скромные желания и угождать его привычкам? Не один раз глаза Фени наполнялись слезами, когда она смотрела на отца: ей было жаль его больше, чем себя, потому что она слишком исстрадалась, чтобы чувствовать во всем объеме опасность, в какой находилась.

ГордейЕвстратыч, пока разыгрывалась в пятовском доме эта тяжелая драма, после первого порыва отчаяния бросился в разгул и не выходил из шабалинского дома, где стоял день и ночь пир горой. Вукол Логиныч посылал в город нарочно две кошевых, чтобы привезти подходящих гостей из «подходящей

компании». Варвара Тихоновна угощала всех на славу, так что Липачек и Плинтусов не раз просыпались, к своему удивлению, в ее парадной спальне. Это безобразие нравилось Гордею Евстратычу, который хотел в вине утопить свое горе и пьяный принимался несколько раз плакать.

– Ну, горе не велико... – утешала Варвара Тихоновна. – Нашел о чем сокрушаться! Не стало этого добра... Все равно, женился бы на Фене, стала бы тебя она обманывать.

– Врешь!.. – кричал Гордей Евстратыч.

– А ты не очень кричи... Не у себя дома.

– Эх, Варвара Тихоновна, Варвара Тихоновна... разве ты можешь что-нибудь понимать?.. Ну, какое у тебя понятие? Ежели у меня сердце кровью обливается... обидели меня, а взять не с кого...

Порфир Порфирыч, конечно, был тут же и предлагал свои услуги Брагину: взять да увезти Феню и обвенчаться убегом. Этому мудреному человеку никак не могли растолковать, что Феня лежит больная, и он только хлопал глазами, как зачумленное животное. Иногда Гордея Евстратыча начинало мучить самое

злое настроение, особенно когда он вспоминал, что о его неудачном сватовстве теперь галдит весь Белоглинский завод и, наверно, радуются эти Савины и Колобовы, которые не хотят его признать законным церковным старостой.

Чтобы проветрить пьяную компанию, раза два ездили в кошевых на Смородинку, где устраивалось сугубое пьянство. Работы на прииске теперь было мало, и Михалко с Архипом пропадали со скуки; ребята от нечего делать развлекались по-своему, причем в Полдневской была устроена специальная квартира, которой заведовала Лапуха. Пестерь и Кайло сначала косились на такие порядки, но потом махнули рукой, потому что примиряющим элементом являлась водка. С другой стороны, эти блюстители патриархальных нравов жестоко поплатились за свою строгость: Окся навсегда сбежала не только из Полдневской, но и со Смородинки.

Однажды, когда пьяная компания только что вернулась со Смородинки, Шабалина лакей вызвал в переднюю. Там смиренно стоял Зотушка.

– А, святая душа на костылях!.. – обрадовался Шабалин. – В самую линию попал... Иди в комнаты-то – чего тут торчишь? Я тебя такой наливкой угощу...

– Я не принимаю теперь этого составу, Вукол Логиныч... Мне бы братца, Гордея Евстратыча, повидать.

– Ну и пойди туда. Чего корячишься? – говорил Шабалин, подхватывая Зотушку под руку. – Вот я тебе покажу, как не принимаешь... Такой состав у меня есть, что рога в землю с двух рюмок.

– Ну уж ослобоните, Вукол Логиныч. Дельце есть до братца. Уж, пожалуйста, ослобоните.

– Ну черт с тобой!..

Когда Гордей Евстратыч, пошатываясь, вышел в переднюю, Зотушка смиренно поклонился братцу и дрогнувшим голосом проговорил:

– Вам, братец, Федосья Ниловна приказали долго жить...

– Что? Как? Умерла?

– Точно так... Они просили меня сказать вам, что заочно вас прощают и с вами, бра-

тец, тоже прощались.

ГордейЕвстратыч зашатался на месте, оглянулся крутом и, как был, без шапки, выбежал из шабалинского вертепа. Зотушка смиренно поплелся за ним, торопливо откладывая широкие кресты.

Смерть Фени произвела потрясающее впечатление на всех, потому что эта безвременно погибшая молодая жизнь точно являлась какой-то жертвой искупления за те недоразумения, какие были созданы брагинской жилкой. Все на мгновение позабыли о своих личных счетах около гроба мертвой красавицы, за которым шел обезумевший от горя старик-отец. На похоронах Фени встретились все враждебные партии, то есть Савины, Колобовы, Пазухины и Брагины. Гордей Евстратыч плакал вместе с женщинами и не стыдился своих слез. Зотушке пришлось даже утешать братца, а также и плакавшего о. Крискента. Только двое в этой толпе оставались безучастными и неподвижными, точно они застыли на какой-то одной мысли, – это были Нил Поликарпыч и Татьяна Власьевна. Нил

Поликарпыч не мог плакать, потому что горе было слишком велико; а Татьяна Власьевна думала о том, что эта смерть – наказание за ее страшный грех. На свежей могиле о. Крискент сказал прочувствованное слово, пользуясь случаем, чтобы напомнить своей пастве о ничтожности и тленности всего земного, о нашей неправде и особенно о тлетворном значении разделительной силы. Добрый старик хотел на могиле Фени примирить враждовавших овец. Овцы слушали его, в душе во всем соглашались, многие даже плакали, и все разошлись по своим домам, чтобы с новыми силами продолжать старые счеты и действовать в духе крайнего разделения.

– Это Брагины убили Феню, – говорили у Савиных и Колобовых. – Уж эта Татьяна Власьевна!.. Да и Гордей-то Евстратыч тоже хорош! Правду говорят: седина в бороду, а бес в ребро.

Последними остались на Фениной могилке Нил Поликарпыч, бабушка Татьяна и Зотушка. Они долго молились и точно боялись уйти с кладбища, оставив здесь Феню одну.

– Нил Поликарпыч, пойдемте домой… – го-

ворил Зотушка, осторожно стараясь оттащить старика от могилы. – Еще простудитесь...

– Ах, я дурак... дурак!.. – дико вскричал Нил Поликарпыч, ударив себя по лбу кулаком. – Ведь нужно было только напоить Феню дорогою травой, жива бы осталась...

Этой мыслью разрешились наконец благодатные слезы! Старик заплакал в первый раз после смерти своей дочери, опустившись на снег коленями. Он был без шапки, и остатки мягких волос развевались на его голове от резкого зимнего ветра; но он не слыхал и не чувствовал ничего. Побелевшие губы шептали какую-то бессвязную чепуху о дорогой траве и других не менее верных средствах. Каждый из троих думал, что ему следовало умереть, а не Фене. Но смерть имеет свою логику и скашивает самые цветущие колосья на человеческой ниве, оставляя для чего-то массу нетронутого человеческого сора.

– Куда теперь? – спрашивал Нил Поликарпыч, дико озираясь по сторонам. – Домой... зачем?

Девушка перед смертью взяла слово с Зо-

тушки, что он не оставит отца и заменит ему хоть отчасти ее; Зотушка поклялся и теперь окончательно переселился в пятовский дом, чтобы ухаживать за Нил Поликарпычем, который иногда крепко начинал задумываться и даже совсем заговаривался, как сумасшедший.

XVIII

Весной работы на Смородинке оживились с новой силой: ставили вторую паровую машину. Били две новых шахты, потому что в старой золото уже «пообилось» и только шло богатыми гнездами там, где отдельные жилы золотоносного кварца выклинивались, то есть сходились в одну. Зимний заработок был меньше прошлогоднего, потому что работы вообще велись через пень-колоду, благо самому хозяину было не до жилки. Но и весной, хотя Гордей Евстратыч часто бывал на Смородинке, можно было уже заметить, что у него точно не лежало сердце к прииску и его постоянно тянуло в Белоглинский завод. Он часто жаловался, что совсем уронил батюшкину торговлю панских товаров, и предполагал

поднять ее на широких основаниях, для чего думал поставить две больших каменных лавки на городской манер. Эта затея была продолжением непременного желания построить себе дом вроде шабалинского. Дело пока стояло за местом. Гордей Евстратыч все еще не решался переселиться окончательно с насиженного пепелища на православную сторону, где было подсмотрено самое подходящее местечко.

– Мы, мамынька, наладим лавки-то под домом, как в городу, – часто повторял Гордей Евстратыч.

– Нет, милушка, это не годится: с рынку уйдешь и покупателей растеряешь... Батюшка-то не глупее был нас с тобой, а сидел да сидел себе на рынке.

Последний аргумент имел неотразимую силу, и Гордей Евстратыч утешался пока тем, что хоть дом поставит по своему вкусу. Он привозил из города двух архитекторов, которые меряли несколько раз место и за рюмкой водки составляли проекты и сметы будущей постройки.

– За деньгами не постоим, а чтобы, глав-

ное, все было форменно, на господскую руку, – упрашивал Гордей Евстратыч.

– Будет форменно, – уверяли архитекторы и, забрав задатки, укатили в город.

По последнему зимнему пути Брагин начал производить заготовку материалов: лесу, бутового камня, железа, глины, кирпичу и т. д. В версте от Белоглинского завода Брагиным строился кирпичный завод, так как готового кирпича в большом количестве в Белоглинском заводе достать было негде; подряжены были две плотничных артели, артель вятских каменщиков, пильщики, столяры и кровельщики. Гордей Евстратыч хотел поднять дом непременно в одно лето, чтобы на другое лето приступить к его внутренней отделке, то есть выштукатурить, настлать полы, выкрасить, вообще привести в форменный вид. Как тронется снег, решено было приступить к подготовительным работам: рыть канавы под фундамент, обжигать кирпич, пилить лес. Эти хлопоты отнимали все свободное время Гордея Евстратыча, и за ними он забывал о своем недавнем горе, которое миновало, как тяжелый сон. Только ино-

гда ему становилось очень жутко, точно камнем придавит: в эти минуты Брагин или уезжал в город, или попадал в шабалинский дом, что было равносильно, потому что там и здесь Гордей Евстратыч разрешал на водку и кутил без просыпу несколько дней подряд. Вообще, он за последний год порядком пристрастился к веселому житью и «принимал водку» в большом количестве, извиняя себя компанией. Только в церкви Гордей Евстратыч был исправен по-прежнему и вел церковные дела так, что комар носу не подточит.

Чтобы поднять запущенную батюшкину торговлю, Гордей Евстратыч сам «сгонял» в Ирбитскую ярмарку и поворотил там целую уйму панского товара, чтобы разом затмить всех остальных белоглинских торговцев. Он теперь часто бывал в лавке и собственноручно приводил все товары в порядок, при помощи невесток и Нюши; впрочем, последняя главным образом вела торговую книгу. Случалось как-то так, что Гордей Евстратыч приходил в лавку как раз тогда, когда там сидела Ариша. Сначала сноха побаивалась этих посещений, но Гордей Евстратыч совсем не обра-

щал на нее никакого внимания и даже покрикивал, когда находил в чем непорядки. Такое поведение успокоило молодую женщину, и она начала относиться к свекру с бóльшим доверием.

– Ну, ну, поворачивайся, сношенька, – покрикивал на нее Гордей Евстратыч, когда Ариша мешкала.

Раз Гордей Евстратыч заехал в лавку навеселе; он обедал у Шабалина. Дело было под вечер, и в лавке, кроме Ариши, ни души. Она опять почувствовала на себе ласковый взгляд старика и старалась держаться от него подальше. Но эта невинная хитрость только подлила масла в огонь. Когда Ариша нагнулась к выручке, чтобы достать портмоне с деньгами, Гордей Евстратыч крепко обнял ее за талию и долго не выпускал из рук, забавляясь, как она барахталась и выбивалась.

– Тятенька… пустите!.. Христос с вами!

– А… испугалась!.. Ну, ну, повернись еще… ишь, какая круглая стала!

– Я бабушке Татьяне скажу, тятенька!..

– Ну, ну, дура, я пошутил.

Ариша отошла в угол лавки и, поправляя

сбившееся платье и платок на голове, тихонько заплакала. Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом подошел к невестке и сильно толкнул ее локтем в бок.

– Чего ты ревешь, корова?.. – закричал он, схватывая Аришу за руку. – Ишь, распустила нюни-то... Ласки не понимаешь, так пойми, как с вашим братом по-настоящему обращаются.

Проспавшись, Гордей Евстратыч немного одумался и, чтобы загладить свой грех, потихоньку от других пообещал Арише, что привезет ей из города такого гостинца, какого она и во сне не видывала.

– Мне, тятенька, ничего от вас не нужно... – твердо объявила Ариша, собирая всю свою храбрость. – Я ничего больше не возьму от вас, хоть меня на части режьте.

– А... так ты вот какие разговоры с отцом заводишь? – зарычал Гордей Евстратыч. – Погоди, я тебя так проучу, что ты у меня узнаешь, как грубить...

– Я Михалке все скажу...

– Говори... Я вас и с Михалком-то обоих в один узел завяжу. Слышишь?

Под первым впечатлением Ариша хотела рассказать все мужу, но Михалко был на прииске; пожаловаться бабушке Татьяне Ариша боялась, потому что старуха в последнее время точно косилась на нее; пожалуй, ей же, Арише, и достанется за извет и клевету. Но как же опять не сказать? И стыдно ей было, да Ариша и сознавала, что такой оборот не принесет ей никакой пользы, а только лишние слезы отцу с матерью да домашние неприятности. Все равно Гордей Евстратыч не послушает никого, а только еще пуще озлобится на беззащитную сноху. В крайнем случае Ариша придумала два выхода: убежать со Степушкой к родным, а если ее оттуда добудут через полицию – повеситься или утопиться... Все это обдумывалось в бессонную ночь и было полито горькими слезами, которые Ариша должна была глотать про себя. Она припомнила к случаю разные истории, где свекры добывали невесток правдами и неправдами: в раскольничьих семьях таких снохачей было несколько, – все это знали, все об этом говорили, а дело оставалось шитым и крытым. Особенно врезалась ей в память ис-

тория купцов Кокиных, которую она слышала еще в детстве. Старик Кокин увязался за своей снохой и, не добившись от нее ничего, зверски убил ее ребенка, девочку лет четырех: старик завел маленькую жертву в подполье и там отрезывал ей один палец за другим, а мать в это время оставалась наверху и должна была слушать отчаянные вопли четвертуемой дочери. Страшное преступление потом раскрылось, и старик Кокин был наказан плетьми – это было еще при старых судах, – а сноха сошла с ума. Мысли, одна страшнее другой, одолевали бедную Аришу, и она то принималась безумно рыдать, уткнувшись головой в подушку, то начинала молиться, молиться не за себя, а за своего Степушку, который спал в ее каморке детски-беззаботным сном, не подозревая разыгрывавшейся около него драмы.

Успокоившись немного, Ариша решилась еще подождать, что и оказалось самым лучшим. Гордей Евстратыч оставил ее в покое, не приставал с своими ласками, но зато постоянно преследовал всевозможными придирками, ворчаньем и руганью. Ариша покорно сноси-

ла все эти невзгоды и была даже рада им: авось на них износится все горе, а Гордей Евстратыч одумается. На ее счастье, подвернулся такой случай, который перевернул в брагинском доме все вверх дном.

Городские архитекторы составили план брагинского дома и явились в Белоглинский завод, чтобы начать постройку. Материалы были все заготовлены и даже канавы под фундамент вырыты, оставалось приступить к самой закладке. Брагин пригласил о. Крискента помолебствовать, как это водится у добрых людей, чтобы все было честь честью; как раз случился Порфир Порфирыч в Белоглинском заводе; одним словом, закладка дома совершилась при самой торжественной обстановке, в присутствии Порфира Порфирыча, Шабалина, Плинтусова, Липачка и других. После молебствия все, конечно, были приглашены в старый брагинский дом откушать хлеба-соли и вспрыснуть новую постройку, чтоб она крепче стояла.

– Без вспрысков какой же дом? – говорил Шабалин. – Вон я строил свой, так, может, не одну бочку с своими благоприятелями

ро́спил. Зато крепко вышло.

– И мы от добрых-то людей не в угол рожей, Вукол Логиныч, – обижался Брагин. – Милости просим, господа... Только не обессудьте на нашей простоте: живем просто, можно сказать, без всякого понятия. Разве вот дом поставим, тогда уже другие-то порядки заведем... Порфир Порфирыч, пожалуйте!

В брагинском доме была приготовлена роскошная закуска, а потом настоящий богатый обед, «как у других». Татьяна Власьевна была великая мастерица по части таких торжественных «столов» и на этот раз особенно потщилась, чтобы не ударить лицом в грязь пред настоящей компанией. Правда, модных кушаний не было с французскими соусами и разными мудреными приправами, но зато были художественно состряпанные пироги, всевозможные разносолы, вареное и жареное. На закуску Гордей Евстратыч прихватил из городу салфеточной икры, омаров, страсбургских пирогов, астраханских балыков, провесной белорыбицы и всякой прочей снеди, которую ел у Шабалина и других золотопромышленников. В винах, конечно, тоже

недостатка не было, потому что народ, бывший в брагинском доме, любил «мочить губу», как говорил Зотушка. Обстановка в брагинском доме за последний год значительно изменилась, потому что из Нижнего и Ирбита Гордей Евстратыч навез домой всякой всячины: ковров, столового серебра, новой мебели, посуды и т. д. Конечно, все это в обыкновенное время было припрятано по сундукам и шкафам, а мебель стояла под чехлами; но теперь другое дело – для такого торжественного случая можно было и развернуться: чехлы с мебели были сняты, на окнах появились шелковые драпировки, по полу французские ковры, стол сервирован был гарднеровской посудой и новым столовым серебром. Камчатные дорогие скатерти и салфетки дополняли столовый убор. Вообще все было устроено форменно, дескать, и мы не левой ногой сморкаемся, хотя Гордей Евстратыч и прикидывался пред гостями Акимом-простотой, а Татьяна Власьевна с низкими поклонами приговаривала:

– Уж не обессудьте, дорогие гости, на нашем убожестве!

– А ты вот что, спасенная душенька, – говорил Шабалин своим обычным грубым тоном, – когда ко мне-то в гости соберешься?

– Собираюсь, давно собираюсь, Вукол Логиныч, да вот все как-то не могу собраться… Стара стала я, ведь на восьмой десяток. В чужой век зажилась…

– Ладно, ладно, бабушка, нас всех переживешь… А ты приходи все-таки, я тебе такую штучку покажу, не за хлебом-солью будь сказано.

– Ох, уж ты, Вукол Логиныч, всегда… разговор-то у тебя…

– Чего разговор? Разговор настоящий… хозяйственный. Век живи – век учись. Нарочно мастера себе из городу привозил, чтобы мне одну штуку наладил, понимаешь – теплую… Козет называется.

Этот «козет» особенно занимал Шабалина в последнее время, и он нарочно привозил гостей из других заводов, чтобы показать им немецкую выдумку.

– Отстань, греховодник… – отплевывалась Татьяна Власьевна, когда Шабалин подробно объяснил назначение немецкой выдумки.

– Сие действительно весьма предусмотрительно устроено, – вставил свое слово о. Крискент, большой любитель домашности.

– Вот с отцом Крискентом и приходи, бабушка, – говорил Шабалин. – Мы хоть и не одной веры, а не ссорились еще… Так, отец Крискент?

– Зачем ссориться, Вукол Логиныч?.. Бог один для всех, всех видит, и благодать Его преизбыточествует над нами, поелику ни един влас с главы нашей не спадет без Его воли. Да…

Около закуски гости очень скоро развеселились, так что до обеда время пробежало незаметно. Порфир Порфирыч успел нагрузиться и, как всегда, с блаженной улыбкой нес всевозможную чепуху; Шабалин пил со всеми и не пьянел; Липачек едва мигал слипавшимися глазами; а Плинтусов ходил по комнате, выпячивая грудь, как индейский петух. Архитекторы сначала стеснялись в незнакомой компании, но потом устроили разрешение вина и елея и быстро познакомились. Даже о. Крискент не избег общей участи и, пропустив рюмку какой-то заветной налив-

ки, лихорадочно расстегивал пуговицы своего подрясника.

Когда Татьяна Власьевна начала накрывать обеденный стол, Порфир Порфирыч наступил на нее.

– Бабушка… кто же с нами обедать будет? – спрашивал он, стараясь сохранить равновесие колебавшегося тела.

– Как кто? Все будут обедать, Порфир Порфирыч: отец Крискент, Вукол Логиныч, Гордей Евстратыч…

– Ах, не то, бабушка… Понимаешь? Господь, когда сотворил всякую тварь и Адама… и когда посмотрел на эту тварь и на Адама, прямо сказал: нехорошо жить человеку одному… сотворим ему жену… Так? Ну вот, я про это про самое и говорю…

– Что-то невдомек мне будет, Порфир Порфирыч… Стара я стала.

– Ну, ну… Экая ты, бабушка, упрямая! А я еще упрямее тебя… Отчего ты не покажешь нам невесток своих и внучку? Знаю, что красавицы… Вот мы с красавицами и будем обедать. Я толстеньких люблю, бабушка… А Дуня у вас как огурчик. Я с ней хороводы водил на

Святках… И Ариша ничего.

– Перестаньте грешить-то, Порфир Порфирыч… У нас молодым женщинам не пригоже в мужской компании одним сидеть. Ежели бы другие женщины были, тогда другое дело: вот вы бы с супругой приехали…

– Одолжила, нечего сказать: я с своей супругой… Ха-ха!.. Бабушка, да ты меня уморить хочешь. Слышишь, Вукол: мне приехать с супругой!.. Нет, бабушка, мы сегодня все-таки будем обедать с твоими красавицами… Нечего им взаперти сидеть. А что касается других дам, так вот отец Крискент у нас пойдет за даму, пожалуй, и Липачек.

Шабалин и другие гости присоединились к желанию Порфира Порфирыча и представили свои резоны.

– А ежели ты, спасенная душа, не покажешь нам своих невесток, – говорил Шабалин, – кончено – сейчас все по домам и обедать не станем.

– Так, так! – подхватили все.

– Да разве мы их съедим? – объяснил Плинтусов. – Ах, боже мой!.. За кого же вы в таком случае нас принимаете? Надеюсь, за

порядочных людей... Вот и отец Крискент только что сейчас говорил мне, что не любит обедать в одной холостой компании и что это даже грешно.

– Господа, да что мы тут разговариваем попусту в самом-то деле? – заговорил Порфир Порфирыч. – Прощай, бабушка... А мы обедать к Вуколу поедем.

Дело приняло такой оборот, что Татьяне Власьевне наконец пришлось согласиться на все, а то этот блажной Порфир Порфирыч и в самом деле уедет обедать к Вуколу и всю компанию за собой уведет. Скрепя сердце она велела невесткам одеваться в шелковые сарафаны и расшитые золотом кокошники, а Нюше достала из сундука свою девичью повязку, унизанную жемчугами и самоцветным камнем. В этих старинных нарядах все три были красавицы на подбор, хотя Ариша сильно похудела за последние дни, что Татьяна Власьевна заметила только теперь. Нюша была вообще какая-то вялая и апатичная: после смерти Фени она окончательно изменилась, и о прежней стрекотунье Нюше, которая распевала по всему дому, и помину не было. Луч-

ше всех была Дуня в своем алом глазетовом сарафане и кисейной рубашке: высокая, полная, с румянцем во всю щеку и с ласково блестевшими глазами, она была настоящая русская красавица. Когда все трое вышли к столу, гости приняли их с самыми шумными проявлениями своего восторга.

– Ах ты, мой бутончик!.. пупочка... – говорил Порфир Порфирыч, целуя руки у Дуни. – Вот так красавица!.. Ну-ка, повернись-ка маленько... Ну!.. Пышная бабенка, черт возьми! Аришенька, матушка, здравствуй!.. Что это ты нахохлилась, как курица перед ненастьем?

Порфир Порфирыч поместился за обеденным столом между Дуней и Аришей, а напротив себя усадил Нюшу и был, кажется, на седьмом небе.

– Вот теперь отлично... – говорил Порфир Порфирыч, стараясь обнять разом обеих дам.

– Не балуй, Порфир Порфирыч!.. – строго заметила Татьяна Власьевна. – А то я всех уведу.

– Не буду, не буду!

Обед начался самым веселым образом, хо-

тя дамы немножко и конфузились с непривычки к компании. Сама Татьяна Власьевна не садилась за стол, наблюдая за порядком и за подававшей кушанья кривой Маланьей. Гости ели и хвалили хозяйку, Гордей Евстратыч хлопотал насчет вин. Говорили о новом доме и его отделке; высчитывали его стоимость, кричали, спорили, – одним словом, обед вышел как все парадные обеды: все было форменно. Отец Крискент, разрезывая на своей тарелке кусок пирога с осетриной, благочестиво говорил о домостроительстве вообще и даже привел в пример Соломона, тонко сплетая льстивые слова тароватому хозяину. Липачек провозгласил тост за здоровье хозяйки, и, когда все поднялись с полными бокалами, чтобы чокнуться с ним, Гордей Евстратыч вдруг побледнел и уронил свой бокал: он своими глазами видел, как Порфир Порфирыч, поднимаясь со стула с бокалом в одной руке, другою обнял Аришу.

– Порфир Порфирыч... ты это как же?.. – глухо спросил Гордей Евстратыч. Он был бледен как полотно, а губы у него тряслись от внутреннего бешенства, которое он напрасно

старался сдержать.

– Я?.. Я – ничего… – как ни в чем не бывало ответил Порфир Порфирыч, с изумлением оглядываясь кругом.

– Ариша, ступай к себе… – приказал Гордей Евстратыч дрожавшим от бешенства голосом.

– Вот тебе и клюква! – засмеялся Порфир Порфирыч. – Как же это так, Гордей Евстратыч?.. Я, пожалуй, на один бок наелся…

Эта маленькая сцена на мгновение остановила общее веселье: гости переглядывались, о. Крискент попробовал было вступиться, но его никто не слушал.

– Да ты никак осердился на меня? – спрашивал Порфир Порфирыч хозяина. – Я, кажется, ничего не сделал…

– Ну, мне на свои-то глаза свидетелей не надо, – отрезал Гордей Евстратыч и прибавил: – Все люди как люди, Порфир Порфирыч, только тебя, как кривое полено, в поленницу никак не укладешь…

Порфир Порфирыч ничего не ответил на это, а только повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. Татьяна Власьевна бросилась за ним и старалась удержать за фалды сюртука,

о. Крискент загородил было двери, но был безмолвно устранен. Гордей Евстратыч догнал обиженного гостя уже на дворе; он шел без шапки и верхнего пальто, как сидел за столом, и никому не отвечал ни слова.

– Голубчик, Порфир Порфирыч... прости, ради Христа, на нашем глупом слове! – умолял Брагин, хватая гостя за руки. – Хочешь, при всех на коленках стану у тебя прощенья просить!.. Порфир Порфирыч!..

Порфир Порфирыч вырвал свою руку, без шапки выбежал за ворота и нетвердой походкой пошел вдоль Старо-Кедровской улицы; за ним без шапки бежал Шабалин, стараясь догнать. Брагин постоял-постоял за воротами, посмотрел, куда пошли его гости, а потом, махнув рукой, побрел назад.

– А ведь дело-то, пожалуй, выйдет табак... – заметил Плинтусов, когда Брагин вернулся к гостям.

ГордейЕвстратыч сам видел, что все дело испортил своей нетерпеливой выходкой, но теперь его трудно было поправлять. Торжество закончилось неожиданной бедой, и конец обеда прошел самым натянутым образом,

как поминки, несмотря на все усилия о. Крискента и Плинтусова оживить его. Сейчас после обеда Гордей Евстратыч бросился к Шабалину в дом, но Порфира Порфирыча и след простыл: он укатил неизвестно куда.

– Что же теперь делать? – спрашивал Гордей Евстратыч своего благоприятеля Шабалина.

– А уж и не знаю, Гордей Евстратыч, – уклончиво ответил тот. – С Порфиром Порфирычем шутки плохие, пожалуй, еще и жилку отберет...

Оно так и вышло.

Через неделю на Смородинку приехал горный чиновник, осмотрел работы и составил протокол, что разработка золота производилась неправильная: частные лица могут промывать только россыпное золото, а не жильное, которое добывается казенным иждивением. Смородинка в качестве коренного месторождения должна была поступить в казенное ведомство, а Гордей Брагин подвергался надлежащей ответственности за неправильное объявление прииска.

Работы были прекращены, контора опеча-

тана, рабочие и служащие распущены по домам, и это как раз в самый развал летней работы, в первых числах мая. Удар был страшный, и, конечно, он был нанесен опытной рукой Порфира Порфирыча.

– Вот тебе и кривое полено… Ха-ха!.. – заливался Шабалин, когда услышал о закрытой Смородинке. – Прощайся, Гордей Евстратыч, с своей жилкой, коли не умел ей владать…

XIX

Брагин полетел хлопотать в Екатеринбург в надежде уладить дело помимо Порфира Порфирыча. Посоветовался кое с кем из знакомых золотопромышленников, с двумя адвокатами, с горными чиновниками – все качали только головами и советовали обратиться к главному ревизору, который как раз случился в городе.

ГордейЕвстратыч отыскал квартиру главного ревизора и со страхом позвонил у подъезда маленького каменного домика в пять окон. На дверях блестела медная дощечка – «Ардалион Ефремыч Завиваев».

– Барин дома? – спрашивал Брагин выско-

чившую на звонок горничную.

– Дома-с.

Через минуту Гордей Евстратыч осторожно вошел в кабинет, где его встретил сам хозяин – вылитый двойник Порфира Порфирыча, так что в первую минуту Брагин даже попятился со страху.

– Что прикажете, как вас звать?

– Да вот дельце, Ардалион Ефремыч, вышло...

– Это насчет Смородинки?.. Не могу, не могу, не могу!.. – закричал Завиваев, отмахиваясь обеими руками. – Я семнадцать лет служу на Урале главным ревизором... Да!.. Это беззаконие... Я и Порфира Порфирыча отдам под суд вместе с тобой!

Хотя Завиваев и кричал на Брагина, но это был не злой человек. Он даже пошутил над умолявшим его Гордеем Евстратычем и, ласково потрепав по плечу, проговорил:

– У меня под надзором девятьсот приисков, милочка, и ежели я буду всякому золотопромышленнику уступать, так меня Бог камнем убьет, да!.. Дело твое я знаю досконально и могу сказать только то, что не хлопочи пона-

прасну. Вот и все!.. Взяток никому не давай – даром последние деньги издержишь, потому что пролитого не воротишь.

– Ардалион Ефремыч, спасите... не погубите!

Брагин ушел от Завиваева ни с чем, проклиная на свете все и всех. Дело было дрянь, как его ни поверни. Не доверяя совету Завиваева, Гордей Евстратыч принялся усиленно хлопотать и лез в каждую щель, чтобы только воротить Смородинку. Эти хлопоты стоили ему больших денег и ровно ни к чему не привели: жилка пропала навсегда!.. Вернуться домой с пустыми руками Гордею Евстратычу было тошнехонько, и он проживался в городе целый месяц. У него все-таки был в руках кругленький капитальчик тысяч в сто, и друзья-приятели утешали его, что горевать еще не о чем, когда такой капитал шевелится в кармане. Его познакомили с такими дельцами, которые сулили золотые горы – только стоило пустить капитал в оборот. С горя Брагин закутил в хорошей компании, которая утешала его на все руки. Однажды он сидел в гостях у знакомого золотопромышленника,

где набралось всякого народа; тут же сидел какой-то господин в золотых очках и с толстой золотой цепочкой у часов. Он все время точно присматривался к Гордею Евстратычу, а потом отвел его в сторону и таинственно проговорил:

– Эх вы, Гордей Евстратыч... Нашли о чем горевать!.. Я вам скажу, что мы еще не такое золото отыщем. Приезжайте ко мне потолковать, а вот вам моя карточка.

На карточке неизвестного Гордей Евстратыч прочитал: «Владимир Петрович Головинский, техника».

«Черт его знает, может быть, какой-нибудь жулябия... – подумал Брагин, перевертывая в руках атласную карточку. – Наслышался, что у Брагина деньги еще остались в кармане, – вот и подсыпается мелким бесом».

Прежде чем отправиться к Головинскому, Гордей Евстратыч навел о нем кое-какие справки через общих знакомых, из которых оказалось, что Головинский вообще человек хороший, хотя определенных занятий не имеет. Его видали в клубе, в театре, в концертах – вообще везде, где собиралась хорошая публи-

ка; он был знаком со всем городом и всех знал, имел пару отличных вяток, барскую квартиру и жил на холостую ногу. Самая наружность Головинского имела в себе много подкупающего: высокий, средних лет, с окладистой бородкой и выхоленным дворянским лицом, с приличными манерами, всегда безукоризненно одетый, он везде являлся заметным человеком. Особенно дамы были от него в восхищении.

– Ну что же, не съест он меня, прах его побери... – решил Брагин, отправляясь отыскивать квартиру Головинского, который жил на главной улице.

Кабинет в квартире Головинского был устроен на деловую ногу с той специальной роскошью, какую устраивают себе люди, умеющие быть богатыми. Гордей Евстратыч не ожидал ничего подобного: в самом воздухе точно пахло тысячами, не теми шальными мужицкими тысячами, как у Шабалина например, а настоящими, господскими тысячами. И сам Головинский совсем не походил на жулябию, а держался с большим гонором. Уж совсем не походил на этих горных чинушек

вроде Порфира Порфирыча или Завиваева. Принял он Брагина очень любезно, но с весом. Усадив гостя в кресло, Головинский несколько раз прошелся по комнате, поправив редевшие на голове волосы, и мягким голосом заговорил:

– Вас, уважаемый Гордей Евстратыч, вероятно, удивило мое приглашение… Да?.. Очень понятно. Конечно, вы под рукой собрали кое-какие справки обо мне… Опять-таки понятно, потому что идти толковать о деле к совершенно незнакомому человеку очень сомнительно, хоть до кого доведись. Я вам скажу, что вам другие сказали обо мне… Но это все равно: я хотя и везде здесь бываю, но меня никто не знает. Хорошо.

Головинский мягко потер свои выхоленные белые руки, подыскивая слова и мельком взглядывая на сидевшего в кресле Брагина.

– Сначала я вам скажу о себе, Гордей Евстратыч, – продолжал Головинский после короткой паузы. – Родился и вырос я в Москве, служил несколько лет на частной службе, сколотил небольшой капитальчик, а потом получил наследство после дяди… Сначала ду-

мал завести какое-нибудь дело в Москве, но с моими средствами так трудно пробить дорогу: там миллионные дела обделываются, как здесь пироги бабы стряпают, а у меня несколько тысяч. Вот я и задумал попытать счастья в провинции и приехал на Урал, года два-три назад. Место действительно богатое, и дело можно себе подыскать, да только, не спросясь броду, я не люблю соваться в воду. Жил, присматривался к людям... и подыскал одно дельце. Только нужно вам сознаться – уж извините меня за откровенность, Гордей Евстратыч! – народ здесь – не клади пальца в рот.

– Уж что говорить, самые первостатейные плуты живут... Это верно, Владимир Петрович!

– Да, на Урале люди вообще немного странные, – мягко поправил Головинский своего собеседника. – Взять хоть вот случай с вами, как у вас отняли прииск...

– Ох, верно, верно... зарезали без ножа!

– Я слышал всю эту историю и от души вас пожалел... Вижу, человек вы скромный, боитесь всякого начальства, вот они вас и крутят

в бараний рог. Теперь вы остались без всякого дела, деньги у вас кое-какие еще есть; ну, долго ли попасть на какого-нибудь прощелыгу, который оберет у вас последние крохи. Ведь вам делали всевозможные предложения? Да, я слышал... Вот я и хотел, с одной стороны, предохранить вас от разных плутов, а потом предложить вам одно дельце. Вообще, кажется, мы сойдемся, по крайней мере я полюбил вас с первого раза. Я человек прямой и говорю откровенно.

– Какое же дельце-то, Владимир Петрович? Оно, конечно, мы люди простые, а тоже можем чувствовать... Взять хоть того же Порфира Порфирыча – обидел он меня, вот как обидел!..

– И главное, Шабалин работает на такой же жилке, как и ваша.

– Верно, все верно... Погорячился я немного, а Шабалин, лукавый его задери, хоть верхом на нем катайся, даром что сам-то плут.

– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, что люди здесь все фальшивые, ни на кого положиться нельзя. А кстати, – прибавил Головинский, вынимая из кармана золотые часы, –

мы сейчас червячка заморим. Пойдемте в столовую.

Комнаты в квартире Головинского были убраны на барскую ногу, особенно столовая, где стоял резной буфет отличной работы. На накрытом столе какой-то невидимой рукой был приготовлен завтрак и кипел серебряный кофейник на спиртовой лампочке. «Не так, как у нас: как есть, так и столарню целую подымут», – думал Брагин, усаживаясь за стол. Головинский сам налил два стакана кофе и пригласил подкрепиться рюмочкой водки. Гордей Евстратыч выпил и невольно удивился: такой водки он никогда не пивал. Вытерев салфеткой губы, Брагин заговорил:

– А уж вы извините нас, Владимир Петрович, на нашей простоте… Гляжу я на вас, все у вас по форме, а одного как будто не прихватывает…

– Именно?

– Хозяйки в дому нет… Так-с?

– Вы угадали, Гордей Евстратыч, сердцем угадали, потому что сердце у вас доброе… Да, хозяйки у меня нет.

– Отчего же не женитесь? За невестами у

нас, слава богу, дело не станет... Али, может, столичная на примете держится?

– Есть и такой грех, Гордей Евстратыч... Только за откровенность я вам заплачу откровенностью, именно объясню, почему я не женился до сих пор. Дело вот в чем: хочется мне сначала делишки свои привести в настоящий порядок, этак куш зашибить порядочный, а потом уж и жениться. По нынешним временам да не заработать деньгу – грешно от Бога будет, перед собственными детьми после совестно будет. Я так полагаю: уж если стоит жить, так жить по-настоящему, как добрые люди живут, и для этого сначала нужно потрудиться, поработать.

– И мы в своей темноте то же думаем, только вот деньги-то добывать плохо умеем... с понятием надо жить на свете, по всей форме. А как вы насчет дельца-то, Владимир Петрович?

– Сейчас, сейчас, Гордей Евстратыч. – Головинский не торопясь налил рюмку водки, поднес ее к свету и, причмокнув губами, проговорил: – Видите?

– Отличная водка...

– Да… А вот в этой самой водке богатство сидит, верное богатство, как дважды два четыре. Не чета вашему золоту… Вот и дельце, о котором я хотел с вами поговорить.

– Это, значит, водкой заняться?

– Именно… Самое верное дело, Гордей Евстратыч. Отчего раздуваются все эти наши здешние тузы?..

Головинский назвал несколько громких имен денежных тузов и в каких-нибудь полчаса объяснил все извороты, ходы и выходы специально винной торговли. Гордей Евстратыч слушал с разинутым ртом, заваленный красноречивыми цифрами.

– Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы триста процентов на капитал? И не ищите… Если взять золотопромышленность, наконец, так здесь все зависит от случая, от счастья, а на водке еще никто не прогорел.

– Это-то верно, только необычное оно дело, Владимир Петрович… Даже как будто маненько претит: нечистая денежка идет.

– Э, батенька, нашли что… А вы так рассудите: чем мы грешнее других? Дело самое за-

конное... Нажили капитал, тогда можно и водку побоку. А уж с настоящим-то капиталом можно руки расправить. Порфир Порфирыч теперь думает, что утопил вас, одним словом утопил, а тут выйдет наоборот: вы миллионером сделаетесь, а тогда... Да что тут говорить...

В течение двухчасовой беседы Головинский совсем заговорил Гордея Евстратыча и на прощание, крепко пожимая руку, прибавил:

– Об одном только попрошу вас, дорогой Гордей Евстратыч: согласитесь или не согласитесь – молчок... Ни единой душе, ни одно слово!.. Это дело наше и между нами останется... Я вас не неволю, а только предлагаю войти в компанию... Дело самое чистое, из копейки в копейку. Хотите – отлично, нет – ваше дело. У меня у одного не хватит силы на такое предприятие, и я во всяком случае не останусь без компаньона.

Брагин ушел от Головинского точно в тумане: перед ним развертывались новые, широкие перспективы, а возможность насолить Порфиру Порфирычу кружила голову. Все те-

перь думают, что Гордей Евстратыч пропал со своею жилкой, а Гордей Брагин вдруг в миллионы залезет... Тогда и Порфиру Порфирычу, и Ардалиону Ефремычу, и Вуколу Логинычу – всем нос утрем... Всю дорогу из города Брагин раздумывал завязанную Головинским думушку и чем больше думал, тем сильнее убеждался в справедливости всего, что слышал от этого необыкновенного человека. И ведь как говорит, шельма этакая: как по писаному, так и режет... Ловкач, уж что и говорить. С понятием, форменный человек. Небось ему надо в миллион вогнать, а не то чтобы валандаться на тысчонках, как другие прочие. Брагин с сожалением думал о своей торговле панскими товарами: уж именно темнота, темнота она и останется. И понятия настоящего в этой торговле нет: ублажай полдневских бабенок, раздавай в долг, гонись за модным товаром, всякому угоди... Сколько одного греха на душу наберешься!..

Домой Гордей Евстратыч вернулся в самом веселом настроении, чем удивил всех, а Татьяна Власьевна даже обиделась и сердито проговорила:

– Нашел чему радоваться, нечего сказать... Ведь прииск-то все-таки отобрали?

– Ну отобрали, так что же?.. Пусть их, мамынька... Порфир-то Порфирыч с Шабалиным теперь думают, что по миру нас пустили... Ха-ха!..

– Милушка, над чем ты хохочешь-то?..

– Да над ними, мамынька, над Порфиром Порфирычем... Вот ужо, погоди, мы им так утрем нос, что чертям покажется тошно.

– Значит, Смородинка-то опять к тебе отойдет? – обрадовалась Татьяна Власьевна.

– Ах, мамынька, совсем не то... Скажу тебе только одно: приедет к нам один человек, тогда сама все увидишь... Уж такой человек, такой человек...

– Может, опять какой-нибудь пьяница... Все эти городские на одну колодку!..

ГордейЕвстратыч не стал спорить, а только махнул рукой: дескать, погоди, мамынька, вот сама увидишь. Теперь у Гордея Евстратыча было много хлопот с постройкой дома, которая позамялась с этой передрягой; пока он хлопотал в городе, едва успели сложить фундамент, хотя и было кому смотреть за рабочи-

ми. Михалко и Архип теперь болтались дома без всякого дела. Успокоившись после своих неудачных хлопот, Брагин с особенным старанием занялся домом: ездил на кирпичный завод, наблюдал за всеми работами и живмя жил на постройке, точно хотел всем показать, что ему все нипочем, как с гуся вода. Пусть посмотрят и Савины, и Колобовы, как он испугался Порфира Порфирыча да с горя начал дом строить. В лавку Брагин заглядывал совсем редко, потому что там сидел Михалко, надежный человек, не то что снохи. Пожалуй, Брагин прикрыл бы свою панскую торговлю, если бы не была она поставлена батюшкой, ну да и ребятам все-таки заделье какое ни на есть, чтобы задарма на печке не сидели.

Недели через две, как был уговор, приехал и Головинский. Он остановился у Брагиных, заняв тот флигелек, где раньше жил Зотушка со старухами. Татьяна Власьевна встретила нового гостя сухо и подозрительно: дескать, вот еще Мед-Сахарыч выискался... Притом ее немало смущало то обстоятельство, что Головинский поселился у них во флигеле; человек еще не старый, а в дому целых три женщины

молодых, всего наговорят. Взять хоть ту же Марфу Петровну: та-ра-ра, ты-ры-ры…

– Куда же Владимиру Петровичу деваться, ежели он ко мне по делу приехал? – успокаивал Гордей Евстратыч. – Кабы у нас в Белоглинском заводе гостиницы для приезжающих были налажены, так еще десятое дело, а то не на постоялом же дворе ему останавливаться, этакому-то человеку.

– Оно, конечно, так, милушка, да все-таки… Что уж больно его захваливаешь? Кругом, видно, обошел тебя… настоящая приворотная гривенка этот твой Владимир Петрович, так Медом-Сахарычем и рассыпается.

– Обнаковенно, мамынька, ежели человек с настоящим понятием, так он никогда не будет кочевряжиться, как Порфир Порфирыч… А обходить меня тоже нечего: дело чистое – как на ладонке.

– Ой, смотри, милушка, чтобы не обошел хваленый-то!..

Татьяна Власьевна крепко не доверяла гостю, потому что уж очень милушка-то на него обнадежился: неладно что-то, скоро больно…

Первым делом Головинский устроил свой

флигелек, хотя приехал на несколько дней. Пол и стены были устланы коврами, окна завешены драпировками, на столе, за которым работал Головинский, появились дорогие безделушки, он даже не забыл захватить с собой складной железной кровати и дорожного погребца с серебряным самоваром. С ним приехал его камердинер, седой, благообразный старик Егор; это был слуга высшей школы – молчаливый, степенный, сосредоточенный. Насколько барин был ласков и обходителен, настолько великолепный Егор был сух и важен, точно он был заморожен. Кривая сердитая Маланья крепко невзлюбила его и называла темной копейкой, хотя и не могла не удивляться умению Егора устроить барина по-своему.

– Уж так у них устроено, так устроено... – докладывала Маланья подозрительно слушавшей ее речи Татьяне Власьевне. – И сказать вам не умею как!.. Вроде как в церкви... Ей-богу! И дух у них с собой привезен. Своим глазом видела: каждое утро темная-то копейка возьмет какую-то штуку, надо полагать из золота, положит в нее угольков, а потом и по-

ливает какою-то мазью. А от мази такой дух идет, точно от росного ладана. И все-то у них есть, и все дорогое... Ровно и флигелек-то не наш!..

Эти рассказы настолько возбудили любопытство Татьяны Власьевны, что она, улучив минуту, когда Головинский с Гордеем Евстратычем были на постройке, а Егор ушел на базар, нарочно сходила в флигелек и проверила восторги Маланьи. Действительность поразила старуху, особенно белье и платье гостя, разложенное и развешанное Егором в таком необыкновенном порядке, как коллекция какого-нибудь архинемецкого музея. Другим обстоятельством, сильно смутившим Татьяну Власьевну, было то, что Владимир Петрович был у них в доме всего один раз – повернулся с полчасика, поговорил, поблагодарил за все и ушел к себе. Такой обходительный человек, что старухе наконец сделалось совестно перед ним за свои подозрения.

– Хоть бы ты его обедать позвал... – вскользь заметила Татьяна Власьевна сыну. – Как-то неловко, все же человек живет в нашем доме, не объест нас...

– Ах, мамынька!.. Да разве это такой человек, что стал он тебе чужие обеды собирать... Это настоящий барин, с понятием, по всей форме. Не чета тем объедалам, которые раньше нас одолевали... Он вон и в постройке-то все знает, как начал все разбирать, как начал разбирать – архитектора-то совсем в угол загнал. А я разве ослеп, сам вижу, что Владимир Петрович настоящее дело говорит. И все он знает, мамынька, о чем ни спроси... Истинно сказать, что его послал нам сам Господь за нашу простоту!.. – Расхваливая гостя, Гордей Евстратыч, однако, не обмолвился ни одним словом, за каким делом этот гость приехал, и не любил, когда Татьяна Власьевна стороной заводила об этом речь.

Ближайшее знакомство с Головинским произошло как-то само собой, так что Татьяна Власьевна даже испугалась, когда гость сделался в доме совсем своим человеком, точно он век у них жил. Как это случилось – никто не мог сказать, а всякий только чувствовал, что именно Владимира Петровича и недоставало в доме; у всех точно отлегло на душе, когда Владимир Петрович появлялся в горнице.

А приходил он всегда кстати и уходил тоже, никому не мешал, никого не стеснял; даже невестки и Нюша как-то сразу привыкли к нему и совсем не дичились. Одним словом, свой человек – и конец всему делу! Торжеством поведения Владимира Петровича было его уменье есть и пить, чем любовался даже сам Гордей Евстратыч. В брагинском доме возобновились прежние трапезы и самые торжественные чаеванья. В стряпне Владимир Петрович знал такой толк, что даже поразил Маланью: он не пропускал без похвалы самомалейшего торжества кухонного искусства, что льстило Татьяне Власьевне, как опытной хозяйке. Он даже научил ее, как следует по-настоящему солить огурцы и готовить их впрок, именно: нужно заказать с Гордеем Евстратычем, когда он поедет в Нижний, привезти дубового листа, и огурцы будут целый год хрустеть на зубах, как свежепросольные.

– Давно я хочу, Владимир Петрович, спросить вас, да все как-то не смею... – нерешительно проговорила однажды Татьяна Власьевна. – Сдается мне, что как будто вы рань-

ше к старой вере были привержены... Ей-богу! Уж очень вы хозяйство всякое произошли... В Москве есть такие купцы на Рогожском!.. Извините уж на простом слове...

Оказалось, что хотя Владимир Петрович и не был привержен к старой вере, но выходило как-то так, что Татьяна Власьевна осталась при своей прежней догадке.

– Нет, ты, мамынька, заметь, как он за обедом сидит или чай пьет! – удивлялся, в свою очередь, Гордей Евстратыч. – Сразу видно человека... Небось не набросится, как те торопыги-мученики, вроде хоть Плинтусова взять!..

Собственно, настоящее дело, за которым приехал Головинский, было давно кончено, и теперь в Зотушкином флигельке шла разработка подробностей проектируемой винной торговли. У Владимира Петровича в голове были такие узоры нарисованы, что Гордей Евстратыч каждый раз уходил от него точно в чаду. Брагина поражало особенно то, что Владимир Петрович всякого человека насквозь видит, так-таки всех до единого. Только Гордей Евстратыч заикнется, а Владимир Петро-

вич и пошел писать, да ведь так все расскажет, что Гордей Евстратыч только глазами захлопает: у него в голове читает, как по книге, да еще прибавит от себя всегда такое, что Гордей Евстратыч диву только дается, как он сам-то раньше этого не догадался... А винную часть Владимир Петрович так произошел, что и говорить было нечего: все по копейке вперед рассчитал, на все своя смета, везде первым делом расчет, даже где и кому колеса подмазать и всякое прочее, не говоря уж о том, как приговоры от сельских обществ забрать и как с другими виноторговцами конкуренцию повести.

Головинский зорко присматривался к брагинской семье, особенно к Татьяне Власьевне, и, конечно, не мог не заметить того двоившегося впечатления, которое он производил на старуху: она хотела верить в него и не могла, а между тем она была необходима для выполнения великих планов Владимира Петровича. После долгого раздумья и самого тщательного исследования вопроса со всех его сторон и со всех точек зрения Головинский пришел к тому заключению, что теперь можно нанести

последний решительный удар, чтобы «добыть старуху», как выражался про себя делец. Однажды, когда Владимир Петрович остался с глазу на глаз с Татьяной Власьевной, они разговорились.

– Давно я хочу вам сказать одну вещь, бабушка... Можно мне так называть вас, Татьяна Власьевна?

– Зови, коли глянется...

– Я простой человек, бабушка Татьяна, и люблю других простых людей. Так вот я смотрю на вас и часто думаю, что у вас чего-то недостает в доме... Так? Не денег, не вещей, а так... поважнее этого.

– Да чего же еще-то, милушка?.. Слава Христу, не можем, кажется, пожаловаться...

– Нет, не то... Постороннему человеку, бабушка Татьяна, это виднее. Я часто думаю об этом и решился высказать вам все откровенно. Вы не обидитесь на меня? Я в этом был уверен... Видите ли, какая вещь... Гм... Одним словом, я думаю о вас, бабушка Татьяна. Ведь вам подчас очень невесело приходится, и я знаю отчего. Виноват... Сначала я скажу вам, как вы ко мне лично относитесь и что думае-

те теперь. Вы мне не совсем доверяете... Да? Дескать, черт его знает, что у него на уме, у этого стрекулиста, приехал из городу, поселился и хочет подмазаться к нашим денежкам...

– Что вы, Владимир Петрович, Христос с вами?!. Да я, милушка... Ах, какие вы слова выговариваете!

– Будемте начисто говорить, и я прямо вам скажу, что вижу все это, понимаю и не обижаюсь. Для вас я действительно посторонний человек, а чужая душа – потемки... Так? Да вы не стесняйтесь, бабушка Татьяна, дело житейское: я говорю только, что вы думаете. Ну, так и запишем... Вас особенно смущает то обстоятельство, что мы затеваем с Гордеем Евстратычем? Да? Он не говорит никому ничего потому, что дал мне честное слово не болтать. Вот и все... Я человек осторожный и не люблю бросать слов на ветер, а тем больше хлопотать напрасно. Гордея Евстратыча я знал в городе как хорошего человека, потому ему и доверился, а теперь вызнал вас, бабушка Татьяна, и, кажется, могу вам довериться вполне.

Головинский подробно рассказал свою встречу с Гордеем Евстратычем и свои намерения насчет винной части. Он ничего не скрыл, ничего не утаил и с свойственным ему великим тактом тонко расшевелил дремавшую в душе бабушки Татьяны корыстную жилку. Заманчивая картина, с одной стороны, а с другой – самые неопровержимые цифры сделали свое дело: бабушка Татьяна пошла на удочку и окончательно убедилась, что Владимир Петрович действительно хороший человек.

– Теперь возвратимся к тому, с чего начали, то есть что я хотел давно сказать, бабушка Татьяна, – продолжал Головинский, переводя дух. – Я с первого раза заметил, что у вас есть какое-то горе, а теперь знаю его и могу вам помочь, если вы хотите. Одним словом, вас мучат, бабушка Татьяна, ваши натянутые отношения к вашим родственникам, то есть к Савиным и к Колобовым. Вы считаете себя правыми, и они тоже; они мучатся от этого за своих дочерей, а вы вдвое, потому что эти дочери у вас постоянно перед глазами. И Гордей Евстратыч давно бы помирился с ними, да

только случая не выпадало. Собственно, и не ссорились, вероятно, а так, ваше золото всех смутило… Я был в этом уверен. Вот самим и не помириться никогда, а тут нужно постороннего человека, который на все взглянул бы здраво, без всякого предубеждения. Хотите, я все устрою? Помирю и вас, и Гордея Евстратыча со всей вашей родней?

– Владимир Петрович, милушка, да как это тебе на ум-то все это пришло… а?.. Ведь ты бы нас всех облагодетельствовал!..

– Мне просто жаль ваших невесток, жаль Гордея Евстратыча, а главным образом – жаль вас, бабушка Татьяна… Для вас специально все устрою!.. Нелегко это достанется, а устрою…

Старуха испытующе посмотрела на своего собеседника, покачала своей седой головой и решительно проговорила:

– Нет, милушка, ничего тебе не устроить…

– Да уж вы только мне позвольте, а там мое дело: моя голова в ответе…

– А как ты это устроишь?

– Опять мое дело…

Тронутая этим участием и прозорливо-

стью Владимира Петровича, бабушка Татьяна рассказала ему подробно о том, как она, вкупе с о. Крискентом, хотела устроить такое примирение, воспользовавшись «гласом девственницы», а вместо того только загубила Феню. При этом воспоминании Татьяна Власьевна, конечно, всплакнула и сквозь слезы, вытирая свои потухшие глаза кончиком передника, проговорила:

– Ты еще не знаешь Матрены-то Ильиншны, так и говоришь так, а попробуй-ка. И Агнея Герасимовна: она только на вид простой прикидывается. У нас тут есть одна старая девушка, Марфа Петровна, так она мне все рассказала, что говорят про нас у Колобовых-то да у Савиных.

– Ага... Так. А я вам скажу, что эта девушка Марфа Петровна, вероятно, страшная сплетница, она вас и рассорила окончательно: вам наговорит про Колобовых да про Савиных с три короба, а им про вас. Вот сыр-бор и загорелся. Да уж вы только позвольте мне...

После долгого колебания Татьяна Власьевна наконец изъявила свое согласие, чего Головинский только и добивался. Он на той же

ноге отправился к Колобовым и Савиным, а вечером пришел к бабушке Татьяне и немного усталым голосом проговорил:

– Ну, бабушка Татьяна, говорите: слава Богу! Все устроил… Завтра с Гордеем Евстратычем вместе поедем сначала к Колобовым, а потом к Савиным. Матрена Ильинишна кланяется вам и Агнея Герасимовна тоже… Старушки чуть меня не расцеловали и сейчас же к вам приедут, как мы съездим к ним с визитом.

Это известие так поразило Татьяну Власьевну, что она в немом изумлении минут пять смотрела на улыбавшегося Владимира Петровича, точно на нее нашел столбняк. Даже было мгновение, что старушка усомнилась, уж не оборотень ли пред ней… И так просто: съездил, поговорил – и все как по маслу.

– Только для вас, бабушка Татьяна! – повторял Головинский, потирая руки.

XX

Итак, двухлетнее «разделение» Брагиных с родней благодаря ловкому вмешательству Головинского закончилось миром. Старикам надоело «подсиживать» друг друга, и они с радостью схватились за протянутую руку.

– Да что он вам говорил-то, Матрена Ильинишна? – спрашивала Татьяна Власьевна, угощая в своем доме сватью Колобову и сватью Савину.

– Да, почесть, и разговору особенного не было, Татьяна Власьевна, – объяснили старухи, – а приехал да и обсказал все дело – только и всего. «Чего, – говорит, – вы ссоритесь?» И пошел и пошел: и невесток приплел, и золото, и Марфу Петровну... Ну, обнаковенно всех на свежую воду и вывел, даже совестно нам стало. И чего это мы только делили, Татьяна Власьевна? Легкое место сказать: два года... а?.. Диви бы хоть ссорились, а то только и всего было, что Марфа Петровна переплескивала из дома в дом.

– Вот, вот, это самое и есть... Марфа-то Петровна и была заводчицей всему делу!

Помирившиеся старушки были рады свалить вину на Марфу Петровну; Головинский предвидел такой оборот дела и с особенной тщательностью обработал именно этот пункт. Теперь оставалось только помириться с Пазухиными и с Зотушкой; но Зотушка явно избегал возможности сближения, а мириться с Пазухиными после проделок Марфы Петровны, в которых, несомненно, должна была принимать участие и Пелагея Миневна, нечего было и думать. Раньше бабушка Татьяна не теряла надежды уладить как-нибудь дело Нюши и Алешки Пазухина, а теперь она сама была против этого брака, благо и девка стала забывать понемногу: девичье горе да девичьи слезы, как вешний дождь, – высохнут. Разговорам старушек не было конца. Когда исчерпаны были все подробности и отдельные эпизоды недавнего разделения, они принялись рассматривать те обновы, какие завелись в брагинском доме. Татьяна Власьевна вытащила все, что милушка успел накупить в последнее время на ярмарках в городе. Сватьи рассматривали, ценили и ахали от изумления, потому что все было такое дорогое, на бар-

скую ногу: столовое и чайное серебро, мебель, ковры и т. д. Особенно восторг старушек возбудил отдел белья и платья, потом дорогие подарки Гордея Евстратыча снохам, Нюше и самой Татьяне. Соболья шубка Нюши, золотой «прибор» Ариши, парчовый сарафан бабушки, брильянтовые серьги, которые подарил Гордей Евстратыч Дуне за маленькую Таню, – все было осмотрено и облюбовано с приемами записных знатоков своего дела. Старушки с наслаждением ощупывали руками дорогие материи и не могли оторвать глаз от золота, заставлявшего их завистливо вздыхать.

– Чего говорить, богатые вы нынче стали, Татьяна Власьевна, – говорила Матрена Ильинична, испытывавшая особенное волнение. – Рукой скоро не достать... Дом вон какой начали подымать, пожалуй, еще почище шабалинского выйдет.

О всем было переговорено, все было перемыто до последней косточки, и только никто ни единым словом не обмолвился о Фене Пятовой, точно она никогда не существовала... Этого черного пятна не мог смыть с брагин-

ского золота даже сам Владимир Петрович. В первое за состоявшимся примирением воскресенье собрались в церкви и Брагины, и Савины, и Колобовы, так что эта картина мира окончательно умилила о. Крискента и он попробовал сказать слово на текст: «Что добро или красно, еже жити, братие, вкупе», но не мог его докончить – слезы радости душили его, и старик, махнув рукой, удалился в алтарь. А виновник этого общего торжества, то есть Владимир Петрович, стоял тут же в церкви в великолепном пальто и небрежно крестил его лацканы своими торопливыми барскими крестиками.

– Ну, всем ты взял, Владимир Петрович, а молиться не умеешь, – началила Головинского после обедни бабушка Татьяна, – точно в балалайку играешь... А я еще думала, что ты к старой вере был привержен!..

Головинский порядочно зажился в Белоглинском заводе, подготовляя дело. Между прочим, он успел побывать и у Шабалина, и у Пятова, а зачем туда ездил – бог его знает. «Уж такой, видно, у него характер, – решила про себя Татьяна Власьевна, – пошел бы да по-

ехал...» Старуха и не подозревала, что примирением с Колобовыми и Савиными Головинский сразу убил двух зайцев: во-первых, повернул на свою сторону самое Татьяну Власьевну, а во-вторых, расчистил дорогу Гордею Евстратычу, когда придется хлопотать по винному делу и брать приговоры от волостных обществ. Савины и Колобовы были люди влиятельные и много могли помочь успеху дела.

– Мы с двух сторон возьмем, – объяснил Головинский начинавшему сомневаться Гордею Евстратычу, – вы будете здесь орудовать, а я в городе. Оно, как по маслу, все и сойдет...

Нужно сказать, что...ская губерния была по части винной забрана в сильные руки одной могучей кучки виннозаводчиков, которые вершили все дела по-своему. Пробиться в этот заколдованный круг представляло непреодолимые трудности, и целый ряд неудачных попыток в этом направлении мог бы охладить всякого, но только не Владимира Петровича. Во главе винных тузов стояла одна персона из херсонских греков, некто Жареный, который спаивал всю...скую губернию и

выплачивал казне одного акцизу несколько миллионов. Владычество его являлось государством в государстве; он был всесилен в качестве кабацкого патриарха и не допускал никого к своему золотому руну. В его руках были сосредоточены тысячи невидимых нитей, которыми было опутано все кругом, а он сидел в своей паутине и блаженствовал, как присосавшаяся пиявка. Гордей Евстратыч стороной слыхал о великой силе Жареного и впадал в невольное уныние, когда припоминал свои жалкие сто тысяч, которые он выдвигал против всесильного водочного короля, окруженного вдобавок целой голодной стаей своих компатриотов, которым он позволял пососать в свою долю.

– Сумлеваюсь я насчет этого Жареного, – не раз говорил Брагин Владимиру Петровичу. – Пожалуй, не угоняться за ним... Утопит...

– Ничего, не утопит, – уверял Головинский, – уж я все устрою. Мы смажем салазки и Жареному. Вы только приговор от общества возьмите...

Устроив свои дела в Белоглинском заводе, Владимир Петрович укатил в город, напут-

ствуемый общими благословениями, как добрый гений. Даже Матрена Ильинична высказалась о нем в том роде, что «истинно Господь послал нам этого Владимира Петровича!». Брагин, не теряя дорогого времени, круто повел дела и сам принялся объезжать заводы и деревни, где хотел взять за себя кабаки по общественным приговорам; центром действия был, конечно, Белоглинский завод. На счастье Брагина, осенью кончались сроки приговорам, и он рассчитывал повернуть все по-своему, а для этого не скупился, где нужно было, тряхнуть мошной. Расходы были обыкновенные: ведра два водки волостным старичкам, четвертной билет в зубы писарю и по таковому же старшине со старостой, а там известная откупная сумма «обчеству», смотря по выгодности пункта. В общей сложности расходы были довольно чувствительные и быстро унесли из брагинской казны тысяч двадцать пять – а там нужно было делать всякое кабацкое обзаведение. Головинский повел дело не менее энергично и, вооруженный широкой доверенностью Гордея Евстратыча, пролезал через десятки игольных ушей уезд-

ной и губернской администрации. Нужно было во многих местах смазать административную машину, а потому являлись часто побочные расходы – угодить «винной генеральше» и т. д. Гордей Евстратыч получил подробные отчеты его неутомимых хлопот, причем все расходы Головинский делал на свой счет, и их сумма превышала даже расходы самого Гордея Евстратыча, который даже стеснялся такой щедростью своего тароватого компаньона.

В самый горячий момент этих трогательных усилий, когда все дело было уже на мази, Гордей Евстратыч получил от Головинского лаконическую телеграмму: «Все улажено, он дает отступных вдвое против наших расходов».

– Ну, шалишь, не на тех напал!.. – соображал Брагин, торжествуя легкую победу. – Мы сами с усами, чтобы на твои отступные позариться. Нашел глупых!..

Было открыто до двенадцати кабаков, и дело пошло горячо. Водка не чета даже железной торговле или хлебной, не говоря уже о панском товаре: всегда тебе «мода» на эту

водку – только получай денежки. На железо да на хлеб цены все-таки меняются, иногда совсем бывает застой в делах, а по винной части все хорошо: урожай – народ пьет с радости, неурожай – с голоду. Про заводских да про приисковых рабочих и говорить нечего: они только водкой и держались при своем каторжном труде. Только одно было нехорошо в этой винной части – очень уж много расходов на первый раз: так в разные части и рвут, а доходы там еще собирай. Конечно, дело было верное, но все-таки как-то жаль расставаться с верными денежками. Головинский несколько раз приезжал в Белоглинский, осматривая кабаки, и все тянул деньги из Гордея Евстратыча. Дело не ждало, и отказать было неловко.

– Свои-то денежки я все ухлопал, – оправдывался Владимир Петрович, – теперь поневоле приходится тянуть вас... Потерпите, скоро барыши будем загребать. Это только сначала расходов много, а там пойдет совсем другое. Напустим мы холоду этому Жареному. Сам приезжал ко мне с отступными, и только не плачет.

Эти расходы заставляли Гордея Евстратыча крепко задумываться, и он несколько раз заводил о них речь с Татьяной Власьевной, которая всегда держала руку Владимира Петровича.

– Чтой-то, милушка, уж этакой-то человек. Уж кому же после этого верить! – говорила старуха. – Вон отец Крискент, его дело сторона, а он прямо говорит: «Господь вам, Татьяна Власьевна, послал Владимира Петровича, именно за вашу простоту...» И Матрена Ильинична с Агнеей Герасимовной то же самое в голос говорят...

– Оно конечно, мамынька; только вот денег-то больно много ухлопали мы: так и плывут...

– Потерпи, милушка. Как быть-то?.. Деньги дело наживное. А уж насчет Владимира Петровича ты даже совсем напрасно сумлеваешься. Вон у него самовар даже серебряный, ковры какие, а дома-то, сказывают, сколько добра всякого... Уж ежели этакому человеку да не верить, милушка, так и жить на белом свете нельзя. На что наша Маланья, на всех фукает, как старая кошка, а и та: «Вот уж ба-

рин, так можно сказать, что взаправский барин!»

Постройка нового дома к первому снегу вчерне была кончена, хотя поставить стропила и покрыть крышу не успели. Дом вышел громадный, даже больше шабалинского, и Гордей Евстратыч думал только о том, как его достроить: против сметы везде выходили лишние расходы, так что вместо пятнадцати тысяч, как первоначально было ассигновано, впору было управляться двадцатью. А между тем на руках у Гордея Евстратыча денег оставалось все меньше и меньше, точно они валились в какую прорву. С винной частью Гордей Евстратыч опять запустил свою панскую торговлю, во всем положившись на Михалку, который постоянно сидел в лавке. Архип разъезжал вместе с отцом по волостям, где открывались новые кабаки, и вел всю счетную часть. Между тем выручка в лавке все убывала, особенно когда Гордею Евстратычу приходилось уехать куда-нибудь недели на две. Татьяна Власьевна давно сметила, в чем дело, но покрывала Михалку, чтобы не поднимать

в семье нового вздору; Михалко крепко зашибал водкой, особенно без отца. Кроме того, в Белоглинском заводе снова появился Володька Пятов, и его часто видали в брагинской лавке, а это была плохая компания. Ариша ходила с заплаканными глазами, но Татьяна Власьевна уговорила ее потерпеть.

– Уж как быть-то, голубушка, такое наше женское дело, – успокаивала она невестку, – теперь вот у нас мир да благодать, а ежели поднять все сызнова – упаси Владычица! Тихостью-то больше возьмешь с мужем всегда, а вздорить-то, он всегда вздор будет... подурит-подурит Михалко и одумается. С этим Володькой теперь связался – от него вся и причина выходит...

Савины и Колобовы, конечно, знали о Михалкиных непорядках, но крепились, молчали, чтобы не расстроить только что заварившейся дружбы. Агнея Герасимовна потихоньку говорила Арише то же, что ей говорила Татьяна Власьевна, прибавляя в утешение:

– Ты еще благодари Бога, что Михалко-то одной водкой зашибается, а вон Архип-то, сказывают, больно за девками бегает... Уж

так мне жаль этой Дуни, так жаль, да и Матрены-то Ильинишны! Только ты никому не говори ничего, Ариша, боже тебя сохрани!

Дуня была совсем другого темперамента, чем Ариша, и точно не хотела замечать ничего: ей было лень даже шевельнуться, и она после первого ребенка сильно начала толстеть... К детям сно́хи относились неодинаково: Ариша не могла надышаться на своего Степушку, а Дуня иногда даже совсем забывала о существовании маленькой Тани. Гордей Евстратыч относился к невесткам ласково, но немного дулся на Аришу, потому что она всегда напоминала ему о разрыве с Порфиром Порфирычем. Ариша очень неловко чувствовала себя каждый раз в присутствии свекра, сознавая себя виноватой, хотя Гордей Евстратыч не сказал ей ни слова о том, что сам думал. Но раз, когда Гордей Евстратыч пришел откуда-то навеселе, он поймал Аришу в комнате одну и проговорил:

– Ну, Ариша, ты все еще на меня сердишься?.. А я так ни на кого не сержусь... и глаза закрыл, будто ничего не вижу. Все вы меня обманываете... Помнишь Порфира-то Порфиры-

ча? Ничего я тебе не сказал тогда, все износил... Потом вы зачали меня с Михалкой обманывать... А разве я слеп?.. Все знаю, все вижу и молчу... Вот каков я человек есть, и ты это, Ариша, должна чувствовать. Да...

– Я вас не обманываю, тятенька... – проговорила Ариша, краснея до ушей.

– Не обманываешь? А куда Михалко выручку девает? А кто покрывает Михалку, когда он без меня домой пьяный приходит?.. Все хороши...

ГордейЕвстратыч нехорошо засмеялся, и этот вызывающий смех заставил Аришу вздрогнуть. Его покрытое розовыми пятнами, улыбавшееся лицо было ей хорошо знакомо: она не забыла последней сцены в лавке и теперь не знала, как себя держать: уйти – значит показать, что она подозревает Гордея Евстратыча в дурных намерениях, остаться – значит подать ему повод сделать какую-нибудь новую глупость. Эта нерешительность и испуг Ариши забавляли Гордея Евстратыча, и он, разглаживая свою подстриженную бороду, сделал по направлению к невестке несколько нерешительных шагов и даже про-

тянул вперед руки.

– Ну, помиримся, Ариша, – говорил он. – Да иди ко мне, не бойся: не кусаюсь... Не хочешь?.. Не любишь?.. Ха-ха... Постой, змея, ты от меня все равно не уйдешь!

Молчание Ариши еще сильнее разозлило Гордея Евстратыча, и он, схватив ее за руку, с сверкавшими глазами прошептал:

– Слышишь, что я тебе сказал?.. Я ничего не забыл... Выбирай из любых.

Бедная Ариша тряслась всем телом и ничего не отвечала, но, когда Гордей Евстратыч хотел ее притянуть к себе, она с неестественной силой вырвалась из его рук и бросилась к дверям. Старик одним прыжком догнал ее и, схватив за плечи точно железными клещами, прибавил:

– Ты у меня только пикни, я тебя задушу своими руками... Добра моего не чувствуешь, так узнай зло!

– Тятенька... побойтесь Бога...

– Убирайся, дура!..

Ударом кулака Гордей Евстратыч вышвырнул невестку за дверь, а сам заходил по горнице неровным шагом.

План действий быстро созрел в голове Гордея Евстратыча: подсчитав Михалку по лавке, он взял его к себе, а в лавку опять посадил Аришу. Татьяна Власьевна боялась грозы, но Гордей Евстратыч обошелся с Михалкой очень милостиво и даже точно не хотел ничего видеть.

– Ты у меня смотри не дури... – коротко заметил Брагин сыну. – Не умел в лавке сидеть, так, может, у меня на глазах лучше будешь, а то мы с Архипом совсем замаялись.

Бедная Ариша, как и другие, не могла себе объяснить, зачем Гордей Евстратыч милует Михалку, и вместе с тем отлично понимала, зачем посадили ее опять в лавку. От страха она старалась не думать о будущем и со страхом ждала каждого нового дня. Но и здесь ее ожидания не оправдались: Гордей Евстратыч не заглядывал совсем в лавку, точно совсем забыл о ней, хотя Ариша и не верила этому, подозревая какую-нибудь ловушку. А план Гордея Евстратыча был очень несложен. Володька Пятов болтался в Белоглинском и от нечего делать, наверно, будет шататься в лавку к Арише. Брагину этого только и нужно

было, и он не ошибся в своих расчетах. Володька Пятов, воспользовавшись отсутствием своего закадычного друга Михалки, опять принялся ухаживать за Аришей, которой даже бежать от него было некуда. Она сразу очутилась между двух огней. Воспользовавшись таким удобным случаем, Гордей Евстратыч через третьи руки натравил Михалку на жену. Пьяный Михалко, застав в лавке Володьку Пятова, накинулся на жену и отколотил ее всенародно. Скандал вышел страшнейший. Ариша вернулась домой вся в синяках и далее не искала ни у кого защиты, потому что все равно ей никто не поверил бы, даже родная мать. Дело получило самый щекотливый оборот: Татьяна Власьевна держала сторону Михалки, Агнея Герасимовна только плакала, не смея защищать опозоренную дочь. Дома Михалко, подстрекаемый отцом, еще прибавил жене, не оставив у ней на теле живого местечка.

– Что, не вкусно носить мужнины-то побои? – смеялся Гордей Евстратыч над избитой невесткой. – Я тебя везде достану, змея... Теперь уж все знают, какая у тебя вера-то!.. Ха-

ха... А скажи слово – все будет по-твоему.

Ариша молчала, не желая сказать «слова». Это был вызов на отчаянную борьбу, и Гордей Евстратыч еще сильнее привязывался к неподдававшейся невестке. Чтобы окончательно доконать ее, он с дьявольской изобретательностью напустил на Аришу сладкогласного о. Крискента, который должен был обратить заблудшую душу на путь истины.

Не добившись цели одним путем, Брагин пустил в ход другую политику: он начал везде таскать за собою Михалку и свел его с такой компанией, где тот совсем закружился. Гордей Евстратыч делал вид, что ничего не замечает, и относился к сыну с небывалой нежностью, и только одна Ариша понимала истинную цену этой отцовской нежности: отец хотел погубить сына, чтобы этим путем добиться своего. Дело кончилось тем, что Михалко начал пить формальным запоем, как пил Зотушка, и в пьяном виде выкидывал всевозможные безобразия. А Гордей Евстратыч нарочно посылал его в город на целые недели с разными поручениями и не жалел денег, чтобы Михалко пожил в свою долю в настоящей

компании. Скоро до Белоглинского завода дошли слухи о подвигах Михалки в городе, где он безобразничал напропалую, и только один Гордей Евстратыч не хотел ничего знать. Даже когда Татьяна Власьевна келейно передала ему эти слухи, он только улыбнулся и проговорил:

– Вздор, мамынька... Мало ли про нас что болтают с зависти! Всех не переслушаешь, мамынька.

– Вот каков у тебя муженек-то! – рассказывал Гордей Евстратыч безответной Арише о подвигах Михалки. – А мне тебя жаль, Ариша... Совсем напрасно ты бедуешь с этим дураком. Я его за делом посылаю в город, а он там от арфисток не отходит. Уж не знаю, что и делать с вами! Выкинуть на улицу, так ведь с голоду подохнете вместе и со своим щенком.

Ариша как-то тупо отмалчивалась и даже не плакала.

Наступившее Рождество прошло очень невесело в брагинском доме, хотя Колобовы и Савины бывали в нем для порядку. Всем было тяжело, а всех тяжелее Арише, которая виде-

ла кругом себя общее недоверие и самые несправедливые подозрения. Конечно, Михалко пьянствовал от худой жены – вот общий приговор, который разделялся всеми. От хороших жен мужья не бегут к арфисткам... Даже приехавший Владимир Петрович, которому были все рады, точно он мог избавить брагинский дом от одолевавших его напастей, – и тот был бессилен. Впрочем, и сам Головинский смотрел не совсем весело и подолгу советовался с Гордеем Евстратычем в своем флигельке. Дело было поставлено и пущено в ход, но Мойша Жареный не дремал и повел усиленную атаку против брагинских кабаков; агенты Жареного добывали какие-то приговоры, открывали кабаки напротив брагинских и отпускали водку не только дешевле, чем у Брагина, но еще в долг. Очевидно, Жареный торговал себе в убыток, чтобы только доконать непрошеных конкурентов.

– Ничего, нужно только теперь потерпеть, – утешал Головинский. – Скоро надоест Жареному понапрасну деньгами сорить... Он хочет нас запугать, а мы свою линию будем выводить.

Эти разговоры в переводе обозначали: денег нужно, милейший Гордей Евстратыч. Но Гордей Евстратыч уперся как бык, потому что от его капитала осталось всего тысяч десять наличными да лавка с панским товаром, – остальное все в несколько месяцев ушло на кабаки, точно это было какое-то чудовище, пожиравшее брагинские деньги с ненасытной прожорливостью.

– У меня больше нет денег, Владимир Петрович, – решительно заявил Брагин своему компаньону.

– Значит, мы пустим все дело ко дну…

– Уж как Господь укажет… У Жареного миллионы, за ним не угоняешься.

– Можно и без денег обойтись, Гордей Евстратыч. Укажите мне хоть одно коммерческое предприятие, где все дело велось бы на наличные? Так и мы с вами сделаем: за кредитом дело не станет. Только выдайте мне специальную доверенность, а там уж я все дело устрою.

ГордейЕвстратыч крепко задумался: с одной стороны – бросай все дело, с другой – залезай в долги, как другие коммерсанты. Посо-

ветовался с мамынькой. Татьяна Власьевна успокаивала тем, что уж ежели Владимир Петрович советует, так, значит, дело верное и т. д. Самого Гордея Евстратыча сильно подмывало желание потягаться с Жареным и показать ему свою силу. После некоторого колебания Брагин выдал доверенность Головинскому, с которой тот и укатил в город. Может быть, последнего Гордей Евстратыч и не сделал бы, если бы у него на уме не было своей заботы, которая не давала ему покоя ни днем ни ночью, и он все время бродил точно в тумане.

XXI

Как-то после Рождества, однажды вечером, Татьяне Власьевне особенно долго не спалось. Старое семидесятилетнее тело сильно тосковало, старуха никак не могла укласть свои кости поспокойнее и все к чему-то точно прислушивалась. Ночь была ясная, месячная, морозная. Слышно было, как на улице скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Пропели вторые петухи, когда Татьяна Власьевна начала забываться, но этот тревожный сон был нарушен каким-то подавленным стоном. Вскочив с постели, Татьяна Власьевна бросилась к Нюше, но та спала ровным, спокойным сном, раскинув руки на подушке; старуха торопливо принялась крестить внучку, но в это время подозрительный звук повторился. Он походил на то, если бы человек усиливался крикнуть с крепко сжатым ртом. Теперь Татьяна Власьевна ясно расслушала, что этот звук донесся из каморки Ариши, где она спала одна с своим Степушкой. Первой мыслью старухи

было то, что это непременно забрался к ним Володька Пятов, которого она видела третьего дня. Как была, на босу ногу, Татьяна Власьевна пошла к Аришиной каморке, захватив на всякий случай спичек; она никого не боялась и готова была вытащить Володьку за волосы. Когда она уже была в нескольких шагах от Аришиной каморки, там послышалась какая-то глухая борьба. Чиркнув наскоро спичкой о стену, Татьяна Власьевна остановилась в дверях этой каморки и с ужасом отступила назад: колеблющийся синеватый огонек разгоравшейся серянки выхватил из темноты страшную картину боровшихся двух человеческих фигур… Это была Ариша с разбитыми волосами и побагровевшим от напряжения лицом, на котором еще оставались белыми пятнами следы от чьих-то железных пальцев. Ее за руки держал Гордей Евстратыч, весь багровый, с трясшимися губами. Увидав мать, Гордей Евстратыч бросился в дверь. По дороге он сильно толкнул мать и сейчас же заперся в своей горнице.

– Что же ты не кричала? – спрашивала Татьяна Власьевна, когда немного пришла в се-

бя.

– Я кричала… он мне рот зажимал… – ответила Ариша.

У Ариши еще стояли в ушах страшные слова Гордея Евстратыча: «Ты у меня, змея, попомни Кокина… слышишь?» Это того Кокина, который зарезал родную внучку.

– Бабушка, он убьет Степушку… – прошептала Ариша и тихо заплакала.

Сдержанные рыдания матери заставили ребенка проснуться, и, взглянув на мать и на стоявшую в дверях с зажженной восковой свечой бабушку, ребенок тоже заплакал. Этот ребячий плач окончательно отрезвил Татьяну Власьевну, и она, держась рукой за стену, отправилась к горнице Гордея Евстратыча, который сначала не откликался на ее зов, а потом отворил ей дверь.

– Ты не глуми, мамынька… – говорил он в ответ на слезы и упреки матери. – Надо сперва еще разобрать дело-то. Может, тогда другое заговоришь. Ариша-то…

– Врешь!.. Врешь!.. Побойся Бога-то…

– Ей-богу, мамынька!

Старики ссорились часа два, а когда Татья-

на Власьевна пошла к себе в комнаты, каморка Ариши была уже пуста: схватив своего Степушку и накинув на плечи Нюшину заячью шубейку, она в одних башмаках на босу ногу убежала из брагинского дома. Ясное дело, что она пошла к своим и там все разболтает сейчас же. Дело получит огласку и покроет позором всю брагинскую семью... А может, Ариша побежала топиться? Через пять минут Татьяна Власьевна, задыхаясь, бежала к колобовскому дому, не чувствуя тридцатиградусного холода, щипавшего ей лицо и руки. Завидев издали промигивавший сквозь ледяную мглу морозной ночи огонек в нижнем этаже колобовского дома, Татьяна Власьевна перекрестилась: Ариша была дома. Чтобы окончательно увериться в этом, старуха добрела до самого колобовского дома и сквозь щель в ставне увидела Аришу, которая рассказывала все Самойлу Михеичу и Агнее Герасимовне. Все было кончено... Теперь уже никакими силами не остановить худой славы, которая молнией облетит вместе с зарей весь Белоглинский завод; теперь нельзя будет и носу никуда показать, все будут указывать пальца-

ми... Что будет с Нюшей после такой славы? Что будут делать Михалко и Архип?.. Обратно Татьяна Власьевна брела целый час, разбитая, уничтоженная, огорченная; она не чувствовала своих старых слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же стывших на воротнике шубы. Срам, стыд, позор... И кто же все это наделал? Милушка, Гордей Евстратыч...

Дома Татьяна Власьевна застала всех вставшими. Дуня с маленькой Таней забралась к Нюше в комнату, и они заперлись даже на замок со страху. Ворота были отворены, в горнице Гордея Евстратыча было темно и тихо, как в могиле. Завидев бледную, посиневшую бабушку, Нюша и Дуня разревелись; они уже узнали, что Ариша убежала и отчего она убежала. Татьяна Власьевна, не раздеваясь, бессильно опустилась на первый стул и, закрыв глаза, сидела неподвижно, как статуя. Нюша боялась спросить ее, где Ариша и что с ней. Так они втроем просидели в одной комнате вплоть до свету, когда Маланья прибежала сказать, что приехал Самойло Михеич.

– Не надо... не пускай, – проговорила Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от своего

раздумья.

Самойло Михеич долго стучался в ворота, грозил судом и проклинал Гордея Евстратыча на чем свет стоит. В окнах пазухинского дома мелькали любопытные лица; останавливались прохожие; двое мальчишек, перескакивая с ноги на ногу, указывали пальцами на окна брагинского дома.

– Выходи, снохач!.. Я с тобой рассчитаюсь сейчас же!.. – кричал неистово Самойло Михеич. – Эй, Гордей Евстратыч, что спрятался?..

Расходившийся старик колотил кулаками в стену брагинского дома и плевал в окна, но там все было тихо, точно все вымерли. Гордей Евстратыч лежал на своей кровати и вздрагивал при каждом вскрикивании неистовствовавшего свата. Если бы теперь попалась ему под руку Ариша, он ее задушил бы, как котенка.

Через час весь Белоглинский завод уже знал о случившемся. Марфа Петровна успела побывать у Савиных, Пятовых, Шабалиных и даже у о. Крискента и везде наслаждалась величайшим удовольствием, какое только в состоянии была испытывать: она первая сооб-

щала огромную новость и задыхалась от волнения. Конечно, Марфа Петровна успела при этом кое-что прибавить, кое-что прикрасить, так что скандал в брагинском доме покатился по всему Белоглинскому заводу, как снежный ком, увеличиваясь от собственного движения.

– С ножом бросился на Аришу… вот сейчас провалиться!.. – уверяла у Шабалиных Марфа Петровна. – А она, Ариша-то, как вырвалась от Гордея Евстратыча, так в одной рубахе и прибежала к своим-то… Нарочно ходила к ним и своими глазами видела Аришу: как Гордей Евстратыч душил ее, как у ней и теперь все пять пальцев так и отпечатались на лице. Он и Степушку хотел зарезать, да старуха помешала… А Михалки дома нет, он в городу. И Архип тоже… А как Самойло-то Михеич их срамил утром: «Снохач!»? – так и ревет у ворот, а сам на стены кидается.

У Шабалиных Марфа Петровна услыхала другую, не менее интересную новость, которую ей рассказал сам Вукол Логиныч, именно: что Брагины разорились на кабаках. Шабалин только что вернулся из города, где и

слышал эту новость.

– Влетел как кур в ощип! – хохотал Вукол Логиныч. – Вперед наука... Вздумал тягаться с Жареным... Ха-ха!.. Да тут весь наш Белоглинский завод выворотить, так всех наших потрохов недостанет. Это его Головинский отполировал...

Шабалин на этот раз не лгал. Действительно, Гордей Евстратыч сейчас после удаления ругавшегося старика Колобова получил от Головинского такую телеграмму: «Нужно пятьдесят тысяч. Иначе мы погибли». Достать такую сумму нечего было и думать, и Гордей Евстратыч понял, что он теперь разорился в пух и прах. Он показал телеграмму матери и торопливо начал одеваться.

– Ты куда? – сурово спрашивала Татьяна Власьевна.

– В город, мамынька... – коротко ответил Гордей Евстратыч, натягивая в рукава оленью доху. – Надо... не знаю, ничего не знаю, мамынька... мы разорились... Прощай, мамынька... Береги Нюшу...

Даже не простившись с дочерью, Брагин вышел из комнаты и в сенях лицом к лицу

встретился с Матреной Ильиничной, которая испуганно отшатнулась от него, как от зачумленного. Они постояли друг против друга несколько мгновений. Потом Гордей Евстратыч бросился во двор и торопливо вышел на улицу. Он пошел прямо к знакомому ямщику, велел заложить лучшую тройку и через полчаса был на дороге в город. Шел легкий снежок, мороз быстро спадал, ямщик лихо правил тройкой, которая быстро неслась по избитой ступеньками широкой дороге, обгоняя попадавшиеся обозы. Гордей Евстратыч лежал в кошевой на охапке сена и безучастно смотрел по сторонам, точно человек, который медленно и тяжело просыпался после сильного хлороформирования. За ним гнались страшные тени и призраки. Мертвая Феня, какой он видел ее в последний раз в гробу, отчаянно защищавшаяся Ариша, плакавшая в своей горенке Нюша, убитая горем мамынька с ее посиневшим страшным лицом.

В это время в брагинском доме происходила такая сцена. Матрена Ильинична сидела в комнате Татьяны Власьевны, не снимая шубы, и говорила своей сватье:

– Я пришла за Дуней, Татьяна Власьевна…

– Не пущу, – коротко ответила Татьяна Власьевна.

– Пустишь… Вы тут снох режете, а мы будем на вас глядеть. Есть и на вас суд, сватья…

– Все-таки не пущу. У Дуни есть муж, это его дело… Гордей Евстратыч уехал в город, я не могу без него.

– Силком уведу, ежели добром не отдашь.

– А суд?

– И суд будем судить… Найдем и на вас управу. Снохачей-то и на суде не похвалят. Дуняша, оболокайся…

– Дуня, не смей, а то прокляну.

– Дуня, оболокайся, пусть клянет: грех на моей душе…

Старухи повздорили и сильно разгорячились.

– Ариша напраслиной обнесла Гордея Евстратыча… – говорила Татьяна Власьевна. – Перед Богом ответит.

– Ладно, ладно… Будет вам снох-то тиранить. Кто Володьку-то Пятова к Арише подвел? Кто Михалку наущал жену колотить? Кто спаивал Михалку? Это все ваших рук де-

ло с Гордеем Евстратычем... Вишь, как забили бабенку! Разве у добрых людей глаз нет... Дуняша, оболокайся!.. А то я сейчас в волость пойду или станового приведу... Душу-то христианскую тоже не дадим губить.

Татьяна Власьевна испугалась станового и покорилась. Дуня на скорую руку оделась во что попало, закутала маленькую Таню в шубу и ушла за матерью. У ворот их дожидалась лошадь. В брагинском дому осталась теперь только Татьяна Власьевна с Нюшей да кривая Маланья, которая выла и голосила в своей кухне, как по покойнике. Нюша сидела с ногами на своей кровати и, казалось, ничего не понимала, что творилось кругом; она была свидетельницей крупного разговора споривших старух и теперь даже не могла плакать. Ей тоже хотелось бежать из этого проклятого дома, но куда?!. Девушка боялась даже бабушки, которая ходила по комнатам как помешанная и торопливо прибирала все в сундуки, щелкая замками.

– Нюша... где ты? – спрашивала Татьяна Власьевна, вспомнив о внучке.

– Я здесь, бабушка...

– Чего ты смотришь: прибирай скорее!.. – заворчала на нее Татьяна Власьевна, сваливая на руки Нюши ворох снятых скатертей, из которых выкатились на пол два медных подсвечника. – Да поворачивайся... Чего ты глаза-то вытаращила?

Нюша машинально подобрала валившиеся из рук скатерти и продолжала смотреть на бабушку испуганными остановившимися глазами. Татьяна Власьевна только теперь догадалась, что Нюша слышала весь разговор Матрены Ильиничны.

– Нюша, что с тобой, милушка?..

– Бабушка... родимая...

Нюша с рыданиями повалилась на свою постель, обхватив обеими руками сунутые ей бабушкой скатерти. Но это молодое горе не в состоянии было тронуть Татьяны Власьевны, и старуха уверенно проговорила:

– Не верь, милушка, никому не верь... Зря все болтают, а с Ариши взыщет Господь за напраслину.

– Бабушка, да ведь недаром же Ариша-то убежала ночью?..

– Со злости убежала она, со злости, милуш-

ка... И всех нас напраслиной обнесла, за наше-то добро.

Татьяна Власьевна теперь сама верила своим словам и тому, что ей говорил Гордей Евстратыч об Арише. Конечно, она его затащила к себе в каморку, а потом нарочно закричала, чтобы показать свекра снохачом: этим и хотела покрыть свой грех с Володькой Пятовым. Хитра змея... Чем дольше думала в этом направлении сходившая с ума старуха, тем она сильнее убеждалась в правоте напрасно обнесенного сына. Статошное ли дело, чтобы Гордей Евстратыч стал заниматься такими мерзостями... Конечно, его подвела Аришка, а Аришу научили другие, те же Пазухины. Им это на руку... Гляди-ка, как поднялся даве Самойло-то Михеич, чуть зубами не грызет ворота, а сам кругом виноват – вырастил дочь-потаскушку.

Этот ряд мыслей парализовался известием о разорении. Татьяна Власьевна плохо поняла в первую минуту значение этого страшного слова, и только теперь оно представилось ей во всей своей реальной обстановке, со всеми подробностями. Едва ли она испугалась бы в

такой степени, если бы ей объявили смертный приговор, – тогда погибла бы она одна, а теперь все кругом нее рушилось, и точно даже шатались стены батюшкина дома. Кстати, Татьяна Власьевна припомнила, что на той неделе выпал кирпич из батюшкиной печи и что потом она видела сряду три дня во сне эту печь: печаль и вышла... Уж это всегда так бывает, что печь видят к печали да горю.

– Надо все прибирать... скорее прибирать! – говорила вслух Татьяна Власьевна, торопливо обходя все горницы и собирая все, что попадалось под руку, чтобы спрятать и запереть в сундуки.

Можно было подумать, что старый брагинский дом охвачен огнем и Татьяна Власьевна спасала от разливавшегося пожара последние крохи. Она заставила и Нюшу все прибирать и прятать и боязливо заглядывала в окна, точно боялась, что вот-вот наедут неизвестные враги и разнесут брагинские достатки по перышку. Нюша видела, что бабушка не в своем уме, но ничего не возражала ей и машинально делала все, что та ее заставляла.

– Гляди-ка, Нюша, ведь это у Пазухиных из-

за косяка подглядывают за нами, – говорила Татьяна Власьевна. – Марфа Петровна... Этакая злыдня!.. Нюша, милушка, где у нас ложки-то серебряные?

– В шкафу, бабушка...

– Ах, грех какой! Да ведь шкаф-то стеклянный, все видно... Тащи все в сундук, а то как раз...

В открытые сундуки, как на пожаре, без всякого порядка укладывалось теперь все, что попадало под руку: столовое белье, чайная посуда, серебро и даже лампы, которые Гордей Евстратыч недавно привез из города. Скоро сундуки были полны, но Татьяна Власьевна заталкивала под отдувавшуюся крышку еще снятые с мебели чехлы и заставляла Нюшу давить крышку коленкой и садиться на нее.

– Оно вернее будет, как под замком-то, – говорила Татьяна Власьевна, связывая все ключи на одну веревочку.

XXII

Приехав в город, Брагин прежде всего отправился, конечно, к Головинскому, который встретил его с распростертыми объятиями и, подхватив под руку, с соболезнованием говорил:

– Что делать, Гордей Евстратыч... что делать!

– Да ведь вы меня разорили, Владимир Петрович?!. – сдерживая бешенство, отвечал Брагин. – У меня больше расколотого гроша нет за душой... Понимаете: гроша нет!..

Головинский поднял плечи и брови и, расставив широко ноги, внушительным полуголосом повторил несколько раз одну фразу:

– Я тоже все потерял... Понимаете: решительно все!..

– Да ведь вы обещали мне золотые горы? – уже закричал Брагин, хватаясь за голову. – Вы меня обманули!.. разорили!.. Вы меня со всей семьей пустили по миру...

Брагин тяжело упал в кресло и рванул себя за покрытые сильной проседью волосы. С бешенством расходившегося мужика он осыпал

Головинского упреками и руганью, несколько раз вскакивал с места и начинал подступать к хозяину с сжатыми кулаками. Головинский, скрестив руки на груди, дал полную волю высказаться своему компаньону и только улыбался с огорченным достоинством и пожимал плечами.

– Послушайте, Гордей Евстратыч... Вы напрасно волнуетесь, – мягко заговорил Головинский. – Этим делу не поможешь... Обсудимте лучше все дело хладнокровно. Если бы я действительно был виноват, я бы не был так спокоен... Нечистая совесть всегда скажется. Я даже не сержусь на вас, потому что вы находитесь в таком состоянии, что...

– Нет, я хорошо все понимаю... это разбой!.. дневной грабеж!.. А ты подлец из подлецов...

Сжав побелевшие губы, Гордей Евстратыч, как разъяренный бык, кинулся на Головинского с кулаками, но тот подставил ему стул и, отделенный этим барьером, даже не пробовал защищаться, а только показал своему врагу маленький револьвер. Брагин завизжал от бессильного гнева, как лошадь, которую дерет медведь; он готов был в клочья разо-

рвать своего спокойного компаньона, если бы не его страшная «оборонка».

– Поговоримте спокойно… – продолжал Головинский, предлагая Гордею Евстратычу стул. – Порядочные люди всегда поймут друг друга, и я надеюсь, что мы не разойдемся врагами.

– Да ты дьявол, что ли?!. – ревел Гордей Евстратыч на это дружеское приглашение. – Жилы хочешь тянуть из живого человека?!. Ободрал как липку, а теперь зубы заговаривать… Нет, шабаш, не на таковского напал. Будет нам дураков-то валять, тоже не левой ногой сморкаемся!..

– Успокойтесь, уважаемый Гордей Евстратыч… Это вредно для вашего здоровья… Поговоримте спокойно…

– Я тебе покажу, подлец, спокойно… У!.. стракулист поганый!.. Думаешь, я на тебя суда не найду? Не-ет, найду!.. Последнюю рубаху просужу, а тебя добуду… Спокойно!.. Да я… А-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!.. Где у тебя крест-то?.. Ведь ты всю семью по миру пустил… всех… Теперь ведь глаз нельзя никуда показать… срам!.. Старуху и ту

по миру пустил... Хуже ты разбойника и душегубца, потому что тот хоть разом живота решит и шабаш, а ты... а-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!

Понятное дело, что подобный разговор не мог ни к чему привести, и стороны расстались самым естественным образом, то есть Головинский, при содействии Егора и кучера, вытолкал бушевавшего Гордея Евстратыча из своей квартиры в шею. Выкинутый на улицу Брагин, не помня себя от бешенства, долго неистовствовал у подъезда. Он стучал ногами и кулаками в двери, оторвал от них массивную медную ручку в русском вкусе и так ругался и орал на всю улицу, что перед квартирой Головинского собралась целая толпа любопытного городского люда: кухарки, мальчишки, кучера, чиновник, возвращавшийся со службы, какие-то «молодцы» из лавки и т. д. Все пересмеивались и указывали пальцами на бесновавшегося старика.

– Православные... ограбил, зарезал!.. – кричал Брагин. – Будьте свидетелями... Я судиться буду!.. Я покажу...

Наругавшись досыта, пока не охрип, Гор-

дей Евстратыч сел на извозчика и отправился прямо к адвокату, чтобы не терять дорогого времени. Он вспомнил одного черномазого адвоката из восточных человеков с желтыми глазами, по фамилии Спорцевадзе. Этот Спорцевадзе страшно размахивал руками и обладал красивым голосом, который гудел, как труба. «Вот этого зверя я и напущу на кровопийцу! – с особенным удовольствием думал Гордей Евстратыч, снимая и надевая на себя соболью шапку. – „Спокойно... здоровье испортите...“ Я тебе покажу...»

На счастье Брагина, Спорцевадзе оказался дома. Он жил в собственном двухэтажном доме на Соборной площади, с дубовым подъездом и зеркальными стеклами. Швейцар в передней и приличная обстановка приемной произвели успокаивающее впечатление на Гордея Евстратыча, а когда вышел сам Спорцевадзе с своими желтыми глазами – он даже улыбнулся и подумал про себя: «Вот мы этого желтоглазого и напустим на кровопийцу...» Пока Брагин, сбиваясь и путаясь, передавал сущность своего дела, адвокат небрежно чистил свои длинные розовые ногти и только

изредка взглядывал на клиента, а когда тот кончил, он коротко спросил:

– Так он вас до нитки обчистил?

– В одной рубашке пустил... Вот те истинный Христос!..

Адвокат улыбнулся этой наивной выходке, а потом, не переставая чистить ногтей, проговорил:

– Да, я слышал о вас... Что делать!.. Ловко вас обчистил этот Головинский... И главное, скоро – не тянул. Раньше-то вы чем занимались?

– Торговал панским товаром, ваше благородие.

Спорцевадзе пристально посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и подумал: «Ну, с этого взять нечего: гол как сокол».

– Знаете, что я вам посоветую, – заговорил адвокат после короткой паузы, трогая щеточкой бриллиантовый перстень на руке, – я посоветую вам совсем бросить это дело...

– Как бросить?! – вскипел Гордей Евстратыч, опуская руки.

– Да вы садитесь, и поговоримте спокойно...

Это «спокойно» резнуло Брагина по сердцу как ножом, но он скрепился и присел к письменному столу.

– Видите ли, какая вещь... – протянул Спорцевадзе, раздвигая ноги, как это делал Владимир Петрович. – Вы дали полную доверенность Головинскому. Да?.. Вот он на основании этой доверенности и нажег вас, а вам с него ничего не взять: дело велось со всеми необходимыми формальностями, так что вам решительно ничего не взять с своего компаньона. Мало ли торговых дел расстраивается, и лопаются не такие компании.

– Да ведь деньги-то, деньги-то мои, ваше благородие!.. Голеньких сто тысяч просадил я...

– И еще просадили бы сто, если бы были. На ловкого человека наткнулись. Ну, да это все равно. Мне, собственно, некогда с вами теперь долго разговаривать, а я дам вам один совет: спасайте последние крохи и займитесь опять своей панской торговлей.

– Да ведь у меня весь капитал уторкан в кабаки!

Спорцевадзе задумался, опять посмотрел

на Брагина своими желтыми глазами и проговорил:

– Да, да... Это верно. Знаете, что я вам посоветую? Вас, собственно, утопил не Головинский, а Жареный... Так?

– А черт их разберет!..

– Нет, это верно. Поэтому, чтобы воротить хотя часть затраченного на кабаки капитала, я советую вам обратиться прямо к Жареному.

– Это к жидовину-то?..

– Успокойтесь, Моисей Моисеич совсем не жид, а грек и притом отличный человек. Он войдет в ваше положение, и, я уверен, даже, может быть, вы с ним устроите какую-нибудь сделку.

– Ну, уж это шабаш!.. Чтобы я пошел к жидовину – ни в жисть... Вот сейчас провалиться на этом самом месте!..

– Как знаете. Наша обязанность дать совет, а там уже ваше дело. Вы напрасно так предубеждены против Моисея Моисеича, – это отличный человек, и я уверен...

«Врешь, желтоглазый! Хочешь меня еще запятить к жидовину: ни в жисть!» – думал Гордей Евстратыч, выходя от адвоката.

От Спорцевадзе Брагин отправился к другому адвокату, от другого к третьему – но везде совет был один, точно все эти шельмы сговорились: так в один голос и режут. Дело выходило самое распоследнее. «Что же вы ко мне раньше не обратились!» – говорили адвокаты, завидуя хватившему куш Головинскому. И все посылают к Жареному… Это к тому самому Жареному, который пустил Брагина по миру! Гордей Евстратыч сначала не мог даже думать о таком унижении и готов был расколоться на несколько частей, только бы не идти к распроклятому «жидовину».

Только обойдя всех адвокатов, Брагин вспомнил, что Михалко и Архип были в городе, и отправился их разыскивать. Брагины всегда останавливались в гостинице с номерами для господ проезжающих, и отыскать их Гордею Евстратычу было нетрудно. Михалко был дома, но спал пьяный, а Архип оказался в больнице.

– Зачем в больнице? – спрашивал Брагин вытягивавшегося пред ним лакея с салфеткой под мышкой. – Болен?

– А так-с… не то чтобы больны, а в этом ро-

де.

– Да говори толком, окаянная душа.

– Гм... У Архипа Гордеича такая уж болезнь, так они теперь пользуются у дохтура.

Известие о «такой болезни» Архипа переполнило чашу, и Гордей Евстратыч не знал дальше, что ему делать, предпринять, даже что думать. В голове у него все вертелось и прыгало, как в испорченной машине, которую нельзя даже остановить. Здесь, в этом грязном трактирном номере, стены которого были пропитаны запахом водки, пива и табачного дыма, он теперь сидел как оглушенный. Где-то щелкали бильярдные шары, в соседнем номере распевал чей-то надтреснутый женский голос бравурную шансонетку, а Гордей Евстратыч смотрел кругом – на спавшего на диване Михалку, на пестрые обои, на грязные захватанные драпировки, на торчавшего у дверей лакея с салфеткой, и думал – нет, не думал, а снова переживал целый ворох разорванных в клочья чувств и впечатлений. Мертвая Феня, убежавшая чуть не в одной рубашке Ариша, таявшая как свеча Нюша, пьяный Михалко, Архип с своей болезнью, Вла-

димир Петрович с его «успокойтесь», адвокат Спорцевадзе, а там жидовин Мойша Жареный и позор, позор, позор… Что будет с Нюшей? Теперь и Пазухины глядеть на нее не захотят – потому как взять девку из разоренного дома?

– Не прикажете ли чего-с?.. – спрашивал лакей.

– Как ты сказал?

– Говорю, не прикажете ли насчет водки…

– А-а… Ну, давай водки, графин водки… – точно про себя повторял Брагин и, улыбнувшись горькой улыбкой, прибавил про себя: «Чем ушибся, тем и лечись».

Выпив хороший графин водки, Гордей Евстратыч уснул тут же в номере, положив голову на стол. Он проспал чуть не двенадцать часов, а когда проснулся и немного пришел в себя, опять принялся обдумывать, что ему делать. К адвокатам идти было незачем. Подкрепившись двумя рюмками очищенной, Брагин решился сходить к знакомым золотопромышленникам: авось что присоветуют. Ум хорошо, два лучше того. Был у него один знакомый старик-золотопромышленник, по

фамилии Колосов, из раскольников. Вот к нему Брагин и отправился за советом; кстати, у этого старика были свои дела с Жареным, – может, словечко и замолвит по старой дружбе пред жидовином. Старик-раскольник, убеленный серебряной сединой, отнесся к несчастью Брагина с большим участием и долго качал головой.

– Плохо, плохо, Гордей Евстратыч, – говорил Колосов, разглаживая свою окладистую седую бороду. – Эк тебя угораздило с этими кабаками... Уж и времена только!.. С живого кожу сдерут. А только Спорцевадзе тебе правильно посоветовал. Надо будет толкнуться к Мосею Мосеичу, не выгорит ли что-нибудь. Пожалуй, дам тебе писульку на всякий случай.

– А без жидовина невозможно?

– Нет, нельзя... Силища этот Мосей Мосеич, его не обойдешь, как суженого. Может, и смилуется. Ох, только у всех этих иноплеменцев трудно вывертываться... Ну, да уж делать нечего, попытайся.

Взял Гордей Евстратыч от Колосова его писульку и с ней отправился пытать счастья к

жидовину. Но добраться до Мойши Жареного было не так-то легко, как он думал. Этот кабацкий король являлся в город только по временам, а настоящую резиденцию имел на своих винных заводах, куда Брагин и отправился, хотя конец был немалый, верст в двести, пожалуй, не укладешь.

Моисей Жареный жил настоящим королем в своем поместье Бурнаши, которое расположено было на западном склоне Урала, где берут свое начало живописные притоки реки Белой. Это край той цветущей Башкирии, которую расхитили уфимские чиновники. Жареный купил свое именье от одного из таких счастливцев, которому досталось на долю до тридцати тысяч богатейшей земли. Чиновнику, а в особенности русскому чиновнику, земля то же, что слепому грамота, поэтому уфимские чиновники размотали свои наделы за четверть цены. Бурнаши славились своим красивым местоположением и целой сетью горных речек, которые бороздили башкирский чернозем. Когда-то башкиры здесь кочевали со своими кошами, а теперь дымились винокуренные заводы и кипела самая ожив-

ленная деятельность, превратившая жалкую деревушку Бурнаши в маленький городок, кишмя кишевший греками, армянами, евреями и тому подобным людом, ютившимся около своего патрона. Издали можно было залюбоваться на бойкую картину, какую представляли Бурнаши даже зимой. Каменные дома, заводские постройки, ряды новых крестьянских изб – все говорило о новой жизни и новых людях. Недавняя пустыня точно проснулась под влиянием новой «цивилизации». Когда Брагин подъехал на почтовой тройке к селу светлым весенним деньком, он невольно залюбовался. Снег уже осел и спекся в рыхлую, пропитанную водой массу; дорога почернела, в воздухе пахло обновляющей вся и все силой. Лес казался зеленее, но это был не тот дремучий лес, какой рос зеленой стеной около Белоглинского завода и на Смородинке: ели были пушистее, сосны ниже и развилистее, попадались березняки и осинники целыми островами.

Глядя кругом, Гордей Евстратыч невольно вспомнил про свою Смородинку, которая теперь стояла без всякого дела: старик еще раз

пережил нанесенную ему Порфиром Порфирычем обиду и тяжело вздохнул. Эх, воротить бы прииск, не поехал бы он с повинной к этому жидовину с писулькой Колосова! Но пролитого не воротишь... А вон и первые избушки бурнашевских мужиков, вон и светленькие, с иголочки новенькие деревянные домики разных приспешников Жареного, вон и каменный дом самого Мосея Мосеича. Брагин сотворил про себя молитву и велел ехать на постоялый двор.

Добраться до Мосея Мосеича в Бурнашах было еще труднее, чем в городе, потому что нужно было пролезть через живую стену из самых отчаянных искариотов, смотреть-то на которых Гордею Евстратычу было тошным-тошнехонько. И каждая шельма оглядывает с ног до головы да выспрашивает: чей? откуда? по какому делу? и т. д. А потом окажется, что он не может провести к Мосею Мосеичу, надо спросить набольшего, а у набольшего еще набольший – целая лестница... Ходил-ходил старик по служащим, – все смотрят подозрительно и косятся, точно в чужое государство приехал, лопочут по-своему, ничего

не разберешь. У Гордея Евстратыча воротило на душе от этих церемоний, и не раз ему хотелось плюнуть на все, даже на самого Мосея Мосеича, а потом укатить в свой Белоглинский завод, в Старую Кедровскую улицу, где стоит батюшкин дом. Но делать было нечего: привела Маркушкина жилка Гордея Евстратыча в чужую дальнюю сторону, надо как ни на есть выпутываться из беды, как советовали адвокаты и старый Колосов.

«Уж если так галаганятся служащие, так сам-то Мосей Мосеич что сделает со мной? – не раз думал Брагин, почесывая в затылке. – Ах, пес их задери совсем!..»

В Бурнашах Гордей Евстратыч проболтался целых три дня, прежде чем выхлопотал себе у самого набольшего аудиенцию Мосея Мосеича. Принарядился Брагин в свое модное платье, которое привез из Нижнего, расправил подстриженную бороду и скрепя сердце отправился в гнездо к самому жидовину, Мосею Мосеичу. Аудиенция была назначена по белоглинскому времени в обед, то есть в двенадцать часов дня. К парадным дверям, швейцарам и разным антре Гордей Евстратыч уже

успел порядком привыкнуть, пока шатался по городским адвокатам, поэтому даже удивился, что и передняя, и приемная у Мосея Мосеича были гораздо попроще, чем у Спорцевадзе. Швейцар вызвал лакея, лакей доложил барину; провели гостя в самый кабинет к Мосею Мосеичу. Навстречу Брагину из орехового кресла поднялся шустрый красивый старик с седыми длинными усами и ласково заговорил.

– Гордей Евстратыч Брагин? Да? Слышал... Очень приятно познакомиться. Вот сюда садитесь... Или нет, пойдемте сначала кофе пить.

Брагин вспомнил, как в первый раз пил кофе у Головинского, и, набравшись смелости, проговорил:

– Уж какие нам кофеи, Мосей Мосеич... Я вот насчет дельца своего к вам. Не задержать бы вас своими пустяками... Куда уж нам, мужикам, кофеи распивать.

– У меня в доме все равны, – мягко заметил Жареный, прищуривая свои ласковые темные глаза, глядевшие насквозь. – Пойдемте. Знаете русскую пословицу: «В чужой мона-

стырь со своим уставом не ходят»?

Жареный был бодрый, хорошо сохранившийся старик с таким приветливым, умным лицом. Брагин чувствовал, что он теперь нисколько не боится этого жидовина Мосея Мосеича, который куда как приветливее и обходительнее своих набольших. И одет был Жареный простенько, по-домашнему, гораздо проще, чем одевался в Белоглинском какой-нибудь Вукол Шабалин. Он провел гостя через ряд парадных комнат в светлую столовую, где за накрытым столом уж сидели две дамы, какой-то мальчик и тот самый набольший, который устроил это свидание. Жареный отрекомендовал гостя дамам и сам усадил его на стул рядом с собой. Такое внимание жидовина даже обескуражило Гордея Евстратыча, особенно по сравнению с тем приемом, какой ему делал Порфир Порфирыч или Завиваев. Пока пили кофе, Жареный говорил за четверых и все обращался к гостю, так что под конец Гордею Евстратычу сделалось совсем совестно: он и сидеть-то по-образованному не умеет, не то что разговоры водить, особенно при дамах, которые по-своему все о

чем-то переговаривались.

– Я давно слышал о вас и рад с вами познакомиться, – не унимался Мосей Мосеич. – Както мы с вами не встречались нигде. Я, кажется, от старика Колосова слыхал о вас... Да. Отличный старик, я его очень люблю, как вообще люблю всех русских людей.

Писульку Колосова Гордей Евстратыч передал самому набольшему еще раньше. Этот самый набольший очень не по душе пришелся Брагину: черт его знает, что за человек – финтит-финтит, а толку все нет. И глаза у него какие-то мышиные, и сам точно все чего-то боится и постоянно оглядывается по сторонам. За столом самый набольший почти ничего не говорил, а только слушал Мосея Мосеича, да и слушал-то по-мышиному: насторожит уши и глядит прямо в рот к Мосеичу, точно вскочить туда хочет. Брагин думал, что после кофе они пойдут в кабинет и он там все обскажет Жареному про свое дело, зачем приехал в Бурнаши; но вышло не так: из-за стола Жареный повел гостя не в кабинет, а в завод, куда ходил в это время каждый день. Он держал себя, как и раньше, вежливо и пре-

дупредительно, объясняя и показывая все, что попадалось интересного. Обошли целый винный завод; побывали в том отделении, где очищали водку, и даже забрались в громадный подвал с рядом совсем готовых бочек, лежавших, как стадо откормленных на убой свиней. Гордей Евстратыч в первый раз был на винном заводе и в первый раз видел все процессы, как из ржи получалось зелено вино. Чаны с заторами, перегонные кубы, дистилляторы, бочки – везде была эта проклятая водка, которая окончательно погубила Брагина и которая погубит еще столько людей.

– Мы зайдем еще на конюшню, Гордей Евстратыч, – предлагал Жареный. – Да вы не устали ли? Будьте откровенны. Я ведь привык к работе...

– Нет, что вы, Мосей Мосеич, какое устал!..

– Мне хочется показать вам все свое хозяйство. Знаете, слабость у меня, старика... Извините уж.

Лошади у Жареного были все на подбор: целый завод, все тысячные рысаки. Даже Гордей Евстратыч залюбовался двумя вороными

жеребчиками: куда почище будут шабалинского серого.

– А теперь о деле побеседуем, – говорил Жареный, направляясь к дому. – Пока говорим, и обед поспеет.

Обхождение Мосея Мосеича, его приветливость и внимание заронили в душу Брагина луч надежды: авось и его дельце выгорит… Да просто сказать, не захочет марать рук об него этот Мосей Мосеич. Что ему эти двенадцать кабаков – плюнуть да растереть. Наверно, это все Головинский наврал про Жареного. Когда они вернулись в кабинет, Брагин подробно рассказал свое дело. Жареный слушал его внимательно и что-то чертил карандашом на листе бумаги.

– Что же вы хотите от меня, Гордей Евстратыч? – спросил Жареный, когда Брагин кончил.

– А я насчет того, Мосей Мосеич, что не будет ли вашей милости насчет моих-то кабаков… Что они вам: плюнуть, и все тут, а мне ведь чистое разоренье, по миру идти остается. Уж, пожалуйста, Мосей Мосеич…

– Не могу… – сжав плечи, проговорил Жа-

реный. – Нет, не могу. Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше…

Как ни бился Брагин, как ни упрашивал Жареного, даже на коленях хотел его умолять о пощаде, тот остался непреклонен и только в угоду старику Колосову соглашался взять на себя все двенадцать брагинских кабаков, то есть все обзаведение, чтобы не пропадало даром, – конечно, за полцены.

– Куда же вы, Гордей Евстратыч? – удивился Жареный, когда Брагин взялся за шапку. – А обедать?..

ГордейЕвстратыч как-то равнодушно посмотрел на Мосея Мосеича, махнул рукой и молча вышел из его кабинета: Жареный показался ему злее самого злого жидовина.

XXIII

Домой, в Белоглинский завод, Гордей Евстратыч вернулся почти ни с чем, исключая своей сделки с Жареным, которая могла в результате дать тысячи три-четыре. Михалко приехал вместе с отцом, а Архип остался в городе «пользоваться» от своей болезни. Об убеге Ариши рассказала Михалке сама Татьяна Власьевна с необходимыми пояснениями и прибавками, причем оказалось, что бабенку расстраивали родные, вот она и придумала штуку.

– Мы ее через полицию вытребуем, мамынька, – решил Гордей Евстратыч. – Михалко подаст заявление, и конец тому делу.

– А Дуня где? – спрашивал Михалко.

– Она погостить отпросилась к своим, да что-то прихворнула там... – лгала Татьяна Власьевна с самым благочестивым намерением. – Архип-то скоро приедет?

– Там дельце одно осталось, так он с ним позамешкался малость, – обманывал в свою очередь Гордей Евстратыч, не моргнув глазом. – Надо нам развязаться с этим треклятым

городом... Ну а мы Аришу-то подтянем, ежели она добра нашего не хочет чувствовать.

В брагинском доме теперь было особенно скучно и мертвенно, точно в доме был покойник. Всем чего-то недоставало, и всех что-то давило, как кошмар. Невестки, казалось, унесли с собой последнюю каплю того довольства и спокойствия, какое остается даже в разоренных домах. Разложение шло зараз извне и изнутри, и разрушающее действие этого процесса чувствовалось одинаково всеми, хотя Гордей Евстратыч и бодрился и сам сел торговать в батюшкину лавку. Он теперь был занят главным образом планом того, как добыть Аришу, и затем, как показать над ней свою родительскую власть. От погрома по винной части у Брагина еще осталось тысяч десять, о которых никто не знал, и на эти деньги он думал понемногу поправиться, а там, из-за дела, можно будет подсмотреть какую-нибудь новую штучку. Отведав легкой наживы, старик скучал своей панской торговлей, и его так и тянуло пуститься в какое-нибудь рискованное дело. Недостроенный дом тоже немало смущал Гордея Евстратыча, точно бельмо на

глазу: достраивать нечем, а продать за бесценок жаль. Да и совестно было перед другими, что затеял такую хоромину, а силенки и не прохватило; недостроенный же дом точно говорил всем о разорении недавнего тысячника Брагина.

Эти мысли и планы были нарушены приездом в Белоглинский завод плешивого старичка, который оказался адвокатом Масловым. Этот Маслов отыскал Гордея Евстратыча и предъявил ему целый ворох векселей, отчасти выданных самим Брагиным, а отчасти написанных по его доверенности Головинским. Об этих векселях Гордей Евстратыч как-то даже забыл совсем, а их набралось тысяч на пятнадцать, да притом платежи были срочные – вынь да положь. О переписке векселей старичок-адвокат и слышать не хотел. Положение выходило самое критическое; выбросить адвокату последние десять тысяч – значит живьем отдать себя, потому что, черт его знает, Головинский, может быть, там еще надавал векселей невесть сколько, а если не заплатить, тогда опишут лавку и дом и объявят банкротом. Думал-думал Гордей Евстратыч и

порешил сходить сначала к Шабалину, не выручит ли поручительской подписью на векселях. Но Шабалин отказался наотрез, ссылаясь на крайнее безденежье. Брагин толкнулся еще к двум-трем знакомым толстосумам – то же самое; он даже побывал у Пятова и о. Крискента, но и там тот же самый отказ. Очевидно, его торговый кредит рушился навсегда, и никто больше ему не верил.

– Когда так, то я объявляю себя несостоятельным, а там пусть судят! – решился Гордей Евстратыч на отчаянное средство. – Пусть все описывают...

– Наверно, у вас есть припрятанные денежки про черный день, – усовещивал Маслов, – а то ведь все пойдет с молотка за бесценок...

«Ишь, плешивая собака, носом чует последние денежки и хочет их вытормошить», – думал Брагин и остался при своем решении.

Теперь Гордей Евстратыч боялся всех городских людей как огня и по-своему решился спасти от них последние крохи. Он начисто объяснил свое положение дел Татьяне Власьевне, а также и то, что адвокаты выжмут из него всеми правдами и неправдами послед-

ние денежки, поэтому он лучше отдаст их на сохранение ей: со старухи адвокатам нечего будет сорвать, потому какие у ней могут быть деньги.

– А ты их припрячь, мамынька, да хорошенько припрячь, – учил Гордей Евстратыч, – после пригодятся. На твое имя откроем какую-нибудь торговлишку или на Нюшу. Не все же будем бедовать...

– Да страшно, милушка... У меня этаких денег и в руках отродясь не бывало!

– Ты только спрячь, мамынька, и делу конец. Никому не сказывай...

Татьяна Власьевна взяла деньги, завязала их в узелок и с молитвой запрятала их туда, куда умеют прятать только одни старушки. Но с этими деньгами она взяла на плечи такое бремя, которое окончательно придавило в ней живого человека: старухой овладели какой-то не прерывавшийся ни на минуту страх и подозрение ко всем окружающим. Она даже начала бояться Нюши: не сторожит ли та ее? Она не знала покоя ни днем ни ночью и даже вздрагивала, когда где-нибудь стукнет. Ценные вещи, как серебро и разные наряды, в

ожидании описи Татьяна Власьевна тоже успела попрятать по разным укромным уголочкам. Она теперь походила на мышь, которую в ее собственной норе медленно начинает заливать подступающая вода. Спрятанные сокровища мучили старуху, как мучит преступника его преступление, и она сотни раз передумывала, как бы лучше скрыть от всех глаз свои деньги. Иногда в самую полночь ей вдруг приходило в голову, что она совсем не так спрятала, как следовало бы, и эта мысль гнала ее на двор, где она торопливо перепрятывала заветный узелок с деньгами. Расстроенное воображение рисовало Татьяне Власьевне самые ужасные картины расхищения своих богатств, и она часто просыпалась с холодным потом на лбу. Вместе со страхом росло в старухе чувство старческой жадности. Ей начинало казаться, что она ужасно много тратит денег на себя, и в видах экономии она убавляла поленья дров, нарезывала хлеб к обеду тоненькими ломтиками и походя ворчала на кривую Маланью, подозревая ее в тайных замыслах на хозяйское добро.

– Теперь ведь не прежняя пора… – брюзжа-

ла Татьяна Власьевна, как давший трещину колокол. – Пожалуй, этак наскрозь проедимся.

– Мамынька, уж ты тово... – замечал иногда Гордей Евстратыч, когда ему надоедало ворчанье старухи. – Прежде смерти не умрем.

– Нет, милушка, так нельзя, без понятия-то. Кабы раньше за ум хватились да не погнались за большим богатством, не то бы было... Вот выгонят из батюшкина дома, тогда куды мы денемся? Не из чего прохарчиваться-то будет уж.

Последствия протеста векселей не замедлили обнаружиться. В Белоглинский завод явился судебный пристав окружного суда и произвел опечатание лавки и всего имущества в брагинском доме; хотя брагинская семья была подготовлена к этому событию, но самый акт, обставленный известными формальностями, произвел на всех самое тяжелое и удручающее впечатление. Этот чиновник в мундире являлся чем-то вроде карающей руки беспощадной судьбы и той нужды, которая в первый раз постучалась в старый батюшкин дом. Красная казенная печать точ-

но отметила собой первые жертвы. Конечно, опечатано было только имущество самого Гордея Евстратыча, а имущество других членов семьи осталось нетронутым, но, во-первых, как было различить это имущество, а во-вторых, при патриархальном строе брагинской семьи, собственно, все принадлежало хозяину, так что на долю сыновей, Нюши и Татьяны Власьевны осталось только одно платье да разный домашний хлам. Знакомые советовали Брагину до описи вывезти свой товар из лавки, а также что было получше в доме, как новая мебель, ковры, посуда и т. п. Но Гордей Евстратыч не захотел так делать, как делают все другие банкроты, и упрямо отвечал на такие советы одной фразой:

– Нет, этого не будет: пусть зорят...

Во время описи он сам помогал приставу и указал на вещи, которые тот хотел не заметить.

– Нет, уж, пожалуйста, все печатайте, чтобы все форменно было, – говорил Гордей Евстратыч.

Такое поведение особенно огорчало Татьяну Власьевну, хотя она и не смела открыто

«перечить» милушке, потому что он, очевидно, что-то держал у себя на уме. Михалко и Нюша присутствовали при этом, тоже относились ко всему как-то безучастно, точно эта опись их совсем не касалась.

– Кажется, все? – спрашивал пристав, когда все вещи были занесены в список и занумерованы.

– Теперь все чисто... – ответил Брагин с каким-то особенным злорадством, точно он радовался описи.

Пристав, толстенький добродушный господин, от души пожалел брагинскую семью, но, конечно, от себя ничем не мог помочь. Татьяна Власьевна, сохраняя исконный завет, угостила чиновника своей стряпней и оставшимися от прежнего богатства закусками и винами; в этом случае она победила одолевавшую ее скупость и на мгновение превратилась в прежнюю тароватую хозяйку, для которой гость составляет нечто священное. Это добродушие тронуло выпившего чиновника, и он еще раз пожалел, что Гордей Евстратыч не принял некоторых мер для предупреждения описи, как это делают другие.

– Дело житейское, – объяснил он. – Можно было бы любую половину припрятать, а после пригодилось бы про черный день...

– Нет уж, зачем же, ваше благородие, – отвечал Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Оно уж одно к одному...

– Как одно к одному?

– А так... Чтобы форменно было, ваше благородие. Зачем добрых людей обманывать.

Чиновник только пожал плечами. Поблагодарив за угощение, он отправился в обратный путь.

Наступившее лето прошло в хлопотах по делу о банкротстве. Приезжали какие-то чиновники из города, проверяли опись, выспрашивали, вынюхивали и отправлялись восвояси. Гордей Евстратыч тоже несколько раз ездил в город, куда его вызывали повесткой из окружного суда. Дело шло быстро к своей законной развязке. В последнюю свою поездку Брагин привез из города Архипа, который только что был выпущен из больницы: от прежнего красавца-парня осталась одна тень, так что Татьяна Власьевна в первую минуту даже не узнала своего внука. Лицо у Архипа

было серое, волоса на голове вылезли, нос куда-то исчез, глаза с опухшими красными веками слезились, как у старика.

– Ну, мамынька, теперь мы совсем чисты будем, – объявил Гордей Евстратыч, – укцион будет... Все по молотку продадут.

Брагин как-то странно относился ко всему происходившему, точно он радовался, что наконец избавится от всех этих вещей с красными печатями, точно они были запятнаны чьей-то кровью. Он жалел только об одном, что все эти передряги мешали ему расправиться настоящим образом с убежавшими невестками, которые и слышать ничего не хотели о возвращении в описанный брагинский дом. Особенно хотелось расправиться старику с Аришей.

– Вот только нам с этим укционом развязаться, – говорил Гордей Евстратыч в своей семье, – а там мы по-свойски расправимся с этими негодницами... На все закон есть, и каждый человек должен закону покориться: теперь я банкрут – ну, меня с укциону пустят; ты вышла замуж – тебя к мужу приведут. Потому везде закон, и супротив закону ничего

не поделаешь... Разве это порядок от законных мужей бегать? Не-ет, мы их добудем и по-свойски разделаемся...

Наступил и день аукциона, о котором за две недели было оповещено печатными объявлениями, расклеенными в волости и на рынке. Одно такое объявление Гордей Евстратыч своими руками прибил на гвоздики к воротной верее. Опять приехал толстенький пристав с своим писарем и остановился прямо в брагинском доме, в Зотушкином флигельке, где год назад квартировал Головинский. Всего какой-нибудь год, и сколько воды утекло за это время... Гордей Евстратыч совсем поседел и часто повторял про себя в каком-то раздумье одну фразу: «Да, чисто разделали вы нас, Владимир Петрович... В полгода все оборудовали!» Это была насмешка над собственной глупостью и простотой, как умеет смеяться только один русский человек, когда он попадет в безвыходное положение.

С раннего утра в день аукциона в брагинском доме со всех сторон сходился народ – одни, с деньгами в кармане, поживиться на чужой счет, другие просто поглядеть. В батюш-

киных горницах теперь суетилась густая толпа, с жадным любопытством осматривавшая опечатанные вещи и делавшая им свою оценку. Одни с соболезнованием покачивали головами и жалели, что столько добра за бесценок пойдет, а большинство думало только о себе, облюбовывая что-нибудь подходящее. Народ был все знакомый: заводские служащие, свой брат торговец и прасолы, богатые мастеровые и т. д. Особенно много было женщин, накинувшихся на аукцион, как саранча. Они галдели, как на рынке, смеялись и каждую вещь непременно старались пощупать, не доверяя глазам. В этих глазах светилось столько проснувшейся жадности поживиться чужим добром, захватить в свою долю дешевого товару, – благо никому запрету нет. В числе других шумела и толкалась бойкая Марфа Петровна, успевшая рассказать по десяти раз историю, цену и достоинство каждой вещи, – недаром она столько лет была в этом доме своим человеком. Гордей Евстратыч ходил тут же, здоровался с знакомыми с деловым видом и показывал назначенные в продажу вещи. Когда явился пристав и сел за сто-

лом с молотком в руках, толпа стихла и с напряженным вниманием ловила каждое движение неторопливо распоряжавшегося чиновника.

– Ореховая мебель, новая, малоподержанная, с голубой репсовой обивкой, – читал пристав с казенной интонацией свою опись, поправляя на груди свой значок. – Оценена сорок рублей.

В толпе легкое движение. Кряжистый подрядчик с опухшей физиономией пробирается вперед и накидывает полтину. Его соперником явился заводский надзиратель. После нескольких надбавок мебель, заплаченная сто двадцать рублей, пошла за сорок два с полтиной. В отворенных дверях стояла Татьяна Власьевна и следила за всем происходившим с тупой болью в сердце; она теперь от души ненавидела и надзирателя, и этого подрядчика, который купил мебель за треть цены. За мебелью пошла посуда, на которую с особенным азартом накинулись женщины, потом платье – шубы, пальто, белье. Эти вещи были проданы чуть не по настоящей цене, бабы брали с бою всякий хлам. Когда очередь

дошла до экипажей, лошадей и коров, денежная часть публики опять заволновалась и придвинулась ближе к столу. Все это пошло за бесценок, как на всех аукционах. Кривая Маланья тихо хныкала в своей кухне по пестрой телочке, которую выкармливала, как родную дочь; у Гордея Евстратыча навернулись слезы, когда старый слуга Гнедко, возивший его еще так недавно на Смородинку, достался какому-то мастеровому, который будет наваливать на лошадь сколько влезет, а потом будет бить ее чем попало и в награду поставит на солому. И будет лезть из кожи старый Гнедко, особенно в гололедицу, будет дрожать на морозе где-нибудь у кабака, пока хозяин пьянствует с приятелями.

Скоро из брагинских горниц народ начал отливать, унося с собою купленные вещи. Женщины тащили узлы с платьем, посуду, разный хлам из домашности, а мужчины более тяжелые вещи. Подрядчик мигнул знакомым мастеровым, а те весело подхватили ореховую мебель, как перышко, – двое несли диван, остальные – кресла и стулья. Гордей Евстратыч провожал их до дверей и даже по-

здравил подрядчика с покупочкой.

– У нас уйдет, Гордей Евстратыч, – хрипло ответил подрядчик, надевая на голову картуз. – Когда лавку-то потрошить будете?

– Да, видно, завтра придется...

Гордею Евстратычу совсем было не жаль новых вещей, купленных им во время богачества, но, когда понесли батюшкину старинную мебель и батюшкину чайную посуду, сердце у него дрогнуло. Новые вещи, как новые друзья, наживное дело, а вот старинного, батюшкина добра жаль до смерти, точно каждая щепка приросла к сердцу. Да и как было не жалеть этих старых друзей, с которыми было связано столько дорогих воспоминаний: вон на этом стуле, который волокет теперь по улице какая-то шустрая бабенка в кумачном платке, батюшка-покойник любил сидеть, а вот те две чашки, которые достались жене плотинного, были подарены покойным кумом... Друзья уходили, а в брагинских комнатах, точно после пожара, водворилась печальная пустота, а пол был покрыт сором и следами сотни ног.

На распродажу товаров в лавке народу на-

бралась тьма, так что пробиться к прилавку, за которым стоял пристав с своим молотком, представлялись почти непреодолимые затруднения. Большинство составляли, конечно, женщины, походившие сегодня на сумасшедших, простые бабы и жены служащих в заводе были воодушевлены одними желаниями. У самого прилавка стояла толстая попадья, которую давили со всех сторон, но она стоически выдерживала это испытание и только вытирала платком вспотевшее красное лицо. Бабенки попроще немилосердно работали локтями и даже головой, продираясь вперед, и начинали бойкую ругань между собою, встречая отпор. В числе других были и Матрена Ильинична, и Агнея Герасимовна, и Пелагея Миневна с Марфой Петровной; идти на аукцион в брагинский дом они посовестились и должны были произвести покупки через Марфу Петровну, зато теперь они могли вдосталь отвести душеньку. Панский батюшков товар шел за пятую часть цены, и материю расхватывали штуками: особенно дешево сошли самые дорогие ситцы, шерстяные материи и сукна. Гордей Евстратыч присут-

ствовал на аукционе и все время смотрел, как обезумевшие бабенки рвали батюшкин панский товар; он видел и Матрену Ильиничну, и Агнею Герасимовну, которые набирали лучшие куски. Мелькнуло в толпе знакомое лицо шабалинской Варьки, которая совсем не нуждалась в дешевом товаре, а толкалась просто из любви к искусству. Жажда легкой наживы слила всех женщин в одно громадное целое, жадно глядевшее сотнями горевших глаз и протягивавшее к прилавку сотни хватавших рук, точно это было какое мифическое животное, разрывавшее брагинскую лавку на части. Что-то было страшное и безжалостное в этой толпе, которая с наслаждением разносила чужое богатство.

«Пусть все берут… все начисто!» – думал Гордей Евстратыч, продолжая наблюдать, как из батюшкиной лавки панский товар уплывал широкой пестрой волной.

– Тащите, зорите все, – шептал Брагин и улыбался страшной озлобленной улыбкой. – Обрадовались… Ха-ха!

Домой он вернулся с аукциона все с той же улыбкой, точно он сделал какое-то неожидан-

ное открытие, которое приятно изумило его самого. Все тлен, все пустяки, и везде ложь, – вот общий вывод, к которому он приходил. Что жаловаться на Головинского или Жареного, когда свои старые дружки все отвернулись от Гордея Евстратыча, как только заслышали о его разорении... А теперь вон послали баб рвать остатки!.. Развязавшись с своим имуществом, Брагин точно почувствовал самого себя лучше, по крайней мере мог видеть бездну мерзостей, которая поглотила его.

– Мамынька, чисто все!.. – объявил матери Гордей Евстратыч и опять засмеялся. – Теперь только новый дом остался один. Его, сказывают, Шабалин присматривает...

Действительно, продажа товара из лавки и домашних вещей едва покрыла только часть долга. Оставалось еще доплатить тысячи две. Чтобы достать эту сумму, объявлены были торги на недостроенный брагинский дом, который на переторжке и остался за Вуколом Шабалиным; он стоил Брагину тысяч восемь, а ушел за тысячу восемьсот рублей, причем Шабалин еще хвастался, что этой покупкой хотел вызволить старого благоприяте-

ля. Оставались несчастные двести рублей, для уплаты которых приходилось продавать старый брагинский дом, но уж тут даже у адвоката рука не повернулась, и он позволил Гордею Евстратычу переписать один вексель.

– Теперь чисто, мамынька, – говорил Брагин, когда все эти передряги кончились. – Надо и о себе подумать. Наживали долго, промотали скоро... А греха-то, греха-то, мамынька... Сызнова придется начинать, видно, всю музыку, торговлишку и прочее.

В Гордее Евстратыче под давлением этих испытаний произошла громадная перемена, точно он стряхнул с себя вместе с богатством все одолевавшие его недуги, хотя прежнего Гордея Евстратыча уже не было. Умудренный и просветленный опытом, он все-таки не мог вернуть назад прежнего спокойствия. Самые беспокойные мысли одолевали его; он часто не спал по ночам и подолгу молился в своей горнице. Собственная неправда теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью; но прошлого не воротить, а впереди было темно, и Гордей Евстратыч точно ждал какой-то новой беды, которая окончательно до-

конает его, хотя теперь и бед ждать было неоткуда. Раз Брагин позвал к себе в горницу Татьяну Власьевну и спросил ее, куда она спрятала деньги, которые он отдал ей на сохранение.

– Какие деньги, милушка? – удивилась старуха.

– Как какие? А десять тысяч, мамынька...

Татьяна Власьевна сделала удивленное лицо, пожевала своими сухими губами и, разведя руками, кротко проговорила:

– Ты обмолвился, видно, милушка. Никаких я денег от тебя не бирала, окромя как по хозяйству...

– Мамынька, Христос с тобой!.. Да ты припомни: я тебе отдал деньги спрятать, а ты их еще в узелок завязала... Десять тысяч.

– Может, ты Владимиру Петровичу их отдал, а я не упомню, милушка...

Гордей Евстратыч вскочил с места, как ужаленный, и даже пощупал свою голову, точно сомневался в своем уме. А Татьяна Власьевна стояла такая спокойная, глазом не моргнет, и по-прежнему с изумлением смотрела на сына.

– Да ты шутишь, милушка? Ежели бы у тебя были такие деньги, так не стал бы с укциону все за бесценок спущать…

– Мамынька!.. И ты как все… О господи!.. Мамынька, очнись!..

Несмотря ни на какие уговоры и увещания Гордея Евстратыча, Татьяна Власьевна заперлась на своем и не хотела ни в чем сознаться.

«Это в ней Маркушкино золото заговорило», – подумал Брагин, не веря еще своим глазам.

Он раскрыл рот и что-то хотел сказать матери, но в этот самый момент свалился на пол и только захрипел.

Ночью Гордей Евстратыч умер.

XXIV

После смерти Гордея Евстратыча брагинский дом совсем опустел и точно замер. Татьяна Власьевна перенесла потерю сына с христианской твердостью и с христианской же твердостью делалась все скупее и скупее, ко всем придиралась, ворчала и брюзжала с утра до ночи, так что на всех нагоняла смертную тоску. Посторонние люди теперь редко заглядывали к Брагиным, да и те, кто приходил, были не рады, потому что Татьяна Власьевна всех одолевала жалобами на свою бедность. Скупость старухи доходила до смешного, так что она всю семью просто сморила голодом. Даже кривая Маланья и та потихоньку ворчала в своей кухне, прожевывая свою корочку черного хлеба, которой ее же и попрекали. С раннего утра Татьяна Власьевна поднималась на ноги и целый день бродила по дому, как тень, точно она все чего-то искала или кого-то поджидала.

– Совсем наша старуха рехнулась, – говорила Маланья, – чего шатуном-то бродит по горницам как зачумленная... Прости ты меня,

Господи!..

Теперь во флигельке опять поселился Зотушка и занялся разным мастерством: стряпал пряники, клеил какие-то коробочки, делал ребятишкам свистульки – все это продавал и деньги сполна отдавал матери. «Источник» пригодился семье в самую трудную минуту и почти один прокармливал семью своими художествами, потому что Михалко и Архип проживались в Белоглинском без всякого дела и вдобавок пьянствовали. Пьяный Михалко каждый раз исправно отправлялся к Колобовым, требовал Аришу и производил какой-нибудь скандал, а раз даже выбил все стекла в окнах. Впрочем, последняя штука была придумана Володькой Пятовым, который тоже болтался теперь в Белоглинском заводе, по обыкновению, без всякого дела и постоянно подбивал Михалку добывать жену, как еще советовал покойный Гордей Евстратыч. Михалко несколько раз ходил в волость и требовал, чтобы привели ему жену силой. Может быть, при самом Гордее Евстратыче и можно было устроить такой «оборот», но теперь волостные только подсмеивались над

ругавшимся Михалкой. Колобовы были люди сильные и влиятельные, и против них идти было трудно. Архип даже не пытался воротить жену и скоро исчез куда-то на прииск, куда его отрекомендовал Шабалин.

Между тем по Белоглинскому заводу ходили самые упорные слухи, что Брагины обанкротились только для видимости, а деньги скрыли и теперь только прикидываются бедными, чтобы отвести глаза. Этому верили даже такие люди, которые слыли самыми обстоятельными и рассудительными. Когда о. Крискента спрашивали об этом щекотливом обстоятельстве, он, застегивая и расстегивая пуговицы своего подрясника, выражался очень уклончиво и говорил больше о том, что Гордей Евстратыч по церкви отсчитался начисто, хотя конечно, и т. д. Главным источником, откуда расходились эти слухи, являлся шабалинский дом. Вукол Логиныч не стеснялся и всем говорил:

– Известная вещь: деньги у старухи, вон она как пришипилась. Ежели бы я до нее имел касательство, так небось все бы отдала. Знаем мы, какая такая ихняя бедность! Побо-

гаче нас будут... Спасенная-то душа не глупее нас с вами, хоть кого проведет. Только понапрасну она деньги сгноит, вот чего жаль.

Варвара Тихоновна вполне разделяла мысли своего сожителя и постоянно настраивала Михалку против бабушки. Этой потерянной женщине нравилось этим путем донимать спасенную душу, отплачивая с лихвой за то презрение, с каким Татьяна Власьевна всегда относилась к «шабалинской наложнице». Михалко с своим другом Володькой Пятовым часто бывали теперь в шабалинском доме, особенно когда не было налицо самого Вукола Логиныча. Варвара Тихоновна не прочь была разыграть роль настоящей хозяйки дома, и она принимала молодых людей с такой же непринужденностью, как и «настоящие дамы», хотя и неоднократно была бита за такое «мотовство» пьяным Вуколом Логинычем. Эти бурные сцены обыкновенно заканчивались примирением, и Варвара Тихоновна еще успевала выпросить себе какой-нибудь ценный подарок, а за синяками и зуботычинами она не гналась, хотя всегда и высказывала очень логично ту мысль, что ведь она не за-

конная жена, чтобы ее полосовать как корову.

– А ты прямо на горло наступи старухе, – учила Михалку Варвара Тихоновна. – Небось отдаст деньги, если прижать ей хвост-то. Чего смотреть ей в зубы-то. Все в голос кричат, что Татьяна Власьевна спрятала деньги. Уж это верно, как в аптеке...

В одно прекрасное утро, после очень веселой ночи в шабалинском доме, Михалко отправился в сопровождении Володьки Пятова к бабушке, чтобы наступить ей на горло. Обоим было с похмелья, а Варвара Тихоновна для пущей бодрости не дала и опохмелиться. Лицо у Михалки было красное и опухшее, глаза налиты кровью, волосы взъерошены; Володька Пятов был не лучше и только ухмылялся в ожидании предстоящего боя со старухой. У него так руки и чесались на всякий скандал, а тем более на такой скандал, в результате которого могли получиться даже деньги. Михалко шел к родительскому дому в угрюмом молчании, потому что побаивался строгой бабушки, которая, чего доброго, еще бок, пожалуй, наколотит. В нем говорило то чувство

инстинктивного страха, которое он усвоил еще с детства к большим. Брагинская семья держалась старинных правил, и большаки не давали потачки молодятнику. Молодые люди, не снимая шапок, ввалились прямо в горницы, где была одна Нюша, и немного замялись для первого разу.

– Нам бы, Анна Гордеевна, бабушку Татьяну повидать... – начал первый Володька Пятов, раскланявшись с девушкой со всяким почтением, как прилично галантерейному молодому человеку.

Нюша сразу заметила по лицам обоих друзей, что они пришли не с добром, и попробовала спасти бабушку тем, что не сказала ее дома.

– Врешь, Нютка!.. – хриплым голосом оборвал ее Михалко, пошатываясь на месте. – Ты заодно с бабушкой-то, а у нас до нее дело есть.

Нюшу из неловкого положения выручила сама бабушка Татьяна, которая в этот момент вошла в горницу. Старуха прищуренными глазами посмотрела на замявшихся при ее появлении молодых людей и сухо спросила Михалку:

– Ты что это, милушка, спозаранку шары-то налил? [2]От какой это радости пируешь?.. Мы тут без хлеба сидим, а он винище трескает…

– А ты, бабушка Татьяна, не больно тово… – вступился Володька Пятов, чтобы придать бодрости пятившемуся Михалке. – Мы ведь к тебе по делу пришли…

– Какое такое дело у вас может быть, прохвосты вы этакие! – закричала Татьяна Власьевна. – Да я вас в три шеи отсюдова. Вот позову Маланью да кочергой как примусь обихаживать, только щепы полетят.

– А ты, бабушка, в самом деле не больно тово… не шеперься, – заявил с своей стороны Михалко, не желая показать себя трусом пред улыбавшимся приятелем. – Мы насчет денег пришли, тятенька которые оставил… Да! Уж ты как хочешь, а деньги подавай. Верно тебе говорю…

Вместо ответа, Татьяна Власьевна, собрав остатки своих дряхлых сил, не с старческой живостью вцепилась в волоса Михалки обеими руками и принялась его таскать из стороны в сторону, как бабы вытаскивают из гряды

куст картофеля или заматеревшую редьку. Михалко совсем оторопел от такого приема и даже не защищался, а только мотал своей головой, как пойманная на аркан лошадь.

– Бабушка… а ты все-таки подда-ай деньги-то!.. – выкрикивал Михалко, продолжая мотать головой. – Верно тебе говорю… тятенькины ведь деньги-то!..

– Вот тебе тятенькины деньги, непутевая твоя голова!.. Вот тебе тятенькины деньги-то…

Растерявшийся Володька Пятов, привыкший к настоящему галантерейному обращению, стоял разинув рот и даже попятился к дверям, когда Татьяна Власьевна выразила явные признаки непременного желания познакомиться и с его кудрявой шевелюрой.

– Постой, шатун, я и до тебя доберусь!.. – кричала расходившаяся старуха, наступая на Пятова. – Давай-ка сюды свою-то пустую башку, я тебе расчешу кудри-то…

Попытка наступить на горло старухе и добыть от нее тятенькины деньги кончилась тем, что молодые люди обратились наконец в постыдное бегство, так что даже Нюша хохо-

тала над ними до слез. Через несколько дней Михалко с Пятовым повторили свою попытку, но на этот раз Татьяна Власьевна просто велела Зотушке затворить ворота на запор.

– Подавай тятенькины деньги, старая грымза! – ругался Михалко, стуча в ворота палкой. – Мы тебя ужо так распатроним...

Скандал вышел на всю улицу, и, как в тот раз, когда в брагинские ворота ломился Самойло Михеич, опять в окнах пазухинского дома торчали любопытные лица, и Старая Кедровская улица оглашалась пьяными криками и крупной руганью.

Татьяна Власьевна, собственно, Михалка и Пятова не боялась ни на волос, но ее беспокоило то, что все толкуют о припрятанных тятенькиных деньгах. Значит, подозревают главным образом ее, и поэтому будут следить сотни глаз за каждым ее шагом, а потом, чего доброго, еще подпустят к ней каких-нибудь воров. Старуха тряслась как в лихорадке при одной мысли о возможности потерять свое сокровище и сделалась еще осторожнее и подозрительнее. С другой стороны, ведь про всех банкротов болтают всегда одно и то же,

то есть о спрятанных деньгах, – значит, на такую болтовню и внимания обращать не стоит, благо никто не знал о том, как покойный милушка передавал ей деньги. В видах осторожности Татьяна Власьевна перевела Зотушку из флигелька в батюшкин дом и поместила его рядом с своими горенками; «источник» перетащил за собой все свои художества и разложил их по разным полкам и полочкам, которые умел прилаживать с величайшим искусством. Тут были и птичьи западни, и начатая вязать мережка, и коллекция пищиков и дудочек для приманки птицы, и какие-то разноцветные стеклышки, лежавшие в зеленой коробочке вместе с стальным заржавевшим пером и обломком сургуча, и та всевозможная дрянь, которой обыкновенно набиты карманы ребят. Зотушка и походил на ребенка в своей детской обстановке и по целым часам был занят обдумыванием самых остроумных комбинаций, при помощи которых из окружающей его дряни получались разные мудреные диковинки. Собственно говоря, в своей странной детской работе старик являлся не ремесленником, а настоящим ху-

дожником, создававшим постоянно новые формы и переживавшим великие минуты вдохновения и разочарования – эти неизбежные полюсы всякого творчества. Вероятно, в силу своих художественных задатков Зотушка и пил иногда горькую чашу, как это делают и заправские художники.

Перемену в матери и истинные причины такой перемены Зотушка знал и видел раньше других и с тем прозорливым инстинктом, который ему открывал многое. Конечно, у матери были деньги, в этом Зотушка не сомневался, и эти деньги были не батюшкины, а именно от проклятой Маркушкиной жилки, которая всю брагинскую семью загубила. Зотушка знал, что эти деньги появились у матери еще очень недавно и что они ее мучат и денно и нощно.

«Помутила нашу старуху Маркушкина жилка, – раздумывал про себя Зотушка, выстрагивая перочинным ножичком тонкую березовую зелинку для новой клетки. – Еще будет грех с этими деньгами... Фенюшку загубили жилкой, братец Гордей Евстратыч от нее же ушли в землю, племяши совсем замота-

лись, как чумные телята... Ох-хо-хо!.. Ох, неладно, мамынька, ты удумала!»

Много раз Зотушка думал поговорить с мамынькой по душе, но все откладывал, потому что все равно никакого бы толку из этого разговора не вышло, и Зотушка ограничивался только разными загадками и притчами, которые при случае загадывал старухе. Между прочим, он особенно любил петь в длинные зимние вечера стих об «убогим Лазаре»: пусть, дескать, послушает старуха и мотает себе на ус. Но старуха и не думала слушать пение Зотушки, зато слушала его Нюша – придет с какой-нибудь работой в Зотушкину горенку, сядет в темный уголок и не шевелится, пока Зотушка дребезжащим голосом тянет свой заунывный стих, переливавшийся чисто монашескими мелодиями.

Между Нюшей и Зотушкой быстро установились самые короткие отношения, хотя между собой они разговаривали очень мало. Это было безмолвное соглашение, стороны читали между строк и отлично понимали друг друга. Раньше такого сближения не могло произойти из-за разницы возрастов, а те-

перь Нюша, умудренная горем, доросла вдруг до философского воззрения Зотушки на жизнь. И по наружности она мало походила на девушку, а скорее на молодую женщину; высокая, бледная, с тонким лицом, потерявшим девичью округлость линий, с матовой, почти прозрачной кожей, она точно перенесла одну из тех мудреных болезней, которые разом перерождают человека. Особенно хороши были у Нюши глаза – темные, глубокие, блестящие, они точно сделались больше и смотрели таким просветленным тихим взглядом, как у монахини. Даже Зотушка иногда любовался на свою племянницу и от души жалел ее, зачем такая красота вянет и сохнет в разоренном дому, который женихи будут обегать, как чуму.

– Зотушка, спой тот стих, помнишь, про старца? – просила однажды Нюша работавшего дядю.

Зотушка ничего не ответил, а, поискав что-то в своих коробочках, затянул стих, который так любила еще покойная барышня – Феня:

И-идет старец по-о-о до-ро-о-оге-е!..

Черноризец до по широ-о-окой!..
Навстречу ему сам Господь Бог:
«О чем ты, старче, слезно плачешь?
Да и о чем ты возрыдаешь?» —
«Как мне, старцу, жить да не плакать:
Одолели меня злые мысли...»

– Я в скиты уйду, Зотушка, – проговорила Нюша, когда стих кончился.

– Погоди, не торопись, голубка... Мало ли что бывает: может, и другие мысли в голове заведутся вместо скитских-то. Не все же нам беду бедовать...

– Нет, Зотушка, я замуж не пойду. На других глядеть тяжело, не то что самой век маяться... Вон какие ноне мужья-то пошли, взять хоть Михалку с Архипом! Везде неправда, да обман, да обида... Бабенок жаль, а ребятишек вдвое.

– Ах, голубка, голубка... Разве Михалко да Архип такие бы были, если бы не подвернулась эта Маркушкина жилка? От нее все, весь грех – все от нее. Вон бабушка-то какая ноне ходит, точно угорелая...

– Зачем ты такие слова говоришь, Зотушка?

– А потому и говорю, что надо такие слова говорить. Разе у меня глаз нет? О-ох, грехи наши, грехи тяжкие!.. Эти деньги для человека все одно что короста или чирей: болеть не болят, а все с ума нейдут.

– У бабушки-то какие деньги? Что ты, Зотушка, Христос с тобой...

– Ну-ну, не прикидывайся... Сама давно, поди, примечаешь, да только молчишь. И я тоже молчу, а тебе скажу.

Действительно, Нюша думала именно так, как говорил Зотушка, хотя боялась в этом признаться даже самой себе и теперь невольно покраснела, как пойманная. Но Зотушка сделал вид, что ничего не замечает, и затянул своего убогого Лазаря, который, покрытый струпьями, лежал у дверей ликовавшего в своих палатах богача.

«Неужели бабушка действительно утаила тятенькины деньги?» – думала девушка, слушая Зотушкин стих.

Вообще в брагинском доме катилась самая мирная жизнь, смахивавшая на монастыр-

скую; скоро все к ней привыкли настолько, что прошлое начало казаться каким-то тяжелым сном. Но это мирное существование скоро было нарушено появлением Алены Евстратьевны, которая перед Рождеством нарочно приехала проведать родных. Она была очень больна последние полгода и поэтому не могла приехать раньше. Первым делом, конечно, Алена Евстратьевна расплакалась и растужилась о покойном братце Гордее Евстратыче и своими причитаниями навела на всех такую тоску, хоть беги вон из дому. Особенно жалилась Алена Евстратьевна над Нюшей и оплакивала ее, как мертвую.

– Что это вы, тетенька, так убиваетесь обо мне, – удивлялась Нюша, – проживем помаленьку с бабушкой.

– А когда бабушка умрет, Нюша, тогда что? Вот то-то и есть... Твое девичье дело, куда ты денешься?.. Молоденькая да хорошенькая – не в монастырь же идти. Ох, не в пору вздумал братец умирать, надо бы тебя было сначала пристроить. Уж так нехорошо, так нехорошо!.. Как услышала я о смерти братца, так у меня сердце кровью и облилось... и братца-то

жаль, а тебя, горюшку, вдвое!.. С этого самого еще пуще расхворалась. Думала, уж и на ноги не встану, а вот Бог еще привел свидеться. Хоть погорюем вместе, все же оно легче. Все ведь, поди, от вас теперь отвернулись? Это уж всегда так бывает: к богатым, как к меду, льнут, а от бедных бегут. А вот своя-то кровь, Нюша, и скажется... Ведь не чужие вы мне, вот я и скрутилась к вам. Дома-то растворено-незамешано, еще еле на ногах брожу, а сама к вам. Все сердечушко изболелось, думаю, хотя погляжу на них. И такая меня тоска взяла, такая тоска.

Алена Евстратьевна навезла из Верхотурья всякого припасу: муки, рыбы, меду, соленых грибов и сушеных ягод. Все это она сейчас же передала матери и скромно заметила, что «ваше теперь сиротское дело, где уж вам взять-то, а я всего и захватила с собой на всякий случай...».

– Спасибо, спасибо, что не забываешь нас, – благодарила Татьяна Власьевна, прибирая кульки, мешочки и бураки с разным припасом. – Наше дело куды какое небогатое, хоть по миру идти, так в ту же пору...

– Что вы, мамынька!.. А я-то на что? Хоть вы на меня прогневались тогда, ну, да я все забыла! Была и моя вина... Думаю, хоть теперь старушку покоить буду.

Татьяна Власьевна была рада неожиданной помощи, но ни одному слову модницы не верила и часто смотрела на нее испытующим оком. Зотушка тоже всполошился и, наговорив моднице колкостей, перебрался в свой флигелек со всем своим мастерством.

– Уж недаром прилетела наша жар-птица, – ворчал старик про себя, приколачивая свои полочки к покосившимся стенам флигелька. – Ишь, как она глазищами-то шмыгает по всему дому... Ох, неладно, больно неладно!.. Какую-нибудь моду привезла опять с собой наша Алена Евстратьевна.

«Наверно, об деньгах наслышалась – вот и пригнала, не пронюхает ли что на свою долю, – соображала Татьяна Власьевна, наблюдая свою модницу. – Только это уж вы, Алена Евстратьевна, даже совсем напрасно беспокоились...»

Сама Алена Евстратьевна и виду не показывала, что замечает что-нибудь, и только

все льнула к Нюше и так обошла своими ласковыми речами девку, что та поверила и ее горю по братце, и слезам, и жалобным словам, какие умела говорить модница. Бабушка Татьяна была стара для Нюши, притом постоянно ворчала да охала; Зотушка был какой ни на есть мужчина, а тетенька Алена Евстратьевна была женщина, и ее женское участие трогало Нюшу, потому что она могла с этой тетенькой говорить о многом, что никогда не сказала бы ни бабушке, ни Зотушке. Модница быстро вошла в роль и под рукой успела выведать, что думает Нюша об Алексее Пазухине, а также кое-что и о бабушке Татьяне и обстоятельствах смерти братца. От ее внимания не ускользнуло то важное обстоятельство, что у братца с мамынькой был какой-то крупный разговор, а потом то, что бабушка Татьяна сильно скупится.

– А я ведь к вам неспроста приехала-то, мамынька, – объявила Алена Евстратьевна, пожив в Белоглинском с неделю и успев побывать везде.

– Вижу, что неспроста…

– Вину-то свою я хорошо помню.

– Какую вину?

– Ну, как я тогда расстроила свадьбу Нюши с Алексеем.

– Да, да… Вот теперь и полюбуйся! Кабы не ты тогда, так жила бы да жила наша Нюша припеваючи, а теперь вон Пазухины-то и глядеть на нас не хотят.

– Уж это обнаковенно, маменька. Разе я этого не чувствую? Может, сколько слез выплакала за свою-то глупость.

– Так за каким делом-то приехала? Говори уж прямо, не разводи бобов-то…

– А такое и дело, маменька, что хочу я исправить этот самый грех пред Нюшей. Хочу ей судьбу устроить… Есть у нас в Верхотурье один человек, Павел Митрич Косяков. Он раньше в становых служил, а теперь так, своими делами занимается. Очень оборотистый человек, маменька, и домик свой имеет. Хозяйство сам ведет и прочее всякое. Ну, он и видел как-то Нюшу в церкви, когда был в Белоглинском. Очень уж она ему по вкусу пришлась… Вот он и просил меня поразведать, что и как. И ведь какой человек-то, маменька! Молодой, красивый, рослый… Наши-то

невесты за ним страсть гоняются, да он и глядеть на них не хочет, потому как ему свой вкус лучше знать.

– Да чем он занимается, не пойму я что-то?..

– Своими делами, маменька… Ах, какие вы непонятные, маменька! Ведь это прежде было так, что тот и человек, кто на службе или ремеслом каким занимается, а нынче уж не то, нынче народ куда оборотистей пошел. Посмотрите-ка на богатых господ по городам, чем они занимаются? И сами не знают, а деньги так лопатой и гребут. Это кто с понятием, конечно, живет. А Павел Митрич на все руки: у него и прииск есть, и торговлишка маленькая, и по судам дела ведет. Больше по судам… Купец какой в пьяном виде нагрезит, сейчас к Павлу Митричу: «Выправьте, Павел Митрич!» А Павел Митрич сейчас бумагу напишет да сотенную и получит. Это за один час… Да недалеко сказать – Вукол Логиныч ему недавно двести рублей за одну корову заплатил. И ведь как просто дело все: искал золото Вукол Логиныч около одной деревни, да шахту и не завалил, а у одного мужика коро-

ва в шахту и свались. Ну, обнаковенно, мужик к Вуколу Логинычу: «Пожалуйте пятнадцать рублей за корову, потому как, по закону, вы шахту должны завалить». А Вуколу-то Логинычу это слово и не поглянись, что он его законом-то хотел пристращать. «Когда, – говорит, – такие слова со мной говоришь, двух копеек не отдам». Ну, мужик, обнаковенно, к мировому, а Вукол Логиныч к Павлу Митричу: «Тысячи не пожалею, только мужику не отдавать бы этих пятнадцати рублей». Мировой все-таки присудил взыскать с Вукола Логиныча, а Павел Митрич в съезд мировых – съезд то же присудил, что и мировой, а Павел Митрич в Сенат... Ну, Шабалин-то ему уж двести рублей заплатил, да еще двести обещает. Вот как оборотистые-то люди, маменька, живут на свете: за чужую корову четыреста рубликов получит и не поморщится.

– Да про этакого человека, Аленушка, ровно страшно и подумать... Ведь он всех тут засудит! Если бы еще он из купечества, а то господь его знает, что у него на уме. Вон как нас Головинский-то обул на обе ноги! Все дочиста спустил... А уж какой легкий на слова был,

пес, прости ты меня, Владычица!.. Чего-то боюсь я этих ваших городских...

– Ах, маменька, маменька, какие вы слова рассуждаете?.. Не все же плуты да мошенники по городам. Живу же я, не жалуюсь.

– Твое совсем другое дело: у тебя муж купец, ну а эти оборотистые-то.

– Да вы, маменька, то подумайте: оборотистого, хорошего человека, который живет с настоящим понятием, вы боитесь, а того не боитесь, что вы сегодня живы и здоровы, а завтра бог весть... Не к тому слово говорится, маменька, что я смерти вашей желаю, а к примеру: все под Богом ходим. Вот я и моложе вас, а чуть ноне совсем ноги не протянула...

– Это ты верно говоришь, Аленушка, я и сама часто о смертном часе думаю. Тоже мои года не маленькие; на семьдесят шестой перевалило... А все-таки страшно, Аленушка! Не знаем мы этого Павла Митрича, а чужая душа – потемки.

– Да ведь я-то его знаю, маменька! Так же вот отлично знаю, как вас... Уж если это не жених, так я уж не знаю. Ведь хотели же сва-

лить Нюшу за Алешу Пазухина, а за этакого человека боитесь!.. А вы еще так подумайте: умерли вы, а Нюша осталась одна-одинешенька. И то надо сказать, мамынька, – договорила она жалостливо, – какие теперь ваши достатки: дай бог одну голову прокормить, да вам одним-то много ли надо! А Нюша все-таки девушка молодая, то да се, все расходы да расходы... Прямо сказать, выйди бы она замуж, вы жили бы в своей половине с Маланьей, а в горницы пустили бы квартирантов, а при Нюше и квартирантов-то пустить неловко: всякий про девку худое слово скажет... Чужой человек в дому хуже колокола.

– Не знаю, как уж тебе сказать-то, – уклончиво говорила Татьяна Власьевна, – ты бы привезла его хоть показать, нельзя же позаочь...

Алене Евстратьевне только этого и нужно было: она живо укатила в Верхотурье за оборотистым женихом.

XXV

Чтобы не уронить себя как сваху, Алена Евстратьевна заставила Татьяну Власьевну подождать и привезла жениха только после Рождества. Павел Митрич Косяков оказался действительно видным, рослым мужчиной с красивым бойким лицом и развязными манерами; говорил он очень свободно и обращался с дамами необыкновенно галантерейно. И одет был Косяков с иголочки: все у него было новое, а на руках перстни «с супериками» [3]. Золотые часы с тяжелой золотой цепочкой и золотыми брелоками, золотые запонки у рубашки – все свидетельствовало самым неопровержимым образом об оборотистости Павла Митрича, так что Татьяна Власьевна осталась им очень довольна. И держал себя Косяков так скромно, обходительно, даже водки капли в рот не брал, а карт и в глаза не видывал. Только одно не нравилось Татьяне Власьевне в женихе: уж больно у него глаза были «вострые», так и бегают. Пожалуй, покойному Гордею Евстратычу такой жених и не поглянулся бы, да уж теперь такое дело по-

дошло, что выбирать нечего, а Нюшу кормить да одевать нужно.

– Больно он глазами у тебя бегает, – объяснила свои сомнения моднице Татьяна Власьевна. – Знаешь, и лошадей когда выбирают, так обходят тех, у которых глаз круглый, больно норовистые издаются.

– Всем деревни не выбрать, маменька, а Павел Митрич об нас с вами не заплачет: посмотрит невесту и уедет. Ему только рукой повести – как галок налетит. Как знаете, я не навязываю вам жениха, а только мне Нюши-то жаль... Это от сытости да от достатков женихов разбирают. Может, у вас где-нибудь припрятаны деньги, вот вы и ломаетесь надо мной.

– Да ведь я так сказала, к слову... Этакое ты, Аленушка, купоросное масло!.. Так и вертишь языком-то как шилом.

Зотушка тоже пришел посмотреть на жениха и остался им недоволен по всем статьям.

– Привезла нам Алена Евстратьевна какого-то ратника, – ворчал он в своем флигельке. – Он, жених-то, вон как буркалами своими ворочает и еще прикидывается: «Не пью!»

Знаем мы вас, как вы не пьете, а только за ухо льете.

После необходимых переговоров и церемоний показали жениху и невесту, причем, конечно, о сватовстве не было и речи, а все говорили о самых посторонних вещах. Нюше жених тоже не понравился, хотя ее об этом никто и не спрашивал. Чтобы поднять свои курсы, Алена Евстратьевна пригласила о. Крискента в качестве эксперта, которому такие дела уж должны быть известны доподлинно, потому что в год-то он сколько свадеб свенчает. Отец Крискент нашел как раз то, что желала Алена Евстратьевна, и, побеседовав с Павлом Митричем о разных духовных предметах, выразился о нем в разговоре с Татьяной Власьевной так:

– С головой человек.

– Сама вижу, отец Крискент, что не без головы, да только ведь в него не влезешь, – сомневалась Татьяна Власьевна. – Ведь не шуточное дело затевается.

– Совершенно справедливо изволите рассуждать.

Дело заварилось не на шутку и, при содей-

ствии о. Крискента, скоро было кончено: Нюша была помолвлена за Косякова. Эта новость облетела весь Белоглинский завод и еще раз сделала брагинскую семью героем дня, причем толкам и пересудам конца не было. Одни говорили, что Косяков богач и отличный человек, другие – что он прощелыга и прохвост, третьи – что женится – переменится, и т. д. В брагинском доме теперь шла настоящая сумятица, которую производили свадебные подруги Нюши: они шили, пели и наполняли дом беззаботным смехом. Присутствие Михалки и Володьки Пятова особенно одушевляло эту компанию, хотя Татьяна Власьевна и не особенно жаловала своих недругов, но уж случай такой вышел, что сердиться не приходилось. Павел Митрич держал себя как и следует настоящему жениху: осыпал всех подарками, постоянно целовался с невестой и угощал встречного и поперечного. Но первая роль, конечно, принадлежала моднице Алене Евстратьевне, которая всеми верховодила и распоряжалась, как у себя дома. Она поспевала везде: все видела и ничего не забывала. Только одно было нехорошо на этой свадьбе-ско-

роспелке: невеста была круглая сирота, и поэтому пелись все такие печальные песни, которые превращали свадьбу в поминки, да и невеста была такая скучная и часто плакала.

– Вот братец не дожили до такой радости, – говорила Алена Евстратьевна, – то-то они порадовались бы. Братец-покойник веселые были в компании... Другому молодому супротив них не устоять!..

Общее веселье отчасти омрачилось еще тем обстоятельством, что Зотушка жестоко запил и даже совсем исчез из дому неизвестно куда. Его, впрочем, и не разыскивали, потому что было не до того, – у всех хлопот был полон рот.

Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то таскала кирпичи. Народу было битком набито, и бабы поголовно восхищались счастливой парочкой. В этой пестрой толпе много девушек завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого жениха, а невеста стояла такая бледная, с опухшими от слез глазами, и венчальная свеча слабо дрожала в ее руках. Вечером в

брагинском доме был устроен настоящий пир, на котором мужчины и женщины напились до безобразия. Молодых поздравляли, отпускали на их счет самые сальные шуточки, так что с Нюшей под конец сделалось дурно…

Татьяна Власьевна рассчитывала так, что молодые сейчас после свадьбы уедут в Верхотурье и она устроится в своем доме по-новому и первым делом пустит квартирантов. Все-таки расстановочка будет. Но вышло иначе. Алена Евстратьевна действительно уехала, а Павел Митрич остался и на время нанял те комнаты, где жил раньше Гордей Евстратыч.

– Я только на время, бабушка, на время, – говорил он для успокоения старухи. – Дела у меня здесь есть, так нужно будет развязаться с ними.

– Твое дело, тебе лучше знать, а я не гоню, – по возможности кротко отвечала зятю Татьяна Власьевна, хотя сама и ежилась.

Скоро возникли и первые недоразумения, поводом для которых послужили хозяйственные расчеты: Павел Митрич пил и ел с женой, занимал квартиру, а о деньгах и не заикался.

Так прошел весь медовый месяц. Павел Митрич оказался человеком веселого нрава, любил ездить по гостям и к себе возил гостей. Назовет кого попало, а потом и посылает жену тормошить бабушку насчет угощенья. Сам никогда слова не скажет, а все через жену.

– Да у него у самого-то языка, что ли, нет? – ворчит бабушка на Нюшу.

– Бабушка, да ведь там сидят чужие, осудят, пожалуй... – объясняла Нюша со слезами.

Татьяну Власьевну Косяков оставлял долго в покое, но тем тяжелее доставалось бедной Нюше, с которой он начал обращаться все хуже и хуже. Эти «семейные» сцены скрыты были от всех глаз, и даже Татьяна Власьевна не знала, что делается в горницах по ночам, потому что Павел Митрич всегда плотно притворял двери и завешивал окна.

Вынужденная истязаниями и беспрерывною нравственной пыткой, Нюша обратилась к бабушке Татьяне с просьбой о деньгах, но безуспешно. Татьяна Власьевна точно окаменела и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно.

– Не умеешь просить, каналья! – ругался

Косяков и отпускал Нюше за неудачную просьбу двойную порцию побоев.

Но на этом Павел Митрич не остановился, потому что слишком вошел во вкус своей семейной жизни. Безответность трепетавшей перед ним жены раздражала его, и он с мучительным наслаждением придумывал новые истязания. Теперь ему было мало этих келейных наслаждений, нужно было общество.

Чтобы выучить жену пить вместе со всеми водку, Косяков дал ей всего несколько уроков в спальне. Нальет рюмку, подаст Нюше и мучит ее до тех пор, пока она не выпьет.

– А вы знаете, Павел Митрич, что ваша жена влюблена? – спросила как-то раз Косякова Варвара Тихоновна. – Да, очень влюблена... Не догадываетесь? – допытывала она, досыта намучив гостя.

– Нет...

– А Алешка Пазухин?.. Ведь он сколько лет считался женихом Анны Гордеевны. Ну, тогда свадьба расстроилась из-за Гордея Евстратыча, так они теперь из-за вас свое берут... Уж это верно!.. Чтобы жена да не водила мужа за нос, да этому я никогда не поверю... никогда!..

Домой вернулся Косяков точно в тумане: теперь старуха у него была в руках, и он ее проберет... Да, отличная штука будет. По своему обыкновению, Павел Митрич ничем не выдал себя, и даже Нюша не заметила в нем никакой перемены. Он что-то долго обдумывал, а потом разоделся в свои суперики и отправился знакомиться с Пазухиными, которые были удивлены таким визитом любезного соседа.

– Я давно к вам собираюсь, да все дела задерживали, – объяснил Павел Митрич с обычной своей развязностью. – Живем соседями, надо же познакомиться.

Сила Андроныч был дома и с любопытством рассматривал гостя, который был известен в Белоглинском заводе под именем Пашки Косякова, или просто «ратник»; старик слышал кое-что о семейной жизни Нюши и крепко недолюбливал его, но человек пришел в гости – не гнать же его в шею. Косяков посидел, поговорил, а потом на прощанье усиленно просил пожаловать в гости к себе.

Знакомство их продолжалось недолго. Павел Митрич устроил своим соседям скандал,

пригласив к себе гостей и в том числе Пазухиных. Когда гости собрались, Косяков обратился ко всем с такой речью, указывая на Алексея Пазухина:

– Это мой отличный сосед. Когда меня не бывает дома, Алексей Силыч любезничает с моей женой и заводит шашни. Они ведь старые знакомые, так им не привыкать обманывать добрых людей: раньше Анна Гордеевна обманывала своего тятеньку, а теперь обманывает меня.

– Врешь! – загремел Сила Андроныч и накинулся на «ратника».

Произошла страшная свалка.

– Постой, кровопийца, я тебе покажу!.. – ревел Сила Андроныч, обрабатывая кулаками хрипевшего «ратника». – Ты думаешь, на тебя и суда нет, разбойник двухголовый?.. Кровь чужую пьешь. Я тебя задушу, палача.

Только прибежавшая на шум Татьяна Власьевна кое-как усмирила Силу Андроныча и стащила его с избитого зятя.

– На твоей душе грех, старуха!.. – гремел расходившийся Пазухин. – Вы вдвоем загубили Нюшу и ответите за нее перед Богом.

Косяков, потерпев поражение от Силы Андроныча, считал себя теперь вправе выместить гнев на жене и на Татьяне Власьевне.

XXVI

Зотушка все это время вел самый странный образ жизни и точно не хотел ничего знать, что делается в батюшкином доме. Он совсем не ходил в горницы, чтобы не встречаться с «ратником», и как будто избегал Нюши, которую всегда очень любил. Правда, Зотушка очень редко появлялся в своем флигельке и все пропадал где-то, хотя его не видали больше ни у Савиных, ни у Колобовых. О печальной жизни Нюши Зотушка, конечно, знал давно, хотя об этом и не говорил никому. Ни одна душа не видала, как «источник» по ночам молился и плакал о своей голубке. Все время он соображал о том, как ему освободить Нюшу от «ратника», и не мог ничего придумать. Голова Зотушки была устроена совершенно особенно: его мысль вечно пробиралась какими-то закоулками и задворками и все-таки приходила к своей цели.

Раз, перебирая все обстоятельства мудре-

ного дела, Зотушка весь просиял и даже заплакал от радости: решение было найдено и Нюша спасена. Он долго молился своему образку, прежде чем идти на подвиг, потом приоделся, намазал обильно свою голову деревянным маслом и со своим смиренным просветленным видом отправился прямо в горницы.

– А, Зотей Евстратыч, где тебя долго не видать? – спрашивал Павел Митрич. – Загордился, совсем не хочешь нас знать…

– Какая гордость, Павел Митрич, господь с вами. Так, делишки разные были…

– Да какие у тебя дела могут быть, блаженная голова? Живешь как комар – какие у тебя дела…

– И у него своя забота есть, Павел Митрич…

Косяков чувствовал, что старик пришел недаром, потому что он все неспроста делал, что-нибудь да держит он на уме и уж наверное знает, куда старуха прячет свои деньги. Косяков даже удивился, как он раньше об этом не подумал: подпоить божьего человека – он все и разболтает… Эта мысль очень понравилась Косякову, и он решил привести ее

в исполнение.

– Ты не бегал бы от меня, так дело-то лучше было бы, – говорил Косяков, ласково поглядывая на старика своими вострыми глазами. – Приходи покалякать когда, поболтать, да и муху можно раздавить...

Зотушка блаженно улыбнулся и, осторожно оглядевшись кругом, проговорил вполголоса:

– Старухи я боюсь, Павел Митрич... Ведь она меня сживет со свету, если узнает, что я с вами-то заодно...

– Так бы прямо и сказал... А ты не бойся: Павел Косяков никого на свете не боится. Да что тут толковать: хочешь, сейчас муху давнем?

– Уж это на что лучше, Павел Митрич.

Зотушка прищелкнул языком и хитро подмигнул глазом в сторону бабушкиных горниц, – дескать, теперь мне плевать на нее, ежели Косяков никого на свете не боится. Явилась водка, явилась закуска, и первая «муха» была раздавлена самым развеселым образом, так что захмелевший Зотушка даже спел свой стих о старце. Татьяна Власьевна просто

диву далась, когда узнала, что Зотушка пирует с «ратником»: не такой был человек Зотушка, чтобы кривить душой, – уж как, кажется, он падок до водки, а никогда ни одной рюмки не примет от того, кто ему пришелся не по нраву... А тут, на-кася, даже песню запел... Нюша сначала даже испугалась, когда услышала Зотушкин стих. И теперь где же поет Зотушка – в горницах, где его слушает «ратник»!.. А Зотушка все пел и пел, улыбался блаженной улыбкой и даже закрывал глаза, как воробей, которого после холодной морозной ночи пригрело солнышком.

– А ведь ты славный старик, – хвалил Косяков, хлопая Зотушку своей десницей по плечу. – И песни отлично поешь...

– Уж как кому поглянется, Павел Митрич.

– Так старуха-то крепко тебя обижает?

– Голодом сморила... Да и так, ежели разобрать: как пила пилит.

– Да ты выпей еще, а потом побеседуем...

Зотушка не отказался от новой «мухи» и притворился совсем захмелевшим.

– А я... пришел к тебе... не тово... недаром, – признавался Зотушка косневшим языком. –

Уж больно меня... старуха-то доехала... Страсть доехала!.. Хоть вот сейчас ложись... и помирай! Вот я и пришел к тебе... дельце маленькое есть...

– Я ведь тоже с тобой давно хочу поговорить, Зотей Евстратыч, и, кажется, мы столкуемся... Не насчет ли капиталов Гордея Евстратыча?

– Оно самое... оно... только я старухи до смерти боюсь...

– Вот что, пойдем лучше к тебе в флигелек, побеседуем там...

– Лладно-о...

Косяков под руку довел пьяного Зотушку до его флигеля и даже помог ему сесть на стул.

– Ох, боюсь старухи, – представлялся Зотушка, раскачиваясь на стуле.

– А есть у старухи деньги?

Зотушка оглянулся боязливо по сторонам и прошептал:

– Есть...

– Зотей Евстратыч, послушай меня: скажи, куда прячет старуха деньги, тогда одна половина моя, другая твоя... А то все равно нам

обоим ничего не достанется!

– Обманешь ты меня?

– Я?.. Хочешь, сейчас образ со стены сниму?

– Хорошо... я тебе укажу место... только чтобы водкой меня поить до отвалу.

– Ну, где?.. – задыхавшимся шепотом спрашивал Косяков.

– А ты не больно торопись... Не запрег, чего нукаешь?.. Сейчас я тебе ничего не скажу, а через три дня все как на ладонке объясню...

Как «ратник» ни умолял Зотушку, тот не сдался ни на какие просьбы и настоял на своем.

Три дня пролетели быстро. Зотушка куда-то исчезал, но потом явился на третий день. Косяков все это время переживал с самым лихорадочным нетерпением, а когда вечером увидал затеплившийся в флигельке Зотушки огонек – вздохнул свободнее; он сейчас же побежал к нему, а тот сидел на лавке бледный и изможденный, точно он перенес какую болезнь в три дня.

– Что это с тобой? – осведомился Косяков.

– Ничего... пировал, – коротко ответил Зо-

тушка, ощупывая свою голову.

– Эк тебя взяло… Нашел время, нечего сказать.

– А ты думаешь, мне легко чужие-то деньги воровать?.. А?.. Может, у меня сердце все издрожалось со страху… Страсть боюсь старухи.

– Ну, сказывай, где деньги-то…

Косяков давно наблюдал за Татьяной Власьевной, куда она прячет деньги, но все было бесполезно. Но и Зотушке стоило немалых усилий открыть секрет Татьяны Власьевны. Он провел до десятка бессонных ночей, прежде чем укараулил старуху, когда она ходила проведать свой заветный узелок. Татьяна Власьевна прятала деньги в пяти местах – на сарае в сене, в предбаннике, в конюшне, в дровах и, наконец, в ларе с овсом. Последнее место и дало возможность решить всю задачу с «ратником». Теперь Зотушка сидел на лавке, смотрел на Косякова воспаленными слезившимися глазами и все что-то шептал про себя.

– Да скажешь, что ли, дьявол!.. – приступил к нему Косяков, бледнея.

– Ладно… скажу… только мне половину… а то не скажу.

– Сказал, что отдам… Фу, черт! Чего еще жилы-то тянешь…

– Надо замок ломать… снасть-то припас?

Косяков порылся в кармане и достал оттуда плотничье долото.

– Какой угодно замок отворим этим ключом, – проговорил он, показывая свою снасть.

– Хорошо… Ступай во двор, там стоит ларь с овсом…

– Знаю…

– Ну, в этом ларе, в овсе, и ищи узелок… в правом углу… Только вот что: мне твоих денег не надо, а ты мне отдай камешек, который лежит тут же с деньгами… только и всего…

Косяков уже шагал по двору. Ночь была светлая, и Косяков боязливо оглядывался в сторону дома, точно боялся какой засады. Вот и знакомый старый ларь. Сняв осторожно замок и накладку, Косяков еще раз оглянулся кругом и по пояс опустился в глубокий ларь, где долго шарил руками в овсе, прежде чем ущупал заветный узелок. Достав узелок из ла-

ря, Косяков вернулся с ним в Зотушкин флигелек, проверил там деньги и передал Зотушке ту самую жилку, которую когда-то привез Михалко из Полдневской от Маркушки.

– Теперь, Павел Митрич, уходи от греха, – проговорил Зотушка, пряча кусок кварцу за пазуху. – С деньгами тебе везде дорога, а если вздумаешь назад оборотиться – обоих нас в каторгу зашлют...

Косяков навсегда скрылся из Белоглинского завода, а Зотушка истолок в ступе Маркушкину жилку и той же ночью всыпал ее в церковную кружку.

1884

Золото

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Посвящается Марусе

I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

– Эх, вся кошемная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их

маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

– Только бы застать Родьку... – думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, – эти,

следовательно, находились на полном ходу.

– Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, – проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли. – Тоже, называется, золото ищут... ха-ха!.. Не положил – не ищи... Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменил с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид, – трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

– Одна парадная дыра осталась… – проговорил он, направляясь к работавшей шахте. – Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

– Был, да весь вышел…

– Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! – обругался Кишкин.

– Ступай на Фотьянку, там его застанешь, – посоветовала голова.

– Легкое место сказать: Фотьянка… Три версты надо отмерить до Фотьянки. Ах, старый черт… Не сидится ему на одном месте.

– На брезгу Родион Потапыч спущался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит…

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. Ах, много тут денежек компания закопала, – тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не

взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» – громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дарового труда не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая-ттристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота.

Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, – с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

– Эге, дома лесной черт! – обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала

всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору.

– Мир на стану! – крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

– Милости просим, – ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. – Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

– А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да... А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

– Все хороши, – угрюмо ответил Зыков. – Картошки хошь?

– В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

– Ишь, лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

– Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки. Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома

ничего не оставил…

– Не ври. Не люблю… Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом – полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

– А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, – восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. – Много старателей-то?

– Десятка с три наберется…

Работы начинались саженях в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял неболь-

шой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

– Ишь, ледяной водой моют, – заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. – Что бы казарму поставить да теплень-кой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись...

– Ничего ты не понимаешь! – оборвал его Зыков. – Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая; а второе дело – по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой – он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их сполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

– Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на

стену полез.

– А не болтай глупостев, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

– Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

– Ну?

– Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и прочее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

– Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

– Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четы-

реста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке – везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются... Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, Палестина необъятная...

– Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, – кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расползутся... Их только помани. Народ отпетый.

– Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, – заговорил Кишкин искательным тоном. – Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопотнуть!

– Ну?

– Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

– Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха...

– Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, – ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

– А ведь ты верно, – уныло согласился Зыков. – Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, – прибавил

он, – врешь ты все…

– А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

– Прежде-то что было, Родион Потапыч! – как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. – Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне… Разве нынче промысла? Разве работы?

– Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

– Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл?.. Я… да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир…

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатились у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

– Ну, будет тебе… Эк, что вздумал вспоминать!

– Да!.. – уже со слезами в голосе повторял

Кишкин. – Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел... да.

– Было и твое дело, что тут греха таить!

– Да что было-то? Дадут три сторублевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то что было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих – писал сто, где сто кубических сажен земли вынуто – писал

тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь пожи-вает, а я вон в каком образе щеголяю. Толь-ко-только копеечку не подают...

– А дом где? А всякое обзаведенье? А день-ги? – накинулся на него Зыков с ожесточени-ем. – Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал ла-кать, да пустяками стал заниматься... В чьем дому сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раз-дулся? Ну-ка, скажи, а?..

– Было и это, – согласился Кишкин. – Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил... Было, А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Вы-ломках, его еще рекрута работали, – так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна запла-тила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали – и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой, – и к лап-

кам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить...

– Кто старое помянет – тому глаз вон. Было, да сплыло...

II

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

– Ну, брат, мне некогда, – остановил он гостя, поднимаясь. – У нас сейчас смывка... Вот объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

– Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

– А диомид... Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомид не любит.

– А ежели грешным делом да того...

– Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомид под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», – подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

– Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? – спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

– Не нашего ума дело, вот и весь сказ, – сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. – Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

– Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

– Эх вы, свинорои! – ворчал Зыков, загля-

дывая на первую дудку. – Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, – это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, – все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали

работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи – черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он оседждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

– Здорово, Турка… Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

– Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч… Прежде-то шапку ломали перед тобой, как пе-

ред барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

– Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? – спрашивал Кишкин, понижая голос.

– Запамятовал как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомню.

– Ну, а других помнишь, кто там работал?

– Как не помнить... И наши фотьяновские и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

– Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

– Сиротское ваше золото, – заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. – Из-за хлеба на воду робите…

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, – это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

– Почем в контору сдаете? – спрашивал Кишкин.

– По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заробишь, а что одежи износим, что обуя, это уж свое. Прямо – крохи…

Объездной спешился и, свертывая цигарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

– Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву…

– А ты что лаешься? – огрызнулся объездной. – Чужое жалеешь…

Ругавшийся с объездным мужик в красной

рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

– А, это ты, Матюшка... – вступился Кишкин. – Что больно сердит?

– Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок, – ну, и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

– И в самом-то деле, чего привязался! – пристали бабы. – Ступай к своим балчуговским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

– Ах вы, варнаки! – ругался объездной, усаживаясь в седле. – Плачет об вас острог-то, клейменые... Право, клейменые!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

– Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, – ответил за всех Матюшка. – Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходив-

шая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании – в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

– Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

– Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, – ответил Матюшка. – Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

– Молоко на губах не обсохло учить-то меня, – ответил Кишкин. – Не сказывай, а спрашивай...

– Это верно, – подтвердил Турка. – У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

– Не знаю ничего... А что?

– Да так... Мало ли что здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблю-

дал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали… Какое это золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

– Ты куда наклался? – спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

– А в Фотьянку, домой… Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

– Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо на Фотьянку, – проговорил Кишкин, поднимаясь. – Прощайте, братцы…

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес, – ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Ста-

ринная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

– Кабак подпираете, молодцы, чтобы не упал грешным делом? – пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посудины и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

– Будь здоров на сто годов, Евстратыч, – проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

– Давненько я здесь не бывал... – задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. – Каково торгуешь, Фрол?

– У нас не торговля, а кот наплакал, Анд-

рон Евстратыч. Кому здесь и пить-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, что со святого, – немного возьмешь.

– Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

– Вот что, друг, – заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, – кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?.. Значит, сейчас после воли?

– Есть живые, как же... – старался припомнить Турка. – Много перемерло, а есть и живые.

– Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

– Есть и такие: Никифор Лужоный, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Леканд-ра...

– Вот и отлично! – обрадовался Кишкин. – Мне бы с ними надо со всеми переговорить.

– Можно и это... А на что тебе, Андрон Евстратыч?

– Дело есть... С первого тебя начну. Ежели,

например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

– Да что показывать-то?

– А что следователь будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

– Да ты что испугался-то? – смеялся Кишкин. – Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

– А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под коленки ударил.

– Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревянел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

– Нет, с тобой, видно, не сговоришь! – решил огорченный Кишкин.

– Ты уж лучше с Петром Васильичем пого-

вори! Он у нас грамотный. А мы – темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело.

– Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! – повторял он с азартом. – Все покажу, как было дело. И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

– А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох, как наболело!..

– Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

– А уж это, как бог пошлет: либо сена клок, либо вилы в бок.

Петр Васильич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его

воз – его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильича перекреститься.

– Неужто правда, андел мой? А? Ах, божже мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша канпания – могила. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

– Да уж правильнее не бывает...

– И что только будет? В том роде, как огромадный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай, где хошь.

– Только смотри: секрет.

– Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А что касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди, – все, как на ладонке, покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговорю. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не

понимает, а я всех подобью: и Лужоного, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

– Да уж он знает! Я к нему заходил по пути.

– Ну, что он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке, – ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха... Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, – впервой, когда россыпь открыл, а теперь – словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами, – стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

III

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части, – правая Нагорная и левая Низменная – Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке – месте поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное

винокурение, велись военной рукой – с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую ру-

ку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу – никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, – все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, – а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каж-

дом удобном случае вспоминал про первую: «это еще при Марфе Тимофеевне было», или «покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

– А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, – да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с женихой родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем:

нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший

сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

– А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажить внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов, – этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татья-

на, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убегом за строгаля в Низах по фамилии Мыльникова. Это был настоящий mesalliance, [4]навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, – муж попался «карахтерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смирный и работящий мужик, который умел оста-

ваться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья, – детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье

случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, – с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она вместо того, чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средства-

ми, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

– Вот ужо воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное, потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

– Что уж, матушка, убиваться-то без пути, – утешала замужняя дочь Анна. – Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

– Ишь, выискалась?! – ругался Яша. – Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий по обыкновению больше отмал-

чивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами, чуть что, и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

– Вот вы все такие, зятья! – ругался Яша. – Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали...

– Я, что же я?.. – удивлялся Прокопий. – Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты – сын, Яков Родионыч: тебе много поближее... Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

– Дураки вы все, вот что... Небось, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, – ну, и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя в пере-

старки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне что, я его вот на эстолько не боюсь!..

– Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, – нерешительно советовала Устинья Марковна. – Может, и уговоришь... Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

– И в Тайболу съезжу! – горячился Яша, размахивая руками. – Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

– Ну, мамушка, Устинья Марковна, благо-

словляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

– Дай тебе бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

– Куда такую рань наклался, дорогой деверек? – спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло

испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

– Да так... в город по делу надо съездить, – соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

– Ну, ну, не ври, коли не умеешь! – оборвал его Мыльников. – Небось, в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха... Эх вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите... А что, дорогой тестюшка каково прыгает?..

– И не говори! Беда... Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

– Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела... да. Вон у меня дерево стоеросовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, – да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась...

– Да это бог бы с ней, что убегом, Тарас Матвеич, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

– А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в Седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

– Да ты куда это? – изумлялся Яша.

– Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

– Ну ты, дерево, смотри у меня! – пригрозил ей отец. – Чтобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

– Уродится же этакое дерево... а?..

V

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

– Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. – хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. – Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он...

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехав-

ших верхом родственников.

– Андрону Евстратычу! – крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. – Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается…

– Али на свадьбу собрались? – пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени.

– Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, – пожаловался Яша, качая головой. – Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит…

– Бог не без милости, Яша, – утешал Кишкин. – Уж такое их девичье положенье: сколь девку ни корми, а все чужая… Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

– Милости просим, Андрон Евстратыч… Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

– А ты пасть-то свою раствори, Тарас! – огрызнулся Кишкин. – О Пронькиной вышке своя речь… Ах, ботало коровье!.. С тобой пива не сваришь…

– Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богачество предоставлю! – хвастался Мыльников. – Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только!

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На ростани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед.

– Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха... Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... Ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходце закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выхо-

дила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная – каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

– Подворачивай! – крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. – Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

– Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, – заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

– Заходите, гости будете, – пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к ворот-

ной щеколде. – Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

– У себя дома молись, родимый, я наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

– Ну, начинай, чего молчишь, как пень? – подталкивал Яшу Мыльников. – За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

– Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... – проговорил наконец Яша, чув-

ствуя, как его начинает пробивать пот.

– Не чужие будем, баушка Маремьяна, – вставил Мыльников.

– А на какую причину она вам понадобилась? – ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщевую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

– Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, – отвечал Мыльников, размахивая рукой. – Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

– Ладно, коли с добром, – согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

– Медведица... – проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. – Погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими се-

рыми глазами, опушенными такими длинными ресницами.

– Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, – покорным тоном проговорила она, кланяясь. – И вы, Тарас Матвеич, здравствуйте...

– Вот что, Феня, – заговорил Яша, – сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

– Крутенек тестюшка-то Родивон Потапыч, – прибавил Мыльников. – Таку резолюцию наведет...

– Что же я, братец Яков Родивоныч... – прошептала Феня со слезами на глазах. – Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

– Вот что, господа, – заговорил он, прикры-

вая жену собой, – не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся... Наш грех...

– Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! – заметил Мыльников и засмеялся. – Он тебе покажет...

– И поговорим и даже очень поговорим, – уверенно ответил Акинфий Назарыч. – Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

– Да про убег нет слова, Акинфий Назарыч, – вступился Яша, – дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

– Что же вера? Все одному богу молимся, все грешны да божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию выдалась: у Мятелевых жена православная по городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А, между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Маменька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда!.. Так ведь, Тарас?

– Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! – бла-

женно изумлялся Мыльников. – В самое то есть живое место попал... Семь бед – один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по щучьему веленью: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

– Господа, пожалуйте! – приглашал Акинфий Назарыч. – Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя... Ну, да все равно: семь бед – один ответ... И Фени жаль и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

– А где баушка Маремьяна? – пристал он. – Хочу беспременно с ней выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то на-

стойки.

– Как же теперь нам быть? – спрашивал Яша после третьей рюмки. – Без ножа зарезала нас Феня…

– Чему быть, того не миновать! – весело ответил Акинфий Назарыч. – Ну, пошумит старик, покажет пыль – и весь тут… Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убегом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами…

– Оно конечно, – соглашался пьяневший Яша. – Я ведь тоже с родителем на перекосых… Очень уж он канпании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою… Тоже в другой раз и обидно.

– А ты выдела требуй, Яша, – советовал Мыльников. – Слава богу, своим умом пора жить… Я бы так давно наплевал: сам большой – сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

– Перестань молоть! – оговаривала его старая Маремьяна. – Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше…

Так ведь я говорю, сват – большая родня?

– Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

– Что же, ну, пусть родитель выворачивается с Фотьянки... – рассуждал он, делая соответствующий жест. – Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое протчее... А там хоть на части режь...

– Он за баб примется, – говорил Мыльников, удушливо хихикая. – И достанется бабам... ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили – надо и честь знать, да и дома

ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

– Уж я все устрою, шурин... все!.. У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

– Хорошо, хорошо... – соглашался «молодой». – Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

– Перестань убиваться-то, – ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. – Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да станового обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

– Ох, два голубя, два сизых! – крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми. – Откедова бог несет?.. Подмокли малым делом...

– А тебе завидно? – огрызнулся Мыльников. – Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

– Который теперь час? – спрашивал он.

– А скоро, видно, три... Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

– А ну его… Побьет еще, пожалуй.

– Н-но-о?..

– Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх… А вот и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

– Гли-ко, гли, Яша! – крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. – У моих-то ворот кто сидит?

– И то как будто сидит.

– Да ведь это Шишка… Верное слово!.. Ах, раздуй его горой…

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развесе-

лившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

– Ох-хо-хо! – заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. – Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась к ненастью! Ах, курва Окся, ловко она саданула...

V

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков – на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит, близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял

ее вздрагивать.

– Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, – вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, – все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

– Нету ведь Яши-то, – шепотом сообщила ему Устинья Марковна. – С самого утра уехал... Что ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

– Ты куда, Прокопий? – окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

– Я пойду Яшу искать, – ответил он, глядя в угол. – Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Роди-

он Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять… Всякому до себя.

– А что же в баню-то сегодня не пойдешь, что ли? – окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

– Успеется и баня, – ответил Прокопий. – Пусть батюшка первым идет…

«Банный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

– Тоже, мужик называется… Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

– Молчи, Марья! – окликнула ее мать. – Ты бы вот завела своего мужика да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

– У тебя нет лучше Прокопья, – ворчала Марья.

– Ты у меня поворчи! – крикнула мать. – Зубы-то долги стали...

За убегом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутний из Фотьянки.

– А где Феня? – спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

– В соседи увернулась, – ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страху.

– Не нашла время…

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

– Это на какую причину лампадка теплится? – спросил он.

– А воскресенье завтра, Родивон Потапыч… Банька готова, хоть сейчас можно идти.

– А Прокопий когда успел в баню сходить?

– Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

– Порядков не знаете?! – крикнул старик и топнул ногой. – Ты у меня смотри, потатчица…

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

– Батюшки, да никак и Тарас с ним! – охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

– Родителю... многая лета... – бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. – А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша!

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные, как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

– Так мы, значит, из Тайболы... – объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. – От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

– От какой Федосьи Родивоновны? – повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. – Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я...

– А ты не больно, родитель, тово... – неожиданно заявил насмелившийся Яша. – Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тащили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

– Уж и что мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акиньку Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

– Да вы... вы одурели тут все без меня? – хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. – Да я вас... Яшка, вон!.. Чтобы и духу твоего не осталось!

– А ты не больно, родитель, тово... – дерзко ответил Яша.

– Что-о?!.

– А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

– Правильно, Яша! – поощрял Мыльников. – У меня в суседях место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь.

– Да ты не больно!.. – кричал Мыльников уже в сенях. – Ишь какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

– Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

– Ну, вот... – проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. – Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

– Тятенька, миленький...

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

– Наташка, перестань... Брось... – уговаривал ее Мыльников. – Не смущай своево родителя... Вишь, как он сразу укротился. Яша, что же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей...

– И ты тоже хорош, – корил Яша своего сообщника. – Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал

брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

– Ты... ты зачем? – грозно спрашивал его старик.

– А дело есть, Родивон Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

– Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

– И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следствует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благославляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

– Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

– Ну, был...

– Опрашивал он тебя касаемо допрежних времен и казенной работы?

– Пустой он человек. Болтал разное...

– Ну, так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

– Да не болтай глупостев, шалая голова!.. Не люблю...

– Донос Шишка пишет, вот что! – точно выстрелил Тарас. – О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

– Не пойму я тебя, Тарас, – сурово проговорил старик. – А ты садись, да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки.

– Сперва-то он издалека речь завел, – рассказывал Мыльников. – Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и

что всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвеич, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали?..» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел... И нынешнюю, грит, кампанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит...

– Ну, а еще-то что?

– Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

– Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

– Только и всего?

– Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается!..

– Ну и дал бог родню! – ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик дол-

го ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

– Ты это что за модель выдумал… а?! – грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. – Кто в дому хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

– Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, – упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. – А желаю выдел получить…

– Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами…

– А уж что бог даст… Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

– Пора мне и свой угол завести, – продолжал Яша. – Вот по весне выйдет на волю Кед-

ровская дача, так надо не упустить случая... Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

– Что-о?..

– Сговорились, говорю. Своя у нас канпания: значит, зять Тарас Матвеич, я, Кишкин...

– Вот так канпания! – охнул Родион Потапыч. – Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет – Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: тронулся старик...

– Так канпания? А? – спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. – Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

– Уж это кому какие бог счастки пошлет...

– Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо

Устиньи Марковны.

– Как же насчет Фени-то?.. – шептала она побелевшими от страха губами. – Слезьми, слышь, изошла...

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

– Будь она от меня проклята...

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

– Родион Потапыч, опомнись!.. Родной...

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

VI

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул.

Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор.

– Степан Романыч дома? – сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

– У них гости... – с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. – К нам нельзя-с...

– Дурак! – обругал старик, отталкивая Ганьку. – А ты, Яшка, подождешь меня здесь!..

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали

охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

– У них гости... – шепотом заявила она, как и Ганька. – Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

– Сурьезное дело есть... Так и скажи, – наказывал он с обычной внушительностью. – Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачун-

ский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного.

– Ну что, дедушка? – весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. – Шахту, видно, опустил?..

– С нами крестная сила! – охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. – Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч...

– Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну, и с этой то же будет...

– Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, – нравоучительно заметил старик. – Не таковское это дело...

– А что?

– Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы, да особливо который гость похвалит – нет того хуже.

– Сглазить шахту можно?.. – засмеялся Карачунский. – Ну, бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

– Что, разве чай будем пить, дедушка? – весело проговорил он. – Что мы будем в передней-то стоять… Проходи.

– Ох, не до чаю мне, Степан Романыч…

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

– К твоей милости пришел, Степан Романыч… Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежа…

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

– Дедушка, что ты… Дедушка, нехорошо!.. – бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. – Разве можно так?..

– Парня я к тебе привел, Степан Романыч… Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я тово… Будь отцом родным…

– Какого парня, дедушка?

– Да Яшку моего беспутного…

– Ах, да… Ну, так что же я могу сделать?

– Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

– Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

– Вот то-то и горе, что седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

– Вот не угодно ли? – обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. – Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

– Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комна-

ты его пущали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

– Я не имею права, да и никто другой тоже.

– Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

– Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, – заговорил Карачунский. – Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу.

Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков

присел на кончик стула и весь вытянулся.

– Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, – заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. – Чем он тебя обидел?

– А за его качества… – сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. – Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

– А главная причина – донял он меня Кедровской дачей, – закончил Родион Потапыч свою повесть. – В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

– Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

– Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить… Забегал он ко мне как-то на Фотьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, что он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

– А я только сегодня узнал, дедушка: и до

глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Все болтают про Кишкина.

– Пустой человек, – коротко решил Зыков. – Ничего из того не будет, да и дело прошлое... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

– А если тебя под присягой будут спрашивать?

– Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

– Ничего, все это пустяки... – отшучивался Карачурский. – Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену – и вся недолга.

– Было бы из чего набавлять, Степан Рома-

ныч, – строго заметил Зыков. – Им сколько угодно дай – все возьмут... Я только одному дивлюсь, что это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

– Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? – в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. – У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

– Как же это так, Степан Романыч?.. – бормотал он. – Все мы от казны хлеб едим... Казна – всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, – господи, да что же это такое делается? Точно во сне... Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча (старик указал глазами

на Оникова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал – все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без этого и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий, – повытчики еще тогда были, – повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах, да пьяненький и попадись Телятникову на глаза. «Зайди, – говорит, – дедушка, ко мне...» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых – или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятнико-

вым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, – косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

– Будем посмотреть, дедушка...

– Что это я сижу-то, – спохватился Родион Потапыч. – Меня ведь парень-то ждет во дворе.

– Оставь, дедушка, – вступился Карачунский. – Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

– Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

– Это которая? – припоминал Карачунский. – Одна с серыми глазами была…

– Вот эта самая, Степан Романыч… Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

– Да, действительно, неприятный случай… – тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

– Что же я теперь должен делать?

– Гм… да… Что же, в самом деле, делать? – соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. – Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать… Когда Феня ушла?

– Да уж четвертые сутки… Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божецкую милость, вороти девку… Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть что-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают…

– Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что

я ничего не могу сделать!.. – взмолился Карачунский. – Уж для тебя-то я все бы сделал.

– Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина – вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

– Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

– У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, что пес налакал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

– Сколько ей лет?

– Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

– Нельзя воротить: совершеннолетняя...

– Как же, значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, чтобы потакать.

– Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, – предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. – Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я

его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

– Ежели бы жив был Иван Герасимыч, – со вздохом проговорил он, – да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж; видно, через волость.

– Ничего не могу поделать! – уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

– Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

VII

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К®» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия.

Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело – едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая – этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу

попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, – тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании, – она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек – совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский; он постоян-

но манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляю-

щим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышиный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по

горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, – в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

– Вы знаете этого... этого Кишкина? – обратился он неожиданно к Оникову.

– Что-то такое слыхал... – небрежно ответил молодой человек. – Даже, кажется, где-то

видал: этакий гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное...

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

– А вы как думаете, Карл Иваныч? – обратился к немцу Карачунский.

– Что я думаю? – ответил немец вопросом. – Я думаю, что будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» – со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его

приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

– Сейчас будут-с, – докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

– Вчера у меня был Родион Потапыч, – заговорил Карачунский без предисловий. – Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

– Что же, мы всегда готовы помириться... – бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. – Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе не утолчешь...

– Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

– И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

– Да... это действительно... Как же быть-то Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

– А уж что бог даст, – решительно ответил Кожин. – По моему рассуждению так, что, конечно, старику обидно, а судом дело не поправишь... Утихомирится, даст бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

– Ничего, все устроится помаленьку, – утешал Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

– Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

– Что же ты не благодаришь Степана Романыча? – говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. – Они весьма нам могут способствовать...

– Не нужно, не нужно... – отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. – Для такой красавицы можно и без благодарностей сделать все.

Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и ба-

рабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского зароились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим

приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гре-

мела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

– Ну, дедушка, что новенького?

– Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... – угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время

хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе, – Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

– Вот что, Родион Потапыч, – заговорил Карачунский после длинной паузы. – Я посылал за Кожиным... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

– Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

– А это что значит: проклял?

– А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня домой, тогда прощу.

– Ну, это ваше дело, – равнодушно заметил Карачунский. – Я свое слово сдержал... Это

мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, – это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

– Это с двадцати пудов? – заметил Карачунский. – Недурно… А кто нашел жилу?

– Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, – объяснил уклончиво Зыков. – Все фотьянские… Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, – это будет очень эффектно и в заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело по-

двигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилия-

ми, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси!» – думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

VIII

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерье подала Марья.

– Одна она управится с тятенькой, – говорила девушка потерявшей голову матери, – баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

– Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, – стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. – Свою кровь не пожалел…

– Уж баушка Лукерья знает, что сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

– Ну, что у вас тут случилось? – строго спрашивала баушка Лукерья. – Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Что же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна

боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

– Иди-ка сюда, воевода, – ласково говорила старуха. – Иди... видишь, в гости к тебе приехала...

– Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

– Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

– Некогда все... Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

– У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

– Не ко времю гоститься вздумала...

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч, – заговорила старуха серьезно, – я к тебе за делом... Ты это что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожурил, постращал,

отвел душу и довольно...

– Что уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

– Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, что молчишь?..

– Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, – оправдывался старик, – зато и расхлебывает теперь горе...

– И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой... Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить... Со своими грехами замаялись, не то что других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подверну-

лась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был не мало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии божием.

– Нет, ты ему, отец, епитимию определи, –

настаивала баушка Лукерья. – Надо так сделать, чтобы он чувствовал…

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

– А теперь и о деле потолкуем, – решила баушка Лукерья. – Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей…

О. Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

– Нет, это пустое, отец, – решила баушка Лукерья. – Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит… Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить… Главное дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и ввернилась…

– Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, – заметил о. Акакий. – Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже… Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой…

– А я ее к себе возьму и выправлю, – решила старуха. – Не погибать же православной душе… Уж я ее шелковой сделаю.

– Будь ей заместо матери… – упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. – Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше…

– У меня отойдет и дурь свою бросит…

О. Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

– Славный бы попик, да молод больно…

– Ему же лучше, что и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный…

– Ну, вот что, други мои милые, засиделась я у вас, – заговорила баушка Лукерья. – Стемнелось совсем на дворе… Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на

есть...

– Да ты верхом, что ли, пригнала? – сурово спросил Родион Потапыч.

– Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено вдосталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

– Куда ты ускорилась-то? – спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. – Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

– Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой что-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

– Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот что тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

– И любезное дело, – согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. – Одной-то

мне, пожалуй, и опасливо по нонешнему времю ездить, а сегодня еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта [5]еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали что ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить...

– Собака-народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

– Вот говорят, что гусь свинье не товарищ, – шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь

вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

– Тьфу!.. – отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. – Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

– Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Что только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

– Глаза бы не глядели, – с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадью. – Охальники... И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленые ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся

из виду.

– Помнишь место-то?.. – тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». – Много тут наших варнацких слез пролито...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

– Когда нашу партию из Расеи пригнали, – продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, – дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обыкновенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, что без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся на-

ша партия тоже… Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, что в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой.

– Привели-то нас, как теперь помню, под вечер… – продолжала баушка Лукерья. – Мужицкая каторга каменная, а наша, бабья, – деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть… Этак с крайчику, слева значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жмется около меня: она в партии-то всех помоложе была и из

себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

– Молчи, ради Христа! Молчи... – простонал Родион Потапыч.

– Дело прошлое, что греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добреющий человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была... О, грехи, грехи!..

– Охальник был... – сурово заметил Родион Потапыч. – Собаке собачья и смерть.

– Понапрасну погинул, это уж что говорить! – согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. – Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек

семейный...» Слезьми заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешнаго.

– Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

– А пошто же на палача Никитушку говорили?

– Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

– Сказывают, Никитушку недавно в городу видели, – говорит старуха. – Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

– Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

– Бывал он и у нас в казарме... Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к

наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то...

– Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, – перебил ее Родион Потапыч, – а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время... А теперь-то что?.. Не то что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то что будет?..

– На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

– Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты того, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на

то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

IX

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах: коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при

шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

– Да вы тут совсем сбесились! – гремел старик на подгулявших рабочих. – Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

– А ты не больно того... – огрызался он из своей засады. – Слава богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть! Да...

– Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите!..

– Обыкновенно, ты ответишь, – сказал Лучок. – Ты жалованья-то пятьдесят целковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват... А с меня за двадцать-то целковых не много возьмешь.

– Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

– И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

– Ступай, пожалуйся на меня, пес! – кричал старик вдогонку лукавому рабу. – Я на твое место двадцать таких-то найду…

– А мне плевать! – слышался из темноты голос Лучка. – Ишь, как расшеперился… Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на непременном условии, что это «в последний раз». Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штегерях», а может быть, и главным

штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, – живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипеньем и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода;

слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из

своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой – золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало на-караул даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же

происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой – солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» – парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся

и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое тру-

долюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

– Одна сестра с сахаром, другая с медом, – шутил смотритель, – а я до сахару большой охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смот-

рительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

– Что это с тобой Родион?.. Как будто ты не в себе...

– Неможется, Антон Лазарич, – сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону.

Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч

с молодой женой и никогда ни одним словом не напоминал ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

– Не девушкой я за тебя выходила замуж... – шептали побелевшие губы. – Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

– Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

– Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: по-

койник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось – молчал, хорошо – молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков... И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточ-

ную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, – подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. – Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмуща-

ла его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал – золотник золота обходился казне в 27 рублей при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенеся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое насе-

ление очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средствием, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонными заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли ра-

ботать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев – настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерей-

ной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

– Этакое обзаведенье и задарма пропадает... Что бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все...

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был

приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика Оникова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи

было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее...» – мечтала иногда Дарья.

Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

– Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет...

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

– Связала я тебя, Ермолай Семеныч, – гово-

рила она мужу о себе, как говорят о покойниках. – В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене... Девка чистяк. Ох, нейдет моя смертынька...

– Разве не стало невест? – резонировал Ермошка в тон жене. – Как помрешь, сорок ден выйдет, и женюсь...

– В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч. Любую да лучшую выбирай.

– В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю... Слава богу, и мы не в угол рожей-то.

– Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают...

– Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь...

– Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч... Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы уме-

реть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничего не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья – его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому

что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

– Ну-ка, боговы работнички, поворачивай! – покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно галдевшую толпу старателей.

– Благодетель, на тебя стараемся! – отвечали пьяные голоса. – Мимо тебя ложки в рот не пронесешь… Все у тебя, как говядина в горшке.

– А куда бы вы без меня-то делись? А?..

– Уж это ты правильно, отец родной…

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

– Шел бы ты домой, Тарас, – часто уговаривал его Ермошка, – дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

– А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

– А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял

необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что – погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

– Погодите, братцы, рассчитаюсь… – уверял Мыльников. – Уж я достигну… Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

– Да ты с какой это радости расширился? – спрашивал его Ермошка. – Наследство, что ли, получил?..

– А тебе какая печаль?.. Х-хе… Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, те-

перь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего...

– У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь...

– А что, ежели, например, богачество у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой... А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да этаким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

– По одежде встречают, Тарас... Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

– Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот... Вот я каков есть человек...

– Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого... Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменый Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка и сам Петр Васильич. Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменый Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным.

– Андрон Евстратыч, пусти в канпанию…

– Рылом еще не вышел… – отвечал Кишкин торжественно.

– Да ведь все равно мне же золото будете

сдавать, – тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

– Уж это как господь приведет... Одно – сдавать золото, другое – добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семеныч.

– А у Мыльникова легкая?

– Пух – вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказыва-

ли о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где собственно схоронилось мутяшское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и Кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый:

– Уж я произведу... Во как по гроб жизни

благодарить будете... У меня рука легкая на золото; вот главная причина... Да... Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

– Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! – кричал он. – А твоя красная бумага на помин моей души пойдет... У волка в зубе – Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказы о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж по-

том, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

– Не надо ли партию? – спрашивали старатели. – Может, насчет того, чтобы ширп ударить...

– Нет, мы этим не занимаемся, – продолжал отводить глаза отпетый городской человек. – Я по своим делам...

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

– Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотелось отведать... Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские... Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек...

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак я за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

– Да что тут говорить: выставляй прямо четверть!.. – бахвалился входивший в раж Мыльников. – Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, – вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

– Ишь, как воронье, облепили кабак! – злорадствовал Ермошка. – Только и канпания... Тут ходи да оглядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую

шубу и бобровую шапку.

– Никите Яковличу, благодетелю!.. – слышались голоса раболепных прихлебателей. – Не хошь ли местечко потеплее?..

– Ладно, заговаривай зубы, – сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом приисковую рвань. – Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю... Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали; все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, – он пил запоем, – хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

– Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

– Не те времена, Никита Яковлич, – подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребову безграничное уважение.

II

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с

похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведывавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльникова была самая провалённая, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать своим «средствием», и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маяты. Ме-

стом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти – везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды – и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в

семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники: и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и

вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Оксю, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Оксю, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

– И в кого ты у нас уродилась, Оксю, – часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. – Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

– Такая уж уродилась, мамынька, – отвечала Оксю, не разгибаясь от работы. – Вся тут…

– Ох, горе ты мое, Оксю! – стонала Татьяна. – Другие-то девки вот замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь… Кому тебя нужно, несообразную!

– Бог пошлет счастья, так и я замуж выйду, мамынька… Слава богу, не хуже других.

– Ох, дура, дура…

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

– Стерва, знаешь хлеб жрать! – ругался он. – Пропасти на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

– Бесчувственная стерва… – удивлялся Тарас, измучившись боем. – Что ее учи, что не учи – один прок.

К счастью Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала – никто не знал, да и не интересовался знать, а

Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей – событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменый.

– Милости просим, – приглашал Тарас. – Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да вызнают... Тоже народ ноне пошел, шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки... Да у меня смот-

ри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и бросилась к двери.

– Эй ты, пень березовый! – остановил ее отец. – Стой, дура, выслушай перво… Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

– Ну не дура ли набитая? – повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

– Однако и дворец у тебя, Тарас, – удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть. – Одним словом, хоромина.

– А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменый дол-

жен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменых в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

– Так ты нам с начала рассказывай, Мина, – говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. – Как у вас все дело было… Ведь

ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

– Был, как же, – соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. – Большая партия была…

– Это при Разове было? – справился Петр Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

– Не перешибай ты его! – останавливал Тарас. – Старичок древний, как раз запутается… Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырни!

– Большая партия была… – продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. – В кандалах выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые… лес… Казаки за нами с нагайками… Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб-то и подмок… Оголодали, промокли… Ну, Разов нагнал – и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог… Лютый человек был. Ну, на Мутяшке-то мы цельный месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал… Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпалыскать… Ну, старец-то принял наказание, перекре-

стился и Разова благословил... «Миленький, – говорит, – мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить... Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца... Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел, да и подзывает меня. «Что вы, – говорит, – понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками...» – «Как же, – говорю я, – взять его, дедушка?» – «А умеючи, – говорит, – умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя... Надо, – говорит, – чтобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да ширп бы она же указала...» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло... На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить – и нет ничего. Так ни с чем и ушли...

– Ну, а про свинью-то, дедушка, – напомнил Тарас. – Ты уж нам все обскажи, как было дело...

– Тоже старец сказывал... – продолжал Ми-

на, с трудом переводя дух. – Он сам-то из Тайболы, старой веры... Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и что бы ты думал, братец ты мой?.. – лопата как зазвенит... Мужик даже испугался... Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался... Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло, и как будто ноги – как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть... Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, на смерть начальство запороло... Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно...

– Да не дурак ли? – вздохнул угнетенно Петр Васильич. – Бог счастья послал, а он испугался...

– Не перешибай! – оборвал его Тарас. – Дай кончить.

– И сделалось мужику страшно, так страшно – досмерти... Ежели продать самородок –

поймают, ежели так бросить – жаль, а ежели объявить начальству – повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

– Ах, дурак мужик!.. – воскликнул Кишкин. – Ну, не дурак ли?

– Да еще какой дурак-то: бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл... Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак...

– Удавить его мало! – заявил со своей стороны Тарас. – Да ежели бы мне бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи... Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменый даже напугался, что все накинулись на него.

– Да ведь это не я, братцы! – взмолился он, забиваясь в угол.

– Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжарить на огне… Дурак, дурак!

Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивая руками и лез к Мине с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

– А мы его найдем, самородок-то, – кричал Мыльников, – да к Ястребову… Ха-ха!.. Ловко… Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой… Ведь мы то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

– Как есть родня: троюродное наплевать.

– А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю…

– Ну, братцы, надо об деле столковаться, – приставал Кишкин. – Первое мая на носу, надо партию…

– Валяй партию, всех записывай! – кричали пьяные голоса. – Добудем Мутяшку… А то и самородку разыщем, свинью эту самую.

– Я на себя запишу заявку-то… – предлагал Кишкин.

– Конечно, на себя: ты один у нас грамотный…

– А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то, предлагал Мыльников, – она хоша и круглая дура, а честная…

– Можно и сестру Марью на такой случай вывести… – предлагал расхрабрившийся Яша. – Тоже девица вполне… Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

– Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела, – уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях.

– Они теперь совсем одурели… – коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. – А тятенька прямо на стену лезет…

– Да разве на одной Мутяшке золото-то? – выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. – Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота…

Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

– Перестань врать, непутевая голова! – оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменый давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

III

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие

ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голытьба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

– Ничего, пусть поволнуются... – успокаивал Карачунский. – По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь...

– А время-то какое?.. – жаловался Родион Потапыч. – Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял... Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они и губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останем-

ся, Степан Романыч.

– Вздор... Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае я ничего страшного пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

– Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать... Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его и раньше.

– Уж этот уцелеет... Повесить его мало... Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась – водой не разольешь. Рука руку моет... А что на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись... Смута такая пошла, что не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три... Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел господь дожить. Не глядели бы глаза.

– Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

– Устроил... – коротко ответил он, опуская глаза. – К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья... Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и опеределил Феню пока что...

– А потом?

– А потом уж что господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

– Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней...

– Петр Васильич? – подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

– Он самый... Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело – с Кишкиным канпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил... У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была упо-

треблена военная хитрость. Во-первых, к Кожиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

– Конечно, построжит старик для видимости, – объясняла она старухе Маремьяне, – сорвет сердце… Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

– А как он ее запрет дома-то? – сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла.

– Запре-от? – удивилась баушка Лукерья. – Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать… Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут… Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме…

– Это ты правильно, баушка Лукерья… – туго соглашалась Маремьяна. – Хошь до кого доведись.

– Я-то ведь не неволю, а приехала вас же

жалеючи... И Фене-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

– Уж ты-то помоги нам, баушка...

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед женины-ными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было Готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в по-

шевни и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной.

– Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? – взмолилась Феня.

– А вот узнаешь, куда…

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась: баушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце показалась голова

самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

– Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, – сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты – в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

– Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, – приглашала баушка Лукерья. – Сядем рядком да поговорим ладком...

– О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось... А где у тебя змей-то кривой?

– Ох, не спрашивай... Канпанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца-краю нету. Только что и будет... Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвеич, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведенье. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь...

– Ты с нее одежу-то ихнюю сыми первым делом... Нож мне это вострый. А ежели наго-

нят из Тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

– Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч... Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

– Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать... Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась чего он боится, именно встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

– Приеду как-нибудь в другой раз... – глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. – А теперь мутит меня... Говорить-то об ней даже не могу. Ну, прощай...

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

– Баушка, родненькая, мне страшно... – несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

– Страшнее того, что сама наделала, не будет...

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминаючи любовные речи Акинфия Назарыча... Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

– Не о себе ревешь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть... Недаром слово молвится: до порога.

– Хошь бы я словечко одно ему сказала... – плакала Феня. – За привет, да за ласку, да за его любовь...

– Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, – ворчала старуха, свертывая даре-

ное платье. Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок... А ты у меня пореви, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

– А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей, – рассказывал в темноте баушкин голос. – Сегодня одна, завтра другая... Конечно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги, тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный,

за который и взыску нет: чего с каторжанок взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, чтобы польстилась в другую веру уйти... Терпеть – терпели всячину, а этого не было. И бога не забывали и в свою православную церковь ходили... Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и поживем. Вот это какое дело... расейский народ крепкий, не то, что здешние.

Феня внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка принесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

– А ты того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец, и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить?

Разве ихнее крещенье правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку – только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?.. Другая девушка не сохранит себя, – вон какой у нас народ на промыслах! – разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет... Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, что у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

– Баушка, миленькая, я думала, что... Очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь...

– А Маремьяна?.. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, закостенела она в своей старой вере...

– А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить...

– Тогда другой разговор... Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени...

Каждый вечер происходили эти тихие лю-

бовные речи, и Феня все больше проникалась сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернулась бы птицей и полетела… Хоть бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиным о золоте.

– Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч, – пригласил он наконец смущенного Кожина, – может, дома-то лучше сговоримся…

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

– Вот что, друг милый, – заговорил Петр Васильич, – зачем ты приехал – твое дело, а только смотри, чтобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай…

– Тише воды, ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду…

– То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула Феню на свою руку… Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать – хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

– Вот что, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь, – обрезала баушка Лукерья. – Захотел Феню повидать? Так и говори… Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял

неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

– Феня... – зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

– Не подходи, Акинфий Назарыч... – остановила она. – Что тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

– Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

– Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч... Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели...

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

– Хочу, чтобы все по нашей вере было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крякнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно

мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

– Бог тебе судья, Федосья Родионовна... Не так у меня было удумано, не так было сложено, душу ты во мне повернула.

– Зачем ты ее сомущаешь? – остановила его баушка Лукерья. – Она про свою голову промышляет...

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

– Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя...

– Ладно, я еще сама с тобой поговорю... Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

– Не о чем, видно, нам разговаривать-то, – решил он, прощаясь. – Пропадай, голова, ни за грош, ни за копеечку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

– Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

IV

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, – все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровой даче, а это требовало и времени и уменья.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем, – старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на доро-

ге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкапик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

– Всем сестрам по серьгам! – говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. – Что такое теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хи-хи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет... всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались – надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и быльем поросло, а тут вдруг сюрпризец... Пожалуйте, на цугундер, имярек! Хи-хи... Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет... Погодите, всех

выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка... Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и какой: добренький, старенький, бедненький... Пешочком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на пись-

менный стол, сказал, что рассмотрит ее.

– Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие, – смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. – Маленький человек… Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко… В горных делах царила фамилия Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

– Ну что, Андрон Евстратыч? – спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг. – Каково прыгаешь?

– Да вот думаю золотишко искать в Кедровской даче.

– Разве лишние деньги есть?

– На мои сиротские слезы, может, бог и пошлет счастья...

– Что же, давай бог нашему теляти волка поймати. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим...

– Знаю я вашу дружбу...

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в со-

седнюю комнату и строго спросил:

– Ты это что, сбесился, Андрошка?

– А что?

– А вот это самое… Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

– Не поглянулось?..

– Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался… Его не проведешь.

– Вот что, Илья Федотыч, – заговорил Кишкин деловым тоном, – теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

– Ах, пес!..

– Вот тебе и пес… Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите. И походите, даже очень походите… А пока что, думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

– Не дадим, – коротко отрезал Илья Федотыч.

– Нет, дашь... – так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. – В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться...

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

– Ну, черт с тобой, делай заявку...

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч трухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что отсюда до грани Кедров-

ской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

– Что мы разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? – выкрикивал Петр Васильич. – Ему хорошо, так и другим тоже надо... Как собака лежит на сене: сам не ест и другим не дает. Продался канпании и знать ничего не хочет... Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал...

– По кабакам бы меньше пропивали!

– Кабак тут не причина, маменька... Подшибся народ вконец, вот из последних и канпанятся по кабакам. Все одно за канпанией-то пропадом пропадать... И наше дело взять: какая нам такая печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро до-

ждешься... В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

– Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, – весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

– А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич, – ответила старуха, – жить живи себе на здоровье, а только боюсь я...

– Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

– Да как же, начнешь золото скупать... И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

– Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, – успокоил он, – у меня один закон

для всех: кто из рабочих только нос покажет с краденым золотом – шабаш. Чтобы и духу его не было… У меня строго, баушка.

– То-то, миленький, смотри…

– В оба глядим, баушка, где плохо лежит, – пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. – Не бойся, а только живи веселее, – скорее повесят…

– С тобой, с разговором, и то повесят…

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

– Ну, это не фасон, Петр Васильич, – ворчал Кишкин. – Ты что раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

– Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька, – отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

– Не ври уж в глаза-то, а то еще как раз подавишься...

Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, насос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Канун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

– Это твоя работа, анафема!.. – корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. – Вот сколько народу обоврал...

– Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городу деньги легкие... Пусть потешатся.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхом, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту, – его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

– Ты у меня, оборотень, смотри!.. – пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. – В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменый, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а

остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно вожаком служил Мина Клейменый, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

– Ты, дедушка, не ошибись, – упрашивал Кишкин. – Тоже не молодое твое место… Может, и запамятовал место-то?

– Чего его запамятовать-то? – обижался Мина. – Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордон, а мы повернем влево, к Каленой горе…

– Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

– Ах, какой же ты, братец мой, непонятный! Ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

– Смотри, старый, не ошибись…

Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного.

– А где же Ястребов-то? – спохватился он. – Ах, батюшка... Как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет.

– Чай остался пить с Ермошкой... – объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четыреста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани, – это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили и приходилось людям и лошадям брести по вязкой

грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазнило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

– Это твоя работа... – шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму. – Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину чернем лопаты.

– Ну ты, скотинка богова... – ворчал он. – Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла повертка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

– Мина, смотри, не ошибись! – кричали голоса. – Кабы на Малиновку не изгадать...

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех.

– Тятька, кто-то на вершной проехал, – заявила Окся, показывая на повертку к кордону. – Остановился, поглядел и поехал…

– Да куда поехал-то, чучело гороховое?

– А за вами…

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

V

Ночь на первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермошка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неведомые люди, на-

гнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

– Руби столбы, ребята! – командовал Кишкин, размахивая руками. – До двенадцати часов поставлены... Не по закону!

– Врешь, у тебя часы переведены! – кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. – Не тронь мои столбы...

Поднялся шум и гвалт... Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

– Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние!..

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась

неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

– Что за драка? – крикнул он. – Убирайтесь вон с моего места, дураки!..

– Давно ли оно твоим-то стало? – огрызался Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. – Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился.

– Ну, ударь?!. – ревел Кишкин, наступая. – Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показать...

– Не хочу! – отрезал Ястребов. – Вы в моей заявке столбы-то ставите... Вот я вас и уважу...

– Но-но-о?

– Да уж видно так... Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

– Андрон Евстратыч, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит, – шепотом

сообщил Мыльников. – Верно говорю... Должон он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот так дали маху, нечего сказать...

– Вот что, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, – шепнул Кишкин, – может, скорее придешь... Да не заплутайся на Маяковой слани, где повертка на кордон.

– Уж и не знаю, как мне быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

– Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! – пригрозил Кишкин. – Лупи во все лопатки...

– А как же, например, Окся?

– Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

– Так где казенные-то ширпы были? – допытывался он.

– А вон туда, к самой горе…

– И старец там лежал под елочкой?..

– Там… Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем…

– Ну, а как насчет свиньи полагаешь? – уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. – Где ее старец-то обозначил?..

– Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку…

– На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

– Это он вообще насчет золота…

– Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

– Может статься… Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

– Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

– Разве говорил? Ну, значит, в лесу…

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

– Вставай ты, барышня… Возьму вот оряси-

ну, да как примусь тебя обихаживать.

– Отстань!.. – ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. – Умереть не дадут…

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменый пошел за ними. Никто из партии не слыхал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

– Один, видно, заполучить свинью захотел, – возмущался Петр Васильич, продираясь сквозь чащу. – То-то прохирь: хлебцем вместе, а табачком врозь… Нет, погоди, брат, не на таковских напал.

С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменый привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казенным разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и наконец повел к Мутяшке.

– Ну, народец!.. – ругался Петр Васильич. – Все один сграбастать хочет...

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменый вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

– Ну, ищи!.. – толкал Кишкин ничего не понимавшую Оксю. – Ну, чего уперлась-то, как пень?..

– Да я тебе разве собака далась?! – огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. – Ищи сам...

– Ах, дура точеная... Добром тебе говорят! – наступал Кишкин, размахивая короткими

ручками. – А то у меня, смотри, разговор короткий будет...

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

– Ах, дураки, дураки!.. – заливался Ястребов, качая головой. – То-то дураки-то... Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

– А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич, – ответил Петр Васильич с важностью, – дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

– Боишься, что вашу свинью найду?

– Это уж не твоего ума дело...

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина Клейменый стоял на одном месте и крестился.

– С нами крестная сила! – шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

– Слышал? Как он захохочет…

– Не поглянулось ему… Недаром старец-то сказывал, что зарок положен на золото. Вот он и хохочет…

– А у меня инда мороз по коже…

На месте действия остались Ястребов и Петр Васильич.

– Все я знаю, други мои милые, – заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу. – Бабьи бредни и запуки, а вы и верите… Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся – только и всего. Не положил – не ищи… А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом… Напрасно ты ввязался в эту свою канпанию: ничего не выйдет, окромя того, что время убьете да прохарчитесь…

Петр Васильич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

– Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

– А такая... Ты от своей-то канпании не отбивайся, Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим – это другое. Понял теперь?..

– Как будто и понял, как будто и нет...

– Ладно, ладно... Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этаких делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил – так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевом мысу и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

– Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу... А Мина Клейменый идет за ней да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха...» То-то идолы!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомандовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колдуны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает... И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы он не захохотал. Учуяла Оксюха

золотую свинью было совсем, а он как грянет, как захохочет...

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

– Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богачества – один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой...

– Отстань, смола! – огрызался Кишкин. – Что пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал бы себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевом же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки по Мутяшке с

ее притоками – Худенькой и Малиновкой, а также по Меледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину – везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли; рядом с ними строгали и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тя-

желая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

– Строгали и ходят-то, так ровно на костылях, – смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. – В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской...

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

– Обыщем золото, а ухватят его хозяева, – роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. – На них не наробишься... Главная причина во всем – деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким

образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

– Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! – громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. – Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал... Не велики деньги, а так и помрешь без них.

– Уж это ты верно... – уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем. – Люди родом, а деньги водом. Кому счастки... Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст – за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствия хрустнувший под ногой сучок.

– Ты, уродина, чего тут делаешь? – накинулся на нее Матюшка.

– Ишь, подслушивает, – заметил кто-то из рабочих. – Дура, а на это смысел тоже имеет…

– Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморош-ная какая-то…

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

– Ай да Матюшка! Уважил барышню… То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянулась собаке палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла… Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую

полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

VI

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, – по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от 60 до 100 рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

– Будет день – будет хлеб!.. – утешал он себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, – все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим пе-

рекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет... Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями...

– Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин! – вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. – Стали бы ухаживать за мной... лебезить... Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как то совсем позабыл о своем

доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхватано по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

– Для счету прихватил, – объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. – Что ему, болоту, даром оставаться... Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеем мы, видно, с тобой заодно...

– Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич...

– Кто гусь-то, по-твоему?

– А уж как это тебе поглянется...

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет... С ним появлялся иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники – мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

– Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать, – подшучивали над Ястребовым. – Как пить дашь.

– Было бы что скупать, – отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. – Вашего-то золота кот наплакал... А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей... Так

ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку...

– Было, да сплыло, – огрызался Кишкин. – Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь...

– А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть... Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

– Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь... Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

– Это ты правильно... ха-ха!.. – засмеялся Ястребов. – Не было бы разбойников, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

– Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон

Евстратыч... Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать... Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу... Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три целковых.

– Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

– Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

– Утешил ты меня, Никита Яковлич... Благодетель, говоришь?!. Ха-ха... В самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие... А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

– Что же это Мыльникова нет? – по

нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича. – Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльникова все нет.

– Ужо я сам схожу… – предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

– Ну нет, брат, шалишь! – озлился Кишкин. – Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать…

– Да ведь надо в волости объявиться? – сказал Петр Васильич. – Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои… Это тоже не модель.

– Ладно, сказывай… – ворчал Кишкин. – Знаю я вас, охаверников. Уж только и нар-родец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою.

– Да ведь ты сорок-то верст две недели проползешь, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге…

Мыльников явился через три дня совер-

шенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

– А я думал, что Андрона Евстратыча пымал за ногу-то, – объяснял Мыльников. – По ногам-то вы схожи...

– А ты разуй глаза-то сперва... Где пропадал, путаная голова?

– Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

– Прихожу это я на Фотьянку, чтобы в волости в книгу записать заявку, – рассказывал он слезливым тоном, – а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал...

– Ну-у? Да не подлец ли... а?! Ах, жулик...

– Верно говорю... Значит, теперь, так сказать, и наша заявка пропала и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились – он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас...

– Ну, это он врет! – сказал Кишкин. – Он,

значит, из пяти верст вышел, а это не по закону... Мы ему еще утрем нос. Ну, рассказывай дальше-то...

– Что дальше-то, – обезножил я, вот тебе и дальше... Побродил по студеной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

– Ой, врешь! – усомнился Петр Васильич. – Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то...

– Одинова, это точно, согрешил... – каялся Мыльников. – Силком затащили робята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, например, и вдруг трах! следователь... Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следователь не простой, а важный – так и называется: важный следователь.

– Это что же, по твоей, видно, жалобе? – уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. – Вот так крендель, братец ты мой... Ловко!

– Ну, рассказывай, – торопил Кишкин, принимая деловой вид. – Не важный следователь,

а следователь по особо важным делам...

– А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, что заварил ты кашу... Ка-ак мне это самое сказали, что гумага и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик... Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следователь, например-но, ко мне: «Вы Тарас Мыльников?» – «Точно так, ваше высокородие...» – «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» – «Точно так-с...» – «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высокородие... Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

– Вот и вышел дурак! – озлился Кишкин. – Чего испугался-то, дурья голова? Небось, кожу не снимут с живого...

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

– Да ты послушай дальше-то! – спорил

Мыльников. – Следователь-то прямо за горло… «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» – «Не подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил – это было…» И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул… Как олень летел!

– Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

– Испужался, Андрон Евстратыч… И сюда-то бегу, а самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот те Христос…

Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вариантами и украшениями.

– Что же ты молчишь, Петр Васильич? – спрашивал Кишкин.

– А что мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги… Поволокут теперь по судам.

– А где моя Окся? – спрашивал Мыльников

в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

VII

Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, – это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать

бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи, – все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

– Кабы раньше жилка-то провернулась… – повторял Кривушок. – Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи… Куды мне теперь богатство?..

Около Кривушки собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство.

– Ты бы хоть избу себе новую поставил, – советовал Фролка, – а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежи…

– Угорел я, Фролушка, сызнова-то жить, – отвечал Кривушок. – На что мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю… С собой не возьмешь. А касаемо одежи, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатах…

Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

– Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой, – предупреждал Карачунский. – То же будет, что с Спасо-Колчеданской...

– А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь... Он то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то что на Краюхином увале...

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка, – последний не хотел признавать Рублихи.

– Обманет она, эта самая Рублиха, – упрямо

повторял Лучок.

– Да почему обманет-то?

– А так... Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати саженях... Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно... Такая надежнее, а эта игрунья: сегодня позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель...

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новее дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

– Уж будьте спокойны, Степан Романыч, – уверял Зыков. – Голову отдам на отсеченье, что Рублиха вполне себя оправдает...

Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед,

а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженях на двадцати в глубину. Таким образом зараз решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях – вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих была построена конторка, где поселился в одной каморке Родион

Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни, – одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара – сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около 20 пудов золота.

– На Фотьянской россыпи больше ста пу-

дов добыли, – повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность Дернихи. – Вот ужо Рублиха наша ахнет, так это другое дело...

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо умеючи взять, да не всякому оно дается в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик – никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это бы-

ли первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбочится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Положим, старик уважал Оникова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно: приедет в белых перчатках и давай распоряжаться – это не так, то не

так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе.

– Приедет, папиросу выкурит – и вся тут работа, – жаловался Зыков Карачунскому. – Ежели бы ты сам, Степан Романыч...

– Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать... Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фотьянки рукой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

– Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху – только его и дела, – ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому посто-

роннему глазу. – У другого такой глаз, что его и близко-то к шахте нельзя пущать... Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту...

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

– Это по делу Кишкина? – спросил он.

– Видно, по ему по самому... По первоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял...

Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала Зыкова, а главное, не вовремя она

явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

– Следователь-то у Петра Васильича в дому остановился, – объяснил сотник. – И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требовает к себе...

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнуло незаметно. Перед избой Петра Васильича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменый, и Яша, и Турка, и Мыльников – одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

– Тятенька!.. – вскрикнула девушка и оста-

новилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию – что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему...» – подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васильич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

– А, очень приятно... – оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. – Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следо-

ватель движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

– Вы Родион Зыков?

– Точно так-с...

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

– Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?

– Точно так-с... Я уж сорок лет состою главным штейгером.

– Ага... – протянул следователь, быстро окидывая его глазами. – Тем лучше... Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

– Разрабатывался...

– Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? – повторил следователь.

– Годом не упомню, ваше высокоблагоро-

дие, а только еще до воли это самое дело было, – ответил без запинки Зыков.

– Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно... А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

– Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе – мы не обычны знать, – до конторы я никакого касательства не имел и не имею...

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил:

– Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортички.

– Да ты не путляй, Шишка! – разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. – Разве я к вашему кон-

торскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, – ты и отвечай…

– Вы должны отвечать только на мои вопросы, – строго заметил следователь.

– А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? – ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

– Это к делу не относится… – заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

– Вы его под присягой спросите, господин следователь, – подговаривал Кишкин, осклабляясь. – Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках…

– Это уж мое дело, – ответил следователь, продолжая писать. – Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?

– Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю… – заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. – По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным… Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а что они там в конторе делали – я неизвестен. Да и дав-

но это было... Ежели бы и знал, так запамятовал.

– Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

– Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, – ядовито заметил следователь. – Вам должно быть ближе известно, как велись работы... Старатели работали в Выломках?

– Не упомню, ваше высокоблагородие...

– Так я вам напомню: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету работы.

– Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие...

– Это все равно, только слова разные...

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что

Зыков – главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских, а затем подновление казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый.

Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

– Мы ему башку отвернем, старой крысе! – ругались рабочие. – Какое время-то стоит – это надо подумать...

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина...

– Ты что же это, Петр Васильич? – корил его Кишкин. – Как дошло до дела, так сейчас и в кусты…

– Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратыч…

– Ладно… Увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже у следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом заявлял:

– Господин следователь, у меня лицо чистое… Ничем я не замаран, а чтобы насупротив совести – к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников…

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился

из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

– Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! – взмолился наконец упрямый старик. – Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

– Вы сами виноваты, что затягиваете дело...

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чудеса, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, – сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ сходился со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным об-

разом наживали деньгу фотьянские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

VIII

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все «господа»: и Ястребов и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась

как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала.

– Ты уж, голубка, постарайся... – ласково говорила баушка Лукерья. – Ноги-то у тебя молодые...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по разным углам, – и только. А тут деньги повалили сразу... Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро, – ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебрушки. Баушка Лукерья с ка-

кой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, что господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

– Чего ты сумлеваешься, глупая? – усовещивала ее старуха. – Дикие у них деньги... Не убудет, небось, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновенье очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая, так чужая...» – с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и

этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

– Старайся, милушка, и полушалок куплю, – приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени. – Где нам, бабам, взять денег-то... Небось, любезный сынок Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе... Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

– У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас: сидишь, даже одурь возьмет... Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али жаловаться начнет, а я как очумелая... Завидно на других-то делается.

– Тятенька-то сколько разов был у нас, – рассказывала Феня. – И не глядит на меня... Хуже чужого.

– И домой он нынче редко выходит... С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А

уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак... Дома-то все равно нечего делать.

Рассказывала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

– Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке, – говорила она сквозь слезы. – Молодой он, горе-то скоро износит... Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

– Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч... В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да посиди, а они везде пошли да поехали... Небось, найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

– Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то, – завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру. – Тоже, подумаешь, счастье людям... Мы вон за богатых слывем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет.

Тятенька-то не расщедрится… В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся… Иголки не на что купить.

– Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

– Ну, сказывали, что и тебе тоже перепадает… Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили, – тот двугривенный даст, другой полтину…» Побожился, что не врет.

– Я баушке Лукерье все отдаю, Марья… На что мне деньги?..

– Вот уж это ты совсем глупая… Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обжаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отдавай. Себе оставляй… Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей…

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

– Я баушку Лукерью ввек не забуду, – говорила Феня. – Она меня призрела, приголубила… Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались, благодаря этому разговору, довольно холодно. У Фени все-таки воз-

никло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка И даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван свидетелем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

– Пойдем, касатик, в заднюю избу... – предложила баушка Лукерья. – Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

– Спасибо, бабушка, – охотно согласился Карачунский.

– Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку... – говорила заученным тоном старуха. – Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следо-

вало, и ему, действительно, приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на дороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

– Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? – спрашивал удивленный Карачунский. – Вот приятная неожиданность...

– Я уж давно здесь... у баушки Лукерьи...

– Ага... – протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. – Так... Что же, дело прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самоварчика.

– С-сею минуту, касатик...

Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

– Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже

не узнал вас с первого взгляда.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

– Вы смеетесь, Степан Романыч... – тихо прошептала она со слезами на глазах. – Не до красоты мне.

– Да, да... Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?.. Да? Ну, что же делать... В жизни приходится со многим мириться. Гм...

Он присел к столу и своим душевным голосом начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Ак-

инфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

– Бедненькая… – еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке. – Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

– Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

– Ничего, касатик… Пока бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

– Что вы, Степан Романыч…

– За хлопоты: я ничего даром не люблю брать…

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фе-

не ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

– Ну-ка, кажи, что он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

– Мамынька, хоть издали покажи, сколько он дал!.. – упрашивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась – она развернула скомканную ассигнацию при всех.

– Пять цалковых!.. – изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери. – Мамынька, что же это такое? Ежели, например-но, ты все деньги будешь загробаздывать...

– Не твое дело!.. – зыкнула старуха. – Разве я твои деньги считаю?..

– Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька... Кто у нас, например-но, хозяин в дому?.. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

– Нет, нет! – сказала старуха с искаженным

лицом. – Мне!.. Мне!..

– Мамынька, побойся ты бога!

– Уйди от греха, а то прокляну!..

Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей… Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

– Степан Романыч, напредки милости просим!.. – бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. – На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напиться… молочка… Я, значит, здешней хозяин, а Феня моя сестра. Мы завсегда…

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

– А ты собачкой за ним побеги, Петр Васильич… Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него

как заиграл...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, – последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

– Да что это с тобой попритчилось? – недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. – Какой бес поехал на тебе?..

– Чему радоваться-то у нас? – грубила Марья... – Хуже каторжных живем. Ни свету, ни радости!.. Вон на Фотьянке... Баушка Лукерья

совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят… Фене баушка-то уж второй полушалок обещала купить да ботинки козловые.

– А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать… – корила ее мать. – Достаточно натерпелась всего Феня-то.

– Чего она натерпелась-то? Живет да радуется. Румяная такая стала да веселая. Ужо, вот как замуж выскочит… У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба… Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидел Феню и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю…»

– Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет… С пьяных глаз через чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз… Такие ледащие бабенки живучи.

– Не Ермошка, так другой выищется… На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето сколько новых изб поставили. Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое

веселье поднимается... Наши приисковые гуляют.

– Эк тебе далась эта Фотьянка, – ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. – Набежала дикая копейка – вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, у кого велись.

– Много денег на Фотьянке было раньше-то... – смеялась Марья. – Богачи все жили, у всех-то вместе одна дыра в горсти... Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

– Петр Васильич, сказывают, больно что-то форсит!..

– Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, – так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег дело до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому что все им отдает...

– И то дура… – невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. – Вот нам и делить нечего… Что отец даст, тем и сыты.

– Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку… – со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в нянь-ках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец, Яша, в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежи и харчей. Он сильно

исхудал в лесу и еще больше облысел.

– Ну, показывай золото... – приставала к нему Устинья Марковна. – Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

– Погоди, мамынька, будет и золото, – коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь. – Тогда сама увидишь...

– Вот затощал ты, Яшенька, это-то я вижу... Ох, и проклятенное ваше золото, ежели разобрать. А где Мыльников-то?

– Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежда: и ленив, и вороват.

– Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на шахту, по пути ведь...

– Нет, мамынька, достаточно с меня... Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля... Сам большой, сам маленький...

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка и маленький Петрунька так и

повисли на отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятишками куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

– Тятенька, золотой, возьми меня с собой! – каждый раз просила Наташка. – Тошнехонько мне здесь...

– Погоди, возьму... Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

– Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать, – я все умею.

– А Петрунька как?

– И Петруньку с собой возьмем...

– Погоди, говорю.

– Да, тебе-то хорошо, – корила Наташка, надувая губы. – А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит... Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала... Уйду в город, да в горничные наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

– Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куды без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Анна. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес. Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся...

– Что вы, сестрица Анна Родионовна! – уговаривал ее Яша. – Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого...

– Знаю я, о чем вы шепчетесь! – выкрикивала Анна. – Трое ребятишек на руках: куды я с ними деваюсь? Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь...

– Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы:

бросил...

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились в одно причитавшее и ревевшее целое.

– Да перестаньте вы, бабы! – уговаривал Прокопий. – Без вас тошно...

– Я тебе, сомустителю, зенки выцарапаю! – ругала Яшу сестрица Анна. – Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь...

В сущности, бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей, действительно, велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

– Жизнь треклятая! – проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. – Очумел я с ба-

бами, Яша…

– Погоди, зять, устроимся, – утешал Яша покровительственным тоном. – Дай срок, утвердимся… Только бы одинова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади железные путы… Знаю по себе, Проня… А в лесу-то мы с тобой зажили бы припеваючи… Надоела, поди, фабрика-то?

– Хуже смерти… Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивон Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

– Туда же расхрабрился, ворона! – выкрикивала она. – Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

– Будет тебе, Анна… Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-

то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с кнутиком.

– В гости приехал, тещенька... – объяснил он. – Пусти-ка в избу, дельце есть маленькое.

– Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

– Говорю, дело...

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: с Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

– Не тронь его... – объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. – Не бойсь, не потронет.

От Мыльникова по обыкновению пахнуло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал:

– А новость слышала, Марьюшка?

– Какую новость?..

– А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы,

когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно перед ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова.

– Устинье Марковне, любезной нашей теще, многая лета… – заговорил Мыльников с пьяной развязностью. – А слышала новость?

– Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас… – причитала Устинья Марковна. – Не до новостей нам… Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня что оборвалось в середке. До смерти я тебя боюсь… С добром ты к нам не приходишь.

– Это уж не моя причина, тещенька…

– Да говори толком-то! – понукала его Марья, сгоравшая от нетерпенья. – Ну, чего принес?

– А ты вот его спрашивай, – указал Мыльников на Кожина. – Мое дело сторона… Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь за-

всегда лучше бесчестья...

– Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

– Окся-то моя определилась к баушке Лукерье, – проговорил наконец Мыльников, удушливо хихикая. – Сама, стерва, пришла к ней...

– А как же Феня? – зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

– Приказала долго жить... тьфу!.. То бишь, жива она, а только тово...

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

– Да говори ты толком... – приставал к нему Мыльников. – Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори... И с собой ничего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

– У Карачунского она... – прошептал наконец Кожин. – Своими глазами видел. В гор-

ничные нанялась...

Он ударил кулаком по стулу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла:

– У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Что-нибудь да не так...

– Нет, так!.. – ответил Кожин. – Известно, какие горничные у Карачунского... Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели... вы!.. Феня, моя голубка... родная... Что ты сделала над собой?..

– Убьет он Карачунского, – спокойно заметил Мыльников. – Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

– Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

– А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мне жена. Видеть ее не могу... День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь че-

ловек стал: в яму бросить – вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому, – у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю... Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит. Что тут со мной было – и не помню, а вот, спасибо, Тарас меня из кабака вытащил.

– Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

– Не упомню, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит... Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная... Фенюшка, родная, что ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

– Ну, пошли!.. – удивлялся Мыльников. – Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот... Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч... От живой жены о чужих бабах не горюют...

– Отстань… убью!.. – шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

– А что Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? – повторяла Устинья Марковна. – Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать… У всех на виду наше-то горе!

II

Мыльников, действительно, отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

– Ты меня тут подожди, – уговаривался Мыльников. – Я и Феню к тебе приведу… Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю…

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

– Мне Федосью Родивоновну повидать, сочину… – упирался Мыльников в дверях. – Одно словечко молвить…

– Ступай, ступай! – напирал Ганька. – Я вот покажу тебе словечко… Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский.

– Ваше благородие, Степан Романыч… – взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. – Одно словечушко молвить.

– Ну, говори… – коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. – Что тебе нужно, Тарас?

– Прикажите Ганьке уйти… Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

– Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч… Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки… А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, зна-

чит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени, Кожин грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь... Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало...

– Я Кожина не боюсь, – спокойно ответил Карачунский. – И даже готов объясниться с ним.

– Что ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться... Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже, – прибавил он совершенно другим тоном, – уж так и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, что тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

– Нет, не могу... – решил Карачунский после короткой паузы. – Отвести тебе деляночку, – и другим тоже надо отводить.

– Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек, – с нахальством объяснял Мыльников. – Уж я бы постарался для тебя.

– Нет, не могу... – еще решительнее отве-

тил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

– Степан Романыч, дозвольте мне переговорить с зятем?

– Нет, это лишнее, – ласково отговаривал Карачунский. – Я уже сказал все... Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины... Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дожидавшегося у ворот Кожина.

– И увезу, а ты мне сруководствуй деляночку на Краюхином увале, – просил в свою очередь Мыльников. – Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка… Ну ее к черту! И канпания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильич. Такая кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и золото для него скупает… Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь… В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься…

– Дома-то у нас ты был, Тарас?

– Сейчас оттуда… Вместе с Кожиным были. Ну, там Мамай воевал: как учали бабы реветь, как учали причитать – святых вон понеси. Ну, да ты не сумлевайся, Фенюшка… И не такая беда изнашивается. А главное, оборудуй мне деляночку…

– А что мамынька? – спрашивала Феня свое. – Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас… Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка…

– Перестань печалиться, глупая, – утешал Мыльников. – Москва нашим-то слезам не ве-

рит… А ты мне деляночку-то охлопочи. Изнищал я вконец…

– Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей… Пусть не печалится и меня не винит: такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная…

– Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мне деляночку… Ведь мы не чужие, слава богу, со Степаном-то Романычем теперь…

При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся.

«Эх, бабы, всех-то вас взять да сложить вместе – один грех выйдет».

– Эй ты, галман, отворяй дверь! – вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. – Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?.. Я вас всех научу, как на свете жить!

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и за-

шагал к воротам.

– Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, – объявил он Кожину с приличной торжественностью. – Совсем ведь Феня-то оболоклась было, да тот змей-то не пустил... Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, что я придумал: надо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерьи невозможно...

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

– Битый небитого везет, Ермолай Семеныч...

– Скоро ли тебя повесят, Тарас? – ответил Ермошка в тон. – Я веревку пожертвую на свой счет...

– Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят...

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

– Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было… Ну, выпил стакашик господского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно? А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар… Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась… Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям…

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, – это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

– Ты куда прешь-то ни свет ни заря? – накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. – Дня-то тебе мало, шатущему?

– Об Оксе больно соскучился, баушка… – врал Мыльников, не моргнув глазом. – Труд-

но, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина...

– Воду на твоей Оксе возить – вот это в самый раз, – ворчала старуха. – В два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарас, никак с ночевкой приехал? Ну нет, брат, ты эту моду оставь... Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, – говорит, – корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся...» Так напрямки и отрезал.

– Вот так уважил... Что же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от родственников... Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

– Сделай милость, бери... Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

– Ах, боже мой... Вот так роденьку бог дал!.. – удивлялся Мыльников, распоясываясь. – Я сломя голову к тебе из Балчугов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила...

– Да ты с какой радости разгонялся-то?

– А я с Кожиным цельных три дня путался. Он за воротами остался... Скажи ему, баушка,

чтобы ехал домой. Нечего ему здесь делать... Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

– Этакие бесстыжие глаза... – подивилась на него старуха, качая головой. – То-то путаник-мужичонка!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит... Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой-то Фени... Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало... Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить по-

стояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, – он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

– Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, – врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. – «Скажи, говорит, что скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу...»

– Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы...

– Значит, Феня ему по самому скусу пришлась... хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а что было, баушка, как я к

теще любезной приехал да объявил им про Феню, что, мол, так и так... Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами – ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась, – говорят, – старая крымза, а Феню не уберегла...» Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, что лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, но относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка – ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло воровatого домовладыку. Да и маменька пусть покипятится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опохмелившись Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с

ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну.

– Куды ускорилась, сестрица?

– А баушку проведать поехала, – нехотя отвечала Марья, понукая лошадь.

– Так-с… Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

– Поздно-с, Марья Родивоновна… Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

– Ты теперь ступай, голубка, домой, – объяснила баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе. – Спасибо, всю посуду переколотила…

– Не пойду… – упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой

должен был принять участие даже Петр Васильич.

– Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? – разъяснял он Оксе. – Надо и честь знать...

– Да что ты ко мне привязался, кривой черт? – озлилась наконец Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. – Сказала, не пойду...

– Мамынька, что же это такое? – взмолился Петр Васильич. – Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она

не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи-матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

III

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только «находом», – придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый, – последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и

дорога не стояла часу, – шли и ехали рабочие на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузнаваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промысловой работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко, ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название Сиротки – по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

– Ты у меня смотри... – погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. – Знаешь поговорку:

клоп клопа ест – последний сам себя съест…

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей Площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрышка россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховика и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

– Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, – жаловался Кишкин. – Все равно, как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работали Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменый стоял на про-

мывке с Кишкиным. Собственно промывка – бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное – то убавится, то прибавится. Другая беда была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом начинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу… Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о раз-

ных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами.

– Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади, – повторял каждый день Матюшка, – а второе дело, надо нам беспременно завести бабу... На других приисках везде свои бабы полагаются.

– Окся, подлая, убежала... – оправдывался Кишкин.

Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих ма-

ло, да и то почти все старики.

– Скучно у вас, – говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало.

– Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? – спрашивал Кишкин Петра Васильича. – День поробишь да неделю лодырничаешь.

– Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

– Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками... В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да командуй – всей и работы.

– Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, – скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. – Шутки шутишь над нашей деревенской простотой... А я как-то раз был в городу в таком-то заведении и подивил-

ся, как огребают денежки.

– Обзарился, поди?.. Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то...

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик... Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

– Это у тебя что пазуха-то отдулась? – самым невинным образом спросил Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

– Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, – повторял он укоризненно. – И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

– Н-но-о?.. Это я в починку захватил...

– В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака... А ты купи маленькие вески, есть такие, в футляре. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие, мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь – башка прочь.

– Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: насквозь. Каюсь, был такой грех... Одинова попробовал, а лестно оно.

– От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

– Ну, ну, без тебя знаю, – успокоил его Кишкин. – Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич... Видал, как рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело... Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали

на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть его за собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

– Ну так как же? – спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

– А все то же, Андрон Евстратыч... Напрасно ты меня весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит...

– Ладно, разговаривай...

– Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно деятельно-

сти Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках.

– Не видали ли, братцы, мою кобылу? – спрашивал он. – Правое ухо порото, левое пнем... Вот третьи сутки в лесу брожу.

– Да ты сам-то откедова взялся? – подозри-

тельно спрашивал кто-нибудь.

– Я с Мутяшки… У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цыгарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие – народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик.

– Шерсть-то какая у твоей кобылы?

– Да желтая шерсть… Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка…

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

– Почем?

– Три бумажки…

– На Малиновке по четыре дают.

– Много дают, да только домой не носят… А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за

три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «заплутавшегося человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богато золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки рабо-

тать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника 20 копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться

некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать! Почище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

– Мамынька, это ты пустила постояльца! – накидывался Петр Васильич на мать. – А кто хозяин в дому?.. Я ему покажу... Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру...

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ни-

чего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

– Надулся пузырь и думает: шире меня нет!.. – выкрикивал он по адресу Ястребова. – Нет, погоди, брат... Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух...

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал:

– Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

– Ты не показывай из себя богатого-то, – усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича, – как раз насыплем, чтобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

– А вот это самое и помешал, – не унимался

Петр Васильич. – Терпеть его ненавижу... Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается, а потом с судом не расхлебаешься. Тоже можем свое понятие иметь...

– Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор... Что больно перья-то распустил?

IV

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик был так увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне

Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

– Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? – спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

– Сдвиг дала жила, – так же спокойно ответил Родион Потапыч. – Некуда ей деваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачунского-соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была

каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаньями и слезами, он ответил всего одним словом:

– Знаю...

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи – лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее... Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хо-

тя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся.

«Хоть бы для видимости построжил, – даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. – Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Прокопий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна

небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю – «пустяк» на полати, устроенные из краденых с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

– Да ты с ума сошел, безумная голова? – накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. – Куда залез-то?..

– Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой... – весело ответила голова Тараса из ямы. – Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму... Разделимся как-нибудь.

– Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

– Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку... Его спроси.

– Ну, это уж ты врешь!..

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матуш-

ки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы... Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он...

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

– Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! – кричал вслед ему Мыльников, – как бы самому же напиться не пришлось... Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окся, что пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой.

«Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачунский, действительно, не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как

крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

– Эй, тятенька, шевели бородой! – покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать

Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, – уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

– Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде каторжан, – страшно сделается? Тоже ведь и в палаче живая душа... а?..

– Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, – пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но

это мало помогало делу. Наступившие заморозки увеличивали неудобства: нужно было и теплую одежду и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла все еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

– Теперь уж скоро жилка будет, – уверял самого себя Мыльников. – Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу…

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

– А черт с ней и с дудкой… Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь.

Глыбко ушла жила… Должно полагать, спьяну наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь… Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

– Так, значит, тово… пошабашим? – спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

– Кто это тебе сказал? – воспрянул духом Мыльников, раздумье с него соскочило, как с гуся вода. – Ну нет, брат… Не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богачества отказался. Эй, Окся, айда в дудку…

– Не полезу… – решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю влоск, – надо же было на

ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

– Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! – орал Мыльников, устав от внушения. – Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла, – и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова кряжа на Фотьянку – околеет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

– Вот я тебя! – кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. – Я тебя выучу, как родителя слушать... То-то наказал господь-батюшка дурой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись...

Тяжело достался Оксе этот проклятый

день... А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал.

– Беги бегом, дура, согреешься на ходу! – пожалел ее чадолюбивый папаша. – А то как раз замерзнешь еще... Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону к Рублихе.

– Не туда, дура!.. – кричал ей вслед Мыльников. – Ах, дура... Не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось дома – он закладывал шнур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так изму-

чилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно было представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

– Эй ты, птаха... – тряс ее за плечо рассерженный старик. – Не туда залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь – ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, – это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

– Из дудки только вылезла... – коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядинной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и

кофточки на каком-то собачьем меху. – Едва не околела от холоду…

– Может, и поесть хочешь?

– С утра не едала…

Разговор был вообще не сложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужину» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

– Откудова ты взялась-то, птаха?..

– А с дудки… от Мыльникова.

– Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонка… Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас… Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

– Дочь я Тарасу, Окся…

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого он уж никак не ожидал… Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

– Ну, теперь ступай... – сурово проговорил старик, не повертываясь. – Поела, согрелась и ступай.

– Вот еще выдумал! Куды я пойду-то. Тоже и сказал.

– Да ты с кем разговариваешь-то?

– Отстань, что привязался-то!.. Вот еще выискался...

Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица.

– Ведь сама пришла, птаха... – вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное

радостное настроение. – Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла...

Вся Рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся – родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, – какое уж тут золото.

– Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, – советовал подручный штейгер. – Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте... Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут...

V

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за

исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

– Жирно будет, пожалуй, подавишься...

– Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить... Вернее смерти. На золотник вышли бы. [6]

– Ладно, рассказывай... Слыхали мы про ваши золотники. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей...

– Так и не дашь?

– И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

– Ирод ты после этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Му-

тяшке, верстах в десяти от моего прииска... Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то...» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову...

Это предложение рассмешило сердитого секретаря до слез.

– Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха... Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрошка... Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно та-

кой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное – выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

– Только ты себя осрамил, Андрошка... Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас... Эх ты, чижиково горе!..

– А что, разве есть слухи?

– Ну, уж это тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую россыпь... Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

– Ах, ирод... Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч...

– Помяну в родительскую субботу...

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский за-

вод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

– Слышал новость, Андрон Евстратыч?

– Черт с печи упал?..

– Хуже... Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилу. Верно тебе говорю... Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла...

– Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

– А сам не знаю... В город мчу, а там видно будет.

– Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

– Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь... Мамынька посулила проклятие наложить, ежели не остепенюсь.

– Так едем... Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье... И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдруг

сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, – хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станется... Под этим впечатлением завязался разговор.

– Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч...

– Это вы насчет меня?

– Нет... Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал... А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богачество... Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом...

– Сотню?

– Больше...

Кожин как-то сразу прочухался от такой

большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

– Руку легкую надо на золото… – заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

– А кто фотьянскую россыпь открыл?..

– Это точно… Ах, волк тебя заешь. Правильно… Сколько тебе денег-то надобно?

– Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз…

– Пять катеринок… Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам… Что раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые… Примета такая есть.

– Это ты насчет Федосьи Родионовны?

– Об ней, об самой… Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная…

– Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все

равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня... родная... голубка...

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само полезет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксиной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои

белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал...

– Это от Кривушка отшиблась жила-то, – объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. – Он сам сказывал: «Так, грит, самоваром золото-то и ушло вглыбь...» Ну, канпания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча...

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой меч-

той Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями – садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

– Озолочу всех... – бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло, – трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

– Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим, – хвастался Мыльников. – В том роде, как была «пьяная контора»... Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик... В заключение Мыльников обошел кругом свою провалённую избенку, даже постучал кулаком в стены и проговорил:

– Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться – там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фотьянку и приехал Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

– Андрону Евстратычу!.. – кричал Мыльников, размахивая шапкой. – Что больно скукожился? Хошь денег? Вот только четвертной билет разменяю в заведении.

– Эх, вино-то в тебе разыгралось, Тарас!.. –

подивился Кишкин. – Очень уж перья-то распустил... Да и приятелей хороших нашел.

– Ох, и не говори: такая канпания, что знакомому черту подарить, так не возьмет... А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадено...

– Замучишь, только и всего, – заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. – Не к рукам конь...

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью, – девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

– Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, – уговаривался Ермошка вперед, – сейчас же сватов зашлю...

– Андроны едут, когда-то будут, – отшучивалась Марья. – Да и мое-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семеныч.

– В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна… Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

– Вы не насчет ли золота? – спросила она его.

– Желаю попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в канпанию вступаю…

– И весьма напрасно-с, – заметил Ермошка, – пустой старичонка и пустые слова разговаривает…

Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под ка-

ким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать.

– А что Феня? – тихо спросил он. – Знаете, что я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям... И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай бог никому понимать...

– Вы богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч...

– Ах, пробовал... Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет... Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите... скажите, как Акинфий Назарыч любил ее... ах, как любил, как любил!.. Еще скажите... Да нет, ничего не нужно. Все равно, она не поймет... она... теперь вся скверная... убить ее мало...

– Что вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь...

– Да, да... Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная... А Феня, она хорошая... Голубка, Феня... родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы ка-

тились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видала, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала... Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах... Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

– Кто здесь хозяин? а?.. Ты о чем ревешь-то, Кожин?.. Эх, брат, у баб последнее рукомесло отбиваешь...

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

– Ступай, ступай, Петр Васильич, – нагоговаривала она. – Потом придешь. Без тебя тошно...

– Марьюшка, а кто хозяин в дому? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-ка-жу-у... Я, брат, Марья, с горя маненько выпил. Тоже обидно: вон какое богачество дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем

свела с ума Петра Васильича, который от зависти пировал уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

– Только товар портишь, шваль! – ругался Петр Васильич. – Что добыл, то и стравил кампании ни за грош... По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников... Руки бы тебе по локоть отрубить... утопить... дурак, дурак! Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?.. Язык тебе, подлому, отрезать...

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

– Ну, владай, твое счастье! – смеялся Ястребов. – У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит...

VI

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты – и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде

отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и пр. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случилось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а, с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в са-

мых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

– Ведь это не любовь, а старость... бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю других, вы-

живших из ума, стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянку к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

– Позвольте мне уйти, Степан Романыч…

– Куда уйти?.. Что такое случилось?..

– Да уж так нужно… Не хочу вас срамить.

Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость… Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена – это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать – это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка… Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому

заныло в его душе.

– Куда же ты хочешь уйти? – машинально спрашивал он.

– В город... – коротко ответила Феня. – А там уж как-нибудь поправлюсь.

– Так... да...

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я и пришел...» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание

своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть – этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится... Усыновить ребенка – обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольстви-

ем правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней

заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

– Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут, – заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. – Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский

только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив, – успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

– Что же это такое, Степан Романыч, – ворчал старик, – житья мне не стало…

– Что опять случилось?

– Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали… Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, что про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают… Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. На смех поднимают.

– Ну, это все пустяки! – успокаивал Карачунский. – Другой делянки никому не да-

дим... Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим... Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник... Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

– И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белены объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке... Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, чтоб малый не баловался. Лето-то пошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова – вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, – хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

– Это ваши семейные дела, дедушка... Меня это не касается.

– Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты потачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и

пошло... Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу... На гармонии играют, песни орут, – разве это порядок?..

– Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

– Пока ничего не обозначилось... Заложили рассечку на полдень, – все тот же ребровик.

– А штольня?

– На девятую сажень выбежала... Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, что есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положенье...

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизонтах и в разных направлениях. Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской

шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

– Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил:

– А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо говорит, самоваром оно ушло в землю... Это как?

– Однако мы ничего еще пока не нашли?

Или жила расщепилась, или она... Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а, продолжая работы, можно было, по меньшей мере, выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хоть часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все

начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

– Только бы нам штольню пройти… – повторял Родион Потапыч. – Тогда все обозначится, как на ладони.

– Да нечему обозначаться-то…

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее – маньяк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье – все подтверждало эту мысль.

VII

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Балчуговском заводе и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно натыкался на хороший пропласт золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадью-новокупкой, новой одеждой, пьянством и новыми крышами на избах, а то

и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги...

– Не велика жилка в двадцати-то пяти саженях, как раз ее в неделю выробишь! – объяснял он. – Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, как другие прочие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь... Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «компанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял на-

зло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

– Пусть старый черт чувствует… – хихикал Мыльников. – Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню бог дал…

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись, куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да рябятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустилась и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа – едва оттащили.

– Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил… – причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. – Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротишься домой… Куда я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная…

– Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна, – уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. – Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий… Будет ему сидеть у тестя на цепи.

– Ах ты… Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только сомущаешь, пустая башка… Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

– Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А что касаемо того, что мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кои-то годы господь счастья послал… А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за канпанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой снимет… Эй, Яша, сдействуй нащет мадеры!..

– Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу, не то что пить с вами! – ругалась любезная

сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «канпания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволила себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей канпании...

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глазу на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

– У меня чтобы в самую точку, как в казенное время... – уговаривался он для внешности. – Ужо колокол повешу, чтобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка...

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то, что когда работали сначала, при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медуницами».

– Точно плюнуто золотом-то! – объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на золотопромывальную фабрику. – А то как масло коровье али желток из куричьего яйца...

Из ста пудов кварца иногда «падало» до

фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

– И то пора бы, – согласилась Татьяна. – Все равно пропьешь деньги.

– Молчать, баба! Не твоего ума дело... Таку стройку подымем, что чертям будет тошно.

Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался на ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльникова на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадь заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникова и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство «прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать... И Петр Васильич все думал и думал... Наконец он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникова на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

– Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

– А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

– Да так... Вчуже на дураков-то глядеть тошно.

– Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльникова по плечу и шепотом проговорил:

– Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю... Сдавай в контору половину жилки, а другую мне.

По два с полтиной дам за золотник... Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак... Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, но и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

– Нет, брат, неподходящая мне эта модель, – ответил Мыльников, встряхивая головой. – Потому как лицо у меня чистое, незамаранное.

– Ах, дурак, дурак...

– Таков уродился... Говорю: не подвержен, чтобы такая, например, модель.

– Да не дурак ли... а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока сбежался народ и их разняли.

– Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! – ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. – Давайте

я его удавлю, пса...

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

– Наградил господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яшка Малый был ближе других, да глуп, Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус, – только телята его не лижут... Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

– Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казен-

ного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? – пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. – Скучненько, поди, а?

– Сперва-то сумневался, это точно, а потом приобык…

– Оно, конечно, привычка, а все-таки… При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

– Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, – пошутил Петр Васильич. – Парень чистяк, уж это что говорить!

– Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю… – смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. – Почитай в соседях с Петром Семенычем жили…

– В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна… Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

– А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься… – шепнул Петр Васильич, моргая оком. – Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

– Так, так… – соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком. – Ну, Семеныч, теперь ты тово… ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Марья, – она его караулила здесь битый час.

– Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича, – шепнула она. – Неспроста он улещал вас… Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе

бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

– Ужо выходи вечерком за ворота… – упрашивал разгоревшийся Семеныч.

– Больно ускорился… Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

– Ты это что придумала-то, негодница?

– Баушка, миленькая… золотая…

– Я тебе покажу баушку! Фенька сбежала, да и ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то… тьфу!.. Срам и гово-

рить-то... По сеням женихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не поймет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться... Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машинист Семеныч, а все-таки мужчина... Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила... Тятенька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он вовремя был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не

спасли Мыльникова от хищения: воры оказались хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай, так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

– Эй, Оксюха, поворачивай! – кричал он ей сверху. – Не осрами своего родителя...

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к дедушке на Рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

– Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

– Посадить бы самого в дудку, так погляде-

ла бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез, – отвечала Окся.

– По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу.

– А мне все одно: сади. Эк, подумаешь, испугал...

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке, – безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

– Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! – упрашивал он. – Может, в лесу отойду...

– Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь...

– Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

– Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составилась из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и Яши Малого, но о них Кишкин не жалел: хо-

роши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнего не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем, стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

– Посмотри, благодать-то какая! – умиленно повторял Кишкин, окидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. – Силища-то прет из земли... А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет, – торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испы-

тывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба, отваливалась с души... Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую – да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый – так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

– Вот, слава богу, мы и дома! – весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. – А вон

и дворец...

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «пальмом», и промысловый ужин был готов.

– Чаю мы с тобой завтра напьемся, – утешал Кишкин притихшего компаньона. – Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь; от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать – так все кругом изменилось. Именно здесь случил-

ся грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

– Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать...

– Отодрать бы ее тогда на этом самом месте, – ответил старый каторжанин. – Небось, сказала бы...

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье, – не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до места – и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням,

сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог... Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закурить и напиться чаю еще до свету. На берегу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-под льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубо-

ких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь – где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

– Ну, братцы, с богом, – проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. – Акинфий Назарыч, давай-ка начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось – болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начи-

налась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

– Что, хорошо, Акинфий Назарыч?

– Лучше не бывает.

– То-то, тебе в охоту поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться.

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на матюшкину работу. До обеда еще прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменому.

– Эта не обманет... – задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони гли-

ну. – Мать наша эта синяя глинка.

– Случается и пустая, – заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на самое дно, вместе с блестящим черным песочком – по-приисковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

– Поблескивает одна золотинка… – проговорил он.

– Не корыстное дело, – ответил за всех Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно

выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек.

– Ну, так как же насчет свиньи-то, дедка? – спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменому. – Должна она быть беспременно...

– Куда ей деваться? – уверенно отвечал старик. – Только вот взять-то ее умеючи надо... К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово...

– Уползла, видно, она к Мыльникову, – подшутил Турка. – Мы ее здесь достигаем, а она

вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе…

– Ну, то другая статья, – авторитетно заметил Матюшка, закуривая цигарку. – Одно – жилка, другое – россыпь…

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

– Ох, как стрелило… – прошептал Кишкин, хватаясь за живот. – Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в становую жилу ударит…

– Это от наклону кровь в голову кинулась, – объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

– Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратыч, – посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. – Кровь-то и забило бы…

– Да еще запустить этой самой перцовки в нутро, – прибавил Матюшка, – горошком соскочил бы…

Кишкин с трудом поднялся на ноги, по-

охал для «прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

– И не поманило… – объяснил он равнодушным тоном. – Вот тебе и синяя глина… Надо ужо теперь по самой середке шурф ударить.

– А отчего не здесь? – спросил Матюшка. – Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить…

– Нет, здесь не надо, – решительно заявил Кишкин. – Попусту только время потеряем…

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на нарах, продолжал охать.

– Пожалуй, ты еще окочуришься у нас… – пошутил над ним Турка. – Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

– Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в средине болота шурф пробейте…

Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

– Господи, что же это такое? – повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. – Не

поблазнило ли уж мне грешным делом...

Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь, – рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь! По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

– Господи, что же это такое?.. – изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф, в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-то мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать. С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг возненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его – вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично… Сказаться больным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения

и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось... Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь... Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это совсем было лишним.

– С горя и помутился тогда, – вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

– Ну что, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

– Разнемогся совсем, братцы... – слабым голосом ответил хитрый старик. – Уж бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил... А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления...

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

– Илья-то Федотыч… Илья-то Федотыч в каких дураках! – прохрипел наконец Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. – Илья-то Федотыч…

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

II

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! – думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. – Разве толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину – опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно было бы перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится... Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него...»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбившуюся от рук на глазах у всех.

– Ведь скромница была, как жила у отца, – рассказывала старуха, – а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему… Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него… Ох, согрешила я с этими девками!..

– Ну, что же делать, баушка… – утешал Кишкин. – Всякая живая душа калачика хочет.

– Тьфу ты, срамник!.. Ему дело говорят, а он… тьфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят…

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят… Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рас-

сказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестилась.

– Умненько я сделал, баушка? Комар носу не подточит… Всех отвел и остался один, сам большой – сам маленький.

– Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и дошл, что никому и не догадаться… В настоящие руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени… Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг… Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, – чтобы Кожин после не вступался… Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой народ пошел… Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестевшие крупинки золота.

– Плохо я вижу, голубчик… – шептала баушка Лукерья, наклоняясь к самой бумажке. – Слепой курице все пшеница.

– От ста пудов песку золотника с три падет, баушка… Я уж все высчитал. А со всего болота

снимем пудов с двадцать…

– Н-но-о?..

– Вернее смерти.

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

– То-то он взвоет теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми, ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории.

– А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

– Ох, и говорить-то страшно… Считай: двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копеечка… Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

– Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь… Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

– Взять их только надо умненько, баушка… Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет открыться.

– Что ты, что ты!.. Ни под каким видом не открывайся – все дело испортишь. Загалдят, зашумят… Стравят и Ястребова и Кожина, – не расхлебаешься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

– Баушка, ссуди меня сотней-другой… Разочтемся потом. За рубль два отдам…

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

– Что ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красненьких – только и всего…

– Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, – решительно заявил Кишкин. – Его счастье – все одно, рубль на рубль

барыша получит не пито – не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался... А упустить такой случай – другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

– У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка... Мне-то он, может, поверит.

– Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот и батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходило надвое: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полая вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, – думала тысячу первый

раз старуха. – Нет, шабаш, не дам… Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

– Ну, что твой старичок? – спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. – Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку…

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то… Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее…

– А ты мне расписку напиши… – настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

– На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка… Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всего денег оказалось меньше двухсот рублей.

– Мало… – заявил Кишкин. – Пусть стари-

чок-то серебреца поищет.

– Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч... Окружил ты меня и голову с живой сымаешь.

– Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копеечки золотом отдам... На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

– Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой, – ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила.

– Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч... Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

– В чем дело?

– Не женись на молоденькой... Ваша бра-

тья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство…

– Вот тоже придумала! – изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

– Жалеючи тебя говорю… Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью… Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из

земли вырос Петр Васильич.

– Какие такие дела завел Шишка с мамынькой? – зыкнул он на нее.

– А я почем знаю?.. Спроси сам баушку…

– У, змея!.. – зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. – Ужо, девка, я доберусь до тебя.

– Руки коротки…

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, – это был Матюшка, как она убедилась потом, поглядев из-за косяка.

С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосых», – зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

– Лукавая девка… – ворчала старуха. – Всех обошла, а себя раньше других…

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чистое, когда

Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, что Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово – разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

– Обыскали свинью-то? – приставал он к Матюшке.

– С поросятами оказалась наша свинья...

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

– А что бы ты думал, андел мой?.. – схватился Петр Васильич. – Ведь ты верно... Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень...

– Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и сплавил. Не захотел поделиться... Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

– Ах, старый пес… Ловкую штуку уколол. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы натакаться на настоящее золото – никого не забуду». Вот и вспомнил… А знаки, говоришь, хорошие были?

– Попервоначалу средственные, а потом уж обозначились… Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покеда он болесть на себя не накинул и не пошабашил всю шурфовку…

– Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то… Можно ведь добыть ее и без него?

– Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно – прииск по контракту сейчас Кишкина. Кабы раньше…

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштоф.

– Да тебе-то какая печаль? – удивлялся Матюшка.

– А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то… ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут… Дурак, дурак!..»

Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое... а?.. Ну, не дурак ли я после того? Убить меня мало, кривого подлеца...

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

– Будет баловаться, Петр Васильич.

– Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богачество было прямо у меня в дому, под носом... Ну как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же... Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало...

– Погоди печаловаться раньше времени, – тихонько заметил Матюшка. – А Кишкин наших рук не минует... Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть...

– Верно! – обрадовался Петр Васильич. – Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со

следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу – только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

– Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло... – ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. – Досталась кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех натощак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

III

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, – точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодье, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зиму ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполовину: летние работы помазали

только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да небольшие шурфовки. Народу нечего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам – промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время.

На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

– Когда только он дрыхнет? – удивлялись рабочие. – Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

– Сбросить его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, – предлагали решительные люди.

– Не беспокойся: другой почище выищется...

– Ну, другого такого компанейского пса не

сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же... Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пятачка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

– Пустяки, – уверял Оников со спокойной

усмешечкой. – Надо их подтянуть…

– И подтянуть умеючи надо, Александр Иваныч, – смело заявил старший штейгер. – Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразним понапрасну… Тоже и по человечеству нужно рассудить.

– Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать…

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побледнел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

– Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штегерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время… Да!

– Молчать!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

– Рассуди нас, Степан Романыч, – спокойно заявил старик. – Уж на что лют был покойни-

чек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать... Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч... Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

– Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно: ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить... Понимаете?.. Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком...

«Вот это так сказал, как ножом обрезал... – думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. – Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость...»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

– Вы... вы забываетесь, молодой человек! – проговорил Карачунский, собирая все свое

хладнокровие. – Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего.

– В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков и старатель Мыльников являются вашими креатурами… Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих…

– Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня: я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера – с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне

этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

– Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны...

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменый и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

– Известно, старая конторская крыса! – рычал Матюшка. – У них у всех одна вера-то... Кровь нашу пьют.

– А вон Мыльников тоже вместе с ними

старался, а теперь как взвеселил себя...

– Тоже через контору: Фенька подсдобила делянку.

– А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору... Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит... Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай...

– Удавить их всех, а контору разнести в щепы! – кричал Матюшка в пьяном азарте. – Двух смертей не будет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голытьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки квар-

ца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие, шламы – это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы исправить последнюю ошиб-

ку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов – это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

– Эх, Степан Романыч... – заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. – Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают...

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и

вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

– Что такое случилось? – спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

– Мы не согласны!.. – крикнул чей-то голос сзади. – Достаточно…

– Что вам нужно? Объясните, кто потолковее…

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза.

– Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь… – грубо заявил Матюшка. – Мы не дадим отвал… Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья…

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все

дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал:

– Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? Из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

– Вот это так орел... – заметил наконец кричавший давеча голос. – Как топором зарубил Матюшку-то!.. Ловко... Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

– Не весь голову, Матюшка, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу… В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

– Ну вот, все и кончилось, – проговорил он, обнимая ее. – Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

– А я так боялась… Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались… злые поневоле… Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь…

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопреде-

ленности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского – взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные по-

вытчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина, – писал старик своими прямыми буквами: – подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашатались стены.

– Что с вами, Степан Романыч?.. – со страхом спрашивала Феня.

– Ничего... так...

IV

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело наконец и ему самому. Главное, куда ни приди – везде на тебя смотрят, как на свой карман. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение

заканчивалось новой попойкой.

– Монетный двор у меня, что ли? – выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч. – На вас никаких денег не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скаредностью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

– Тарас, будет тебе богатого-то показывать! – корил его даже добродушный Яша Малый. – Над кем изневаживаешься?..

– А ты меня не учи... Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся.

Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя на особицу и мало «якшил» [7]с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

– Ты это что же, Тарас? – удивился Семеныч. – Что расчет-то недодаешь?

– А так, голубь мой сизокрылый... Не чужие, слава богу, сочтемся, – бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. – Сестрице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня... Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим – хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пущу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю на особицу

за ее развертной карахтер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно теря-

ет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

– Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

– Как попросишь, тоже умеючи надо просить... хе-хе!.. Ишь, какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси...

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

– Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек... то есть парень...

– Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

– Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяйничать будет?.. Надо и за тряпкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

– Так, так... Верно. Ай да коза... Ну, а дальше?..

– Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на

все руки, а женится после Фоминой – жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться...

– Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умей ухаживать за стариком... По-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... ну, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну, и девка: огонь бенгальский... А Марья уж опять тут – выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

– Цып, цып... – манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. – Цып, курочка!..

– Ну, этим ты меня не купишь! – рассердилась сестрица Марья. – Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты

оставь…

– Цып, цып… Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

– Ах, бесстыдник…

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

– Ты, бесстыдница, чего это над стариком галишься? [8]– строго заметила она Марье. – Смотри, довертишь хвостом… Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

– Молодо-зелено, погулять велено, – заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. – И стыд девичий до порога… Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

– Когда же строиться-то мы будем? – спрашивала Татьяна каждый раз. – Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то.

– Ученого учить – только портить. Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась – вот главная причина. Никак развязаться не могу.

– Ты бы хоть Оксю-то приодел. Обносилась она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке… Даже из себя похудела девка.

– Всех ублаготворю, а Оксю на особицу… Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Канпанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то…

У Мыльникова, действительно, были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, – только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о Великом посте. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален

бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в ней, и вдруг ломать.

– А куда я-то с ребятишками денусь? – взмолилась она.

– На фатеру определю... А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки.

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и, все равно, ничего не скажет.

– Да ведь я заплачу, – с гордостью заявлял Мыльников. – Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

– Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? –

удивлялся Мыльников. – Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете...

– Перестань, Анна, – оговорила дочь Устинья Марковна, – не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем...

– Куда мы с ребятами-то? – голосила Анна. – Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут объедать... От соседей стыдно.

– Молчи! – крикнула мать. – Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать... Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и пожалеть.

– И как еще напринималась-то!.. – соглашался Мыльников. – Другая бы тринадцать раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич... Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьишку-то, кабы не жилка... И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же

разнес пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо…

– Теперь, брат, на господскую руку все наладим, – хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонялся и кричал:

– Окся, ты тут?

– Здесь, тятенька, – откликался из земных недр Оксин голос.

– То-то, у меня смотри…

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторе дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч

грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

– Куды я пойду-то, ты подумай, – усовещивала она старика. – Мужику это все одно, а девка сейчас худую славу наживет... Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить.

– К отцу ступай, дура... Не в чужие люди гоню.

– У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

– Ах, Окся, Окся... да не Окся ли?!. Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчугов-

ский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото в Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльникова, Матюшка несколько раз говорил:

– Тарас Матвеевич, что меня не возьмешь на жилку?..

– У меня своей родни девать некуда...

– Родня – родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на Мутяшке-то...

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам... Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

– Бить некому было старого черта! – вслух ругал Мыльников самого себя. – Еще как

бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к воротy, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

– Эй, Оксюха, жива, что ли?..

Ответа не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

– Где же Окся? – грозно накинулся на них Мыльников. – Эй, Окся, не слышишь без очков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

– Мы ее на свету спустили в дудку, – объяснял сконфуженный Яша. – Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать...

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на той же ноге» полетел на Рублиху, – некуда Оксе деваться, окромя Родиона Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию.

– Была твоя Окся, да вся вышла…

– Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда…

– Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, что на Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя.

– Оксю потерял, Родион Потапыч… Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

– Выгоните этого дурака, – коротко приказал грозный старик. – Здесь не кабак, чтобы шум подымать…

– Меня?.. Да я…

Чадолюбивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье… Окси и там не было; потом – в Балчуговский завод, – Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльникова. Через неделю дудку его залило подступившей вешней водой, а машину для откачки во-

ды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и наконец всю одежу с себя. Наступало лето, и одежда была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал:

– А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла...

– Н-но-о? – изумился Мыльников.

– Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета... Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

– Ах, курва... Да я ее растерзаю на мелкие части!

– Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого... Другую такую-то дуру наживай.

V

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольная пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина – и только. Кварц встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов до пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Руб-

лиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

– Скоро ли? – спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

– Еще восемнадцать аршин осталось... К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга пойдут.

Музгой рабочие называют всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более, что такой белой глины рабочие очень не любили – лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречался только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настрое-

нием: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачунский спасен... Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупицы... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает... Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся.

– Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

– Не могу знать, Степан Романыч... У гос-

под свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки... А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве... У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

– Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается... А мужик полакомится – и бежать.

– Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак... Не к тебе речь говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, – правильные были господа, настоящие: зверь так зверь, во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить... Про нынешних и говорить нечего: он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье что барин.

– А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

– Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю – вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство,

цены бы тебе не было… Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху – отлично… Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь… Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади поднимались на Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник

взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

– Эй ты, подальше, полуночник! – крикнул кучер.

Кожин ничего не ответил, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

– Не бойся, не трону, – ответил Кожин, выпрямляясь в седле. – Степан Романыч, а я с Фотьянки... Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

– У вас условие было какое-нибудь? – спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

– Какие там условия...

– Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся

и пропал в темноту. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

– Не с добром человек едет…

– А что?

– Да уж так… Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается… Ночным делом разве можно подъезжать этак-ту: кто его знает, что у него на уме.

– Пустяки…

Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

– Разве так работают… – говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. – Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть – вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас…

– Куда ему деваться; Степан Романыч… В горе оно спряталось.

– Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие работы.

– Это ты правильно… Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж…

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

– Мы как нищие… – думал вслух Карачунский. – Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих… Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды… Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной, а тогда бы

мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

– Ну, это уж невозможно! – сказал Родион Потапыч. – Им, подлецам, сколько угодно дай – все равно потащат к Ястребову.

– Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы...

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку – старателю – с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы – другое дело... Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

– Что случилось?

– Вода, Степан Романыч... – прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислуши-

ванье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду… Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

– Ну, это не велика беда, – говорил он с улыбкой. – А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело…

Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление: знакомый чело-

век, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

– Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически, – тянул следователь, записывая что-то, – чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой – вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.

– Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном доме и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, – это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники... Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем...

– И затем?

– И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

– Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления!

– Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог... Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

– Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в поло-

жении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересная была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным…

– Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос… – заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

– Я уже сказал вам, что это невозможно, – сухо ответил следователь, продолжая писать.

– А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятности, и сейчас сам не помню, о чем писал… Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

– Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу… Одним словом,

это к делу не относится...

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

– А я не виноват, Степан Романыч... Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

– Что вам от меня нужно?.. – спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. – Я вас совсем не знаю и не желаю знать...

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят...»

Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из

допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного: чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компа-

нии Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

VI

На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

– Живи и слушайся баушки, – наказывала строго Марья. – И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь... У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

– Смаялась я с девками, – ворчала баушка Лукерья. – На одном году четвертую беру... А все промысла. Грех один с этими девками...

Марья с мужем поступила к Кишкину на

Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хвороста плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной, в среднем около полутора золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах,

и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, – была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

– Все кричат: богатство! – жаловался Кишкин. – А только вот я не вижу его до сих пор... Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрышка, тут бутара, тут плотина... За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

– А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег...

– Проценты плачу... Ох, разоренье, Марьюшка!..

– Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не

без милости...

– Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богачества уйдешь... Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором... Их много, а я-то ведь один. Не разорваться...

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

– Старайся, старайся, старичок божий... – весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. – Любая половина моих рук не минует... Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укор...

– Знаю я вас, разбойников! – брюзжал Кишкин. – Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич...

– Не пугай, ради Христа... ха-ха!.. А что сделаешь?

– А вот это самое... Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не

проведешь…

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

– Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, – пошутил секретарь милостиво. – Разбогател, так и меня знать не хочешь.

– Он ныне гордый стал, – поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. – Голой рукой и не возьмешь…

– А еще однокашники, – продолжал Илья Федотыч. – Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает… Вот тебе и дружба. Хе-хе… А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

– Да, вот какие дела, Андрон… – говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. – Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

– Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться… – жалостливо уверял Кишкин. – Никак не могу сбиться с деньга-

ми-то. Вот еще свои в землю закапываю...

– Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

– Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, – уговаривала она старика своим уверенным тоном. – Пригодится еще Илья Федотыч... Все за ним ходят, как за кладом.

– Ох, знаю, Марьюшка... Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить... Ты расхарчилась-то с какой радости?

– Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут...

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.

– А куда же Карачунский? – удивился Кишкин.

– Ну, это его дело... Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи... Ах, Андрошка, бить-то тебя было некому!..

– От бедности очертел тогда, – согласился Кишкин. – Терпел-терпел и надумал...

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

– Пожалеют балчуговские-то о Карачунском, – повторял секретарь. – И еще как пожалеют... В узле держал, а только с толком. Умный был человек... Надо правду говорить. Оников-то покажет себя...

– Народ изварначился ныне, Илья Федотыч...

– Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, – сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

– Разжалобился ты что-то уж очень, Илья Федотыч... У себя в канцелярии так зверь зве-

рем сидишь, а тут жалость напустил.

– Ох, помирать скоро, Андрошка... О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали: и греха было больше и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка... Хороши, пока голодны, а как насосались – и конец.

– Тебе в попы идти, Илья Федотыч, – рассердился Кишкин. – В самый раз с постной молитвой ездить...

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:

– Игрушка?..

– Хороша Маша, да не наша... С мужем живет.

– Что же, это еще лучше, коли с мужем... хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет...

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном

белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

– Грабить меня пришли?! – орал Кишкин. – Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

– Мы насчет работы, Андрон Евстратыч, – заявил другой мужик. – Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку – вот и весь разговор.

Это были Петр Васильич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.

– Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, – советовал кто-то. – Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

– Ну и обыщи, коли на то пошло! – согласился Петр Васильич, распоясываясь. – Весь тут... Хоть вывороти.

– А мне надо сестрицу Марью повидать, –

заявил Мыльников не без достоинства. – Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

– Скупщики... – коротко объяснил Кишкин недоумевавшему гостю. – Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей... От Ястребова ходит.

– Ну, у хлеба не без крох, – равнодушно заметил секретарь. – А я думал, что тебя уж режут...

– И зарежут...

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

– Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила...

– Мало ли что зря люди болтают, – успокаивала Марья. – За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.

– Прямо убьет, – соглашался Мыльников. – Зятя бог послал... Ох, Марьюшка, только и

жисть наша горемычная.

– Пировал бы меньше, Тарас… Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

– Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие… – приговаривала она.

– Ах, Марьюшка, родная сестрица! – ахнул Мыльников. – Вот когда ты уважила…

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, – он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно

что хотел сказать.

– Очертел Шишка-то... – заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. – Как зверь накинулся даве на нас...

– Его не обманешь: насквозь видит каждого.

– Видит, говоришь? – засмеялся Петр Васильич. – Кабы видел, так не бросился бы... Разве я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка...

– Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

– Обыкновенно... И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится... Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

– А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

– Себя соблюдаешь, – решил Петр Васильич. – А Шишка, вот погляди, сбрендит... Он

теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

– Так поглядывает, а чтобы приставал – этого нет, – откровенно объяснила Марья. – Да и какая ему корысть в мужней жене!.. Хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидел у нас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда...

– Про Наташку, говоришь? Польстился, значит...

– Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит... С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает...

– Так, как... Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал... Так, своим умом дошел... Ах, пес! Ловко обошел мамыньку... Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денег-то у старого черта?

– А кто его знает... Мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал; к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована... Железный сун-

дук под кроватью, так в ем у него деньги-то…

– В сундуке? Так, Марьюшка… А тяжелый сундук-то?

– Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен… Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит…

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

– Петр Васильич…

– А что?..

– Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой…

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку – рука была холодная, как лед.

– Ключик добудь, Марьюшка… – шептал Петр Васильич. – Вызнай, высмотри, куда он его прячет… С собой носит? Ну, это еще лучше… Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо… Мне в городу сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это

тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?

– Ах, страшно... уйди...

– Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество... Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

– Не хочешь, так Наташку приспособим... Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.

– Неможется что-то, – коротко объяснила она.

VII

– Когда же ты помрешь, Дарья? – серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. – Этак я с тобой всех невест пропущу... У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не

осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?

– А Наташка? – виновато отвечала Дарья. – Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится...

– Опять омманешь, лахудра!.. – ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. – Ведь в чем душа держится, а все скрипишь... Пожалуй, еще меня переживешь этакто.

– Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.

– Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, – жаловалась она. – Ты бы в самую кость норовил... Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть... Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.

– Дурак он, Кожин-то: еще наотвечаешься потом...

Нет такого положения, хуже которого не

было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, – тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

– Твоя работа: гляди и казнись! – кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. – Убью подлюгу… Видеть ее не могу.

В раскольничьем мире нравы не отлича-

ются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа – не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

– Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча...

– Могу соответствовать, Фенюшка... Ах, какой грех, подумаешь!

– Ты ему так и скажи, что я его прошу... А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает...

– Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу... Негоже это дело. А я в лучшем виде все оборудую... Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

– Да ты поскорее, Тарас... Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену...

Для большего поощрения Феня сунула Та-

расу немного денег.

– Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча... Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

– Да это я! – кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. – Не узнали, что ли?.. Баушка Маремьяна... а?..

Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

– Чего лезешь-то? – неприветливо спросил он.

– А дело есть, от того самого и лезу...

– Врешь!

– Вот сейчас провалиться...

– Ну, иди...

Кожин сам отворил и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка.

Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз... Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.

– Ах, какое приятное место! – восхищался Мыльников. – Только водку пить на таком месте...

– Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

– Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно... Да потом я тебе скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы... да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем... Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу... Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Ма-

тюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

– Собака у меня, надо полагать, сбесилась... Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, – она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль – сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену на-

смерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать... Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин – сам и ответит, а пока жена в живности – никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

– Да разве это можно живого человека так увечить?! – орал он на весь кабак, размахивая руками. – Кержаки – так кержаки и есть... А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хоро-

шие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.

– Нет, братцы, так нельзя! – выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. – Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене... За это, брат, по головке не погладят.

– Своими глазами видел... – бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. – Я думал: мертвяк, и даже отшатнулся, а это она, значит, жена Кожина распята... Так на руках и висит.

– Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело, – заявил Ермошка тоном сведущего человека. – Учить жену учи, а это уж другое...

– Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! – кричали голоса. – Православные так не сделают никогда... Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

– Нет, погодите, братцы, я сам оборудую... –

решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

– Застанем либо нет ее в живых! – повторял он в ажитации. – Христианская душа, ваша высокоблагородие... Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что... Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накры-

ли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

– Будет тебе два неполных!.. – заметил ему Ермошка. – Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда ветрел его ночью на дороге, – все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

– Оставь, мамынька... – сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. – Родимая, про-

сти!

– Голубчик... кормилец... – завыла старуха в исступлении.

– Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую... – советовал Ермошка. – Самая вредная женщина есть... От нее все...

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

– Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч... А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя...

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой.

– На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? – приставал он к Ермошке.

– А это видно будет... На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то – вот за это за самое не похвалят.

– И венчанных-то тоже не полагается уве-

чить… – усомнился Мыльников.

– Про венчанную так и говорится: мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина… Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.

– Уж это известное дело…

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

– Управился я с Акинфием Назарычем, – хвастался он. – Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение… Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

– Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, – рассказывал Мыльников. – Тоже знает порядок… Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом… не от ума…

Это происшествие совершенно разбило Фе-

ню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой – лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

– Я его больше не люблю... – прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

– Девочка, милая...

– А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть...

– Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть»,

«христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

– С чего ты это сунулся в чужое дело? – приставал Ястребов. – Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

– Стих такой накатился, Никита Яковлич... Обидно стало, что живого человека тиранят.

– Да ты-то разе прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

– Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? – рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. – Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, – не пикнет.

VIII

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки, по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодайкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходил старый

Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место, вроде Богоданки. Можно было купить готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

– Только бы поманило малость, – повторял Матюшка с деловым видом. – Обыщем золото...

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохлаждаться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправится. Мыльников так и не заплатил им.

– Простому рабочему везде плохо: что у

канпании нашей работать, что у золотопромышленников... – жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с глазу на глаз. – На что Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий по обыкновению молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, – жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком... Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положенье. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

– Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, – шутили часто рабочие над своей молодайкой. – Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим

счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, – какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

– Корову бы нам, Оксюха, – мечтал Яша. – Корму в лесу сколько угодно... Ловко бы?.. Во-

дили бы ее за собой на прииск, как цыгане…

– И лучше бы не надо… лучше бы не надо… – соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. – С молоком бы были, а то всухомятку надоело…

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое – и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь – самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

– Одного нам теперь недостает, Оксюха, – шутили мужики, – разродись ты нам маль-

чонкой или девчонкой... Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило... Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем, – продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

– Давно не видались, а как будто и не соскучились, – проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

– Ах, Матюшка, разве мы чужие?.. – ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком. – А я-то вас разыскивал по всем промыслам...

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

– Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются, – заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу. – А ежели разобрать, так ты поумнее других протчих

народов себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дедушки, у Родиона Потапыча, жилку прятала?.. У родителя стянешь да к дедушке?.. Никто и не подумает... Верно!.. Уж так-то ловко... Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил...

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожиным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

– Ай да Окся, молодца!.. – хвалили ее рабочие, поднимая на смех смутившегося Петра Васильича. – Носи, не потеряй да другим не сказывай... Хорошенько его, Оксенька, оборотня!

– Ты чего, в самом-то деле, к бабе привязался, сера горючая? – накинулся Матюшка на гостя. – Иди своей дорогой, пока кости целы...

– Да вы, черти, белены объелись? – изумился Петр Васильич. – Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы... На кого ощерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно хра-

пай... Будет богатого из себя показывать. Побогаче тебя найдутся... А что касаемо Окси, так к слову сказано. Право, черти... Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

– Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел...

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели походили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

– Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите... Ей-богу!.. А дело-то под носом... Мне все одно, а я так, жалеючи, говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю...

– Да ведь она пустая, Сиротка-то? – возра-

жал Матюшка.

– Была пустая, когда Кишкин работал... А чем она хуже Богоданки?.. Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось...

– Да ты-то о чем хлопочешь, кривой черт?..

– Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

– Ты вот куда метнул... Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем... А за такие дела еще в Сибирь сошлют.

– А Ганька на что? Он грамотный и все разнесет по книгам... Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался... А Кишкин задарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?.. Лучше всего в аренду взять. Платить ему двухгривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: на-

скрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке...

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

– Я тебе скажу пряменько, Матвей, что мы и Кедровскую дачу не тронем, ни одной порошины золота не возьмем... Будет с нас Балчуговского. Он, Оников-то, как поступил, и сейчас старателям плату сбавил... А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне... Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должен я все это золото травить Ястребову ни за грош... Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно

другим тоном.

– Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей... Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

– Давно бы так... Только никому, смотри, ни гу-гу!..

– А я тебе скажу одно: ежели чуть что замечу – башку оторву.

– Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена... И своя артель чтобы ничего не знала. Слово сказал – умер...

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

– Охота Оксины деньги закопать? – пошутил он. – Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали… Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: чтобы этот кривой черт и носу близко не показывал… понимаешь?..

– Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, – клялся Матюшка, встряхивая головой. – Я ему ноги повыдергаю…

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз – всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе – новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

– Все уйдут… – рассказывал Ераков. – Пусть чужестранных рабочих наймут. При Карачунском куда было лучше… С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Та-

кого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, – сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него все золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

– Дурак ты, Петр Васильич, – вразумил его

кабатчик. – Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать… Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу, может, и смилуется…

Раздумал Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым начистоту.

– Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай, – торговал вперед Петр Васильич.

– Ладно, разговаривай… По четыре с полтиной дам, – решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

– Ну, а теперь прощай, – заговорил Ястребов. – Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак…

– А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов

был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книге золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

– Пожалеете меня, подлецы! – заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. – Благодетеля своего продали…

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

– У меня – не у Степана Романыча... Да...

Да... Служащим было убавлено жалованье, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались по-прежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике были увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вы-

рвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел где нужно и не видеть и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово и наконец произнесен был приговор, выражавшийся одним словом:

– Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый – осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй – и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости реформы нового глав-

ного управляющего были похоронены под этим словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, – это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это слу-

чится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

– Ну что, как дела? – спросил он, не глядя на старика.

– Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, – спокойно ответил старик.

У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланной мягкостью:

– Мне нужно серьезно поговорить... Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы... Во всяком случае я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать – все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбочкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить – торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами про-

читал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе опустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй... Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

– Ну, что же вы молчите? – спросил наконец Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

– Что же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное... Что прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает...

– Есть хорошие знаки?..

– Будут и знаки...

Одним словом, дело не склеилось, хотя

непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит! Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то... От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми остались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой – его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

– «Нет, брат, я тебя достигну!.. – сердито ду-

мал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. – Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, если бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь…

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла вся одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленую рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли како-

го-нибудь разговора с Карачунским.

– Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романыч приехал... – рассказывал кочегар. – Ну, Кишкин сидел уж дивно [9]времени... Сидит, лясы точит, а что к чему – не разберешь. Известный омморок! Ну, как увидел Степан Романыча, и даже как будто из лица выступил... А потом ушел куды-то, да и бежит: «Ох, беда... Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, омморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз «наведывался» на Рублиху, чтобы посмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался... Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из

главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет...» – подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах, и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о

случившемся.

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж... Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по письменному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

– Табак дело... – решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. – Записку-то ты покажи в полиции, а

деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

– Пенцию табе оставил Степан-то Романыч, дуре, а ты уряднику...

– Отстань, сера горючая...

– Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы... Первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога...

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой: целый день ревела о записке.

– Мне дороже записка-то этих денег, – плакалась Феня. – Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха... Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого навождения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что. Без меры лютовал чистоплюй, особенно над старателями.

– Умякнет, – отвечал старый штейгер. – Не больно велик в перьях-то.

– Утихомирится?.. Дай бы бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателев вконец... Так и рвет, так и мечет.

– Утишится!

– Упыхается... Главная причина, что здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за что похвалить, а суди на волка – суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, делян-

ками притесняют, ну, открылась Кедровская дача – кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходят…

– Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся… На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь… Конечно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать целковых – он и не знает, что с ними делать. Все равно, голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает… Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин – он на Генералке прииск заявил – в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очувствовался… А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

II

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильич тоже поседел от заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

– Мамынька, а где у тебя деньги... а?.. Скажи, а то, неровен час, помрешь, мы и не найдем опосле тебя...

– Тьфу! Тоже и скажет, – ворчала старуха. – Прежде смерти не умрем... И какие такие мои деньги?..

– А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

– Ничего я не знаю...

– Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово... Как он меня срамил-то во-

сетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи...» Ведь это что же такое? Ястребов вон сидит в остроге так и меня в пристяжки к нему запречь можно эк-ту.

– А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? – язвила баушка Лукерья. – Ловко он тебя тогда обезживотил.

– Мамынька, не поминай... Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче...

– Дураком ты себя оказал, и больше ничего... Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

– Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась... Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю. А денег он тебе не отдаст...

– Не твоя печаль... Ты сходи к Ястребову в острог, да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

– Ах, мамынька...

– Два года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал... А еще мужик

называешься! Не тебе, видно, мои-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сделали ему внушение.

– Ты смотри, кривой черт... Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителев почитать должон... Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную... Он здесь только опомнился, что опять свалял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, – за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото

со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и обжигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил… Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дуром, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать… Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средствием. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

– Ты в жилетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к жилетке-то…

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

– Старички, есть ли на вас крест? – взмо-

лился он. – Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

– А, так ты вот какие слова разговариваешь… Снимай-ка жилетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на обчественный счет приставим. Будешь родителев уважать…

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли… Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал, как мертвый.

– Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, – посоветовали старички.

– Куды я теперь пойду? – застонал Петр Васильич.

– А уж это твое дело, милаш…

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить…

– Выжгу… зарежу… – бормотал он, сжимая кулаки. – Будете меня помнить, ироды…

– А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться, – до того тошно ни душе. Теперь глаз показать никуда нельзя... Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели

около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

– Давно бы тебе догадаться, баушка, – повторял Кишкин. – Шелковый будет... хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали...

– А ты-то чему обрадовался? – напустилась на него старуха. – От чужого безвременья тебе лучше не будет...

– А не скупай чужого золота! Вперед наука... Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

– И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку... Ох, и не рада я, что заварила кашу. Постращать думала, а оно вон что случилось... Жаль мне.

– Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся... Зуб на него грызли, ну, а он подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Киш-

кин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

– Отдай, Андрон Евстратыч… Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу…

– Тебя жалеючи не отдаю, глупая… У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да… А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

– Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

– А где у тебя расписка?

– На совесть даваны…

– Ха-ха… Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит… Разве такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

– Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы…

– Да ведь я так… У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

– Ко мне же придешь, поклонишься своими деньгами, да я-то не возьму… – бахвалился Кишкин. – Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

– Это твой процент, получай…

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги, – ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой.

– Бери, баушка, не поминай меня лихом… Найди другого такого-то дурака.

– Да ведь я так, Андрон Евстратыч… по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал… Не отдаст, грит, тебе Кишкин денег!

– Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз…

– Старая я стала… глупа…

– Ну, ладно, будет нам с тобой делиться.

Посылай-ка помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску… Где Наташка?

– А куды ей деваться?.. Эй, Наташка… А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней: девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос… Не пригожее дело.

– А у меня характер веселый, баушка… Люблю с молоденькими пошутить.

– Шути с Марьей, коли такая охота напала…

– У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

– В годы еще не вошел жениться-то, – пошутила старуха. – А Наташку оставь: стыдливая она, не то, что Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених… Форсить начал.

– Недавно на триста рублей всякого платья заказал, – хвастался Кишкин. – Не все оборвышем ходить… Вот часы золотые купил, потом перстень…

– Ох, мотыга, мотыга…

С Кишкиным действительно случилась

большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем, во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

– Сватать Наташку приехал, – шутил он. – Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянке, выравнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумянилась – совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

– Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? – повторял Кишкин. – Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я поживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу... С деньгами-то потом любого да лучшего жениха выби-

рай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает. Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

– Ты ей приданое сделай, – советовала старуха. – Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь – поминать будет.

– Эх, баушка, баушка... Помереть все по-

мрем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю… Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

– Ишь чего захотел, старый пес… Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе…

– Шутки шучу…

Странные дела творились в дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

– Объедаете меня… – корила баушка каждым куском. – Не напасешься на вас!.. Жил бы

Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

– Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятишками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

– А ты поразговаривай… Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах…

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал.

– Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь, – говорила Наташка. – Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем…

– Я старателем буду, как тятька… – говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца.

Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

– Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина, – жаловалась Наташка. – Больно нехорошо глядит он... Уставится, инда совестно сделается.

– Наплюй на него, Наташка... Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото... Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли... Вся Тайбола ума решилась, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Что греха у них, и не расхлебать... До драки дело доходило.

– Это все Тарас... – говорила серьезно Наташка. – Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, чтобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятька, от Тараса, потому совсем он пропащий человек... Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребя-

тишками, а сам шатуном шатается.

– И то брошу, – соглашался уныло Яша. – Только чуточку бы поправиться...

III

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он ни передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» – везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал:

«Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное…»

– Да ты что лежишь-то? – спросил наконец Матюшка. – Аль неможется?..

– Весь немогу… – глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а оксины деньги таяли в кармане, как снег…

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, а так же думал и Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду яс-

но можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Богоданке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета... Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами – там богатое золото объявилось, а в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

– И чего ты привязался к Мутяшке, – наговаривал Ганька. – Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже... На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки... Ледянка тоже в славу входит...

– Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все протчие места наплевать... Тем и живут, что друг у дружки

золото воруют.

Между прочим Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото – и с Богоданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злоключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат, – потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

– Нету денег-то, Петр Васильич... – начал Матюшка издали.

– Ненастье перед вёдром бывает.

– Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке...

– За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были… Да ты что пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь… Кабы у тебя ум… что я тебе наказывал-то, оболтусу? Сам знаешь, что мне на Богоданку дорога заказана…

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

– Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич… Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье – тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

– Вся сила в Марье…

– Дура она, вот что надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило… Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого… Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

– Да уж речистая баба: точно стреляет сло-

вами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи... Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.

– Было и это... – сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. – Моя-то Оксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семенычу... Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

– Ну, теперь твоя вся Марья, – решил Петр Васильич. – Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости что хошь сделает.

– И то сделает... Подсылала уж ко мне, – тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. – А только мне она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, чтобы вызнать, где ключи прячет Шишка... Каждый день, слышь, на новом

месте. Потом Марья же сказывала мне, что он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

– Так, дурит... Комариное-то сало, разыгралось.

– Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку...

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

– Окся ужо до тебя доберется, Петр Васильич... Она и то обещает рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя». То-то дура... Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится... Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумьи свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

– Чего ждать-то?.. Все одно пропадать... а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет...

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело ото-

двинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», – без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя...

– Эй, кто жив человек в землянке? – послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

– Здесь... – шептал Ганька, показывая головой на землянку. – Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

– Кого там черт принес? – отозвался Ма-

тюшка с деланной грубостью.

– Так богоданных родителев принимают? – обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. – В гости пришел, зятек…

– Милости просим… Проходите почаще мимо-то, тестюшка…

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

– Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? – предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. – Я самый и есть… Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый… Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

– Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел…

– Мне бы Оксю повидать… – бормотал виновато Мыльников. – Больно я по ней соскучился… Сказывают, брюхатая она.

– Не твое дело… Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

– Матюшка, не тронь, в сам деле, Тараса... Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству...

– Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! – заговорил Мыльников, набираясь храбрости. – Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся...

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.

– Что же, я и уйду, – решил вдруг Мыльников. – Нахлебался у зятя щей через забор шляпой... эх роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась

отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила:

– Помру скоро, тятя...

– Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи...

– Нет, помру... Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей...

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

– Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на

взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих – все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар – все с иголочки, все как только что облупленное яичко.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбаю-

щееся лицо мелькает в окне.

– Наше вам, Марья Родивоновна… Легко ли прыгаете?..

– Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

– Какая такая причина случилась?

– По одном подлом человеке сохну… Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

– Тоже навяжется лихо…

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цигарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, – Семеныч перед ним цыпленок.

– Ну так как же, Марья Родивоновна?

– Да все то же, Матюшка… Давно не видались, а пришел – и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать… Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься?..

– Экий у тебя язык, Марья…

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

– Черт, отстань…

– Выходи ужо в лес… Выйдешь?..

– Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить… Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки… Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес – и пропала… Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

– Ты это что? – спросил он участливо.

– Да так… голова болит… скучно.

Семеныч был добрый и обходительный

муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачка... Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил – на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и встать утром на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Поди, думает леший, что я его испугалась, – подумала она и улыбнулась. – Ах, дурак, дурак... Нет, я еще ему покажу, как муж-

нюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется... Не на таковскую напал. Испугал... ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

IV

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась, как вкопанная; перед ней стоял Родион Потапыч.

– Да ты давно онемела, что ли? – сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не

сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», – мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

– Случай вышел к тебе... – заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. – Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабьим делом, но ничего не могла понять.

– Где взял-то? – спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

– Не украл, а свои собственные...

В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

– Где это тебя угораздило-то?

– В шахте... Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Что такое, думаю, случилось?.. Выждал с минуту и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай до самого патрона, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил

его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет... Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл...

– Ах, батюшки... да как это тебя угоразди-ло-то?

– Вот и пришел... Нет ли у тебя какого средствия кровь унять да против опуха: щеку дует. К фершалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете... Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

– Нет, этого нельзя, а кровь уймем... Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, «сердце схватило», «весь немогу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до

того возмутило старика, что он сейчас же явился к Карачунскому с формальной жалобой:

– Это он нарочно, Степан Романыч.

– Как нарочно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу...

– Нарочно, Степан Романыч, ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить... Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точ-

но удивился самому себе, что дошел до такого ничтожества.

– А вот это к ночи прими, – наставительно повторяла старуха, – кровь разбивает… Хорошее пособие от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начинает.

Родион Потапыч улыбнулся.

– И то меня за сумасшедшего принимают, – заговорил он, покачав головой. – Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал… Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит… Тошно смотреть-то.

– Все жалятся на него… – заметила баушка Лукерья. – Затеснил совсем старателей-то… Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят…

– И старателей зря теснит и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

– А у меня уж скоро Рублиха-то подастся… да. Легкое место сказать, два года около нее бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, что при Оникове все дело

оправдается, так даже жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука... Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

– Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч...

– С нами крестная сила!..

– Верно тебе говорю... Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольню и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

– А-ах, ба-атюшки... Да я бы на месте померла.

– Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах... Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти, – я прополз и слушаю. И он за мной ползет... Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и я струхнул. Главная причина, что без покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бро-

дит теперь...

– Почему же около шахты ему бродить?

– А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

– Ну, так что дальше-то было? – спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства. – Слушать-то страсти...

– Дальше-то вот и было... Повернулся я, а он из штрека-то и вылезает на меня.

– Батюшки!.. Угодники... Ой, смертынька!

– А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня... бледный такой... глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

– Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

– Ты слушай дальше-то: он от меня, а я за ним... Страшновато, а я уж пошел на отчаян-

ность: что будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел в забой. Теперь понимаешь?

– Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя...

– А я понял: он мне показал, где жила спряталась.

– А ведь и то... Ах, глупая я какая!..

– Ну, я тут на другой день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то...

– А что ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

В этот момент под окнами загремел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

– Погляди-ка, как наш Кишкин отличается... Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

– Передохнуть завернул, баушка, – весело говорил он, не снимая картуза. – Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднился малым делом… Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богоданки.

– Здравствуй, Андрон Евстратыч… Разбогател, так и узнавать не хочешь, – заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

– Ах, Родион Потапыч! – обрадовался Кишкин. – А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались… Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь же у следователя. Еще ты меня страмил…

– Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало…

– Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разе бы довел себя до этого, а теперь уже поздно… Голодный-то и архирей украдет.

– Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч…

– От бедноты это приключилось, – объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор. – Все мы так-то: в чужом рту кусок велик…

– Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, – наступал старый штейгер. – Истинно через тебя... Метил ты в других, а попал в него.

– Так уж случилось... – смущенно повторял Кишкин. – Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напринялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало...

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

– Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет... А между прочим, твое дело – тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда, – пожалуй, подумают, что он бежит.

– Ты бы переночевал? – предлагала баушка Лукерья. – Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

– А мне пора, в сам деле!.. – поднялся Кишкин. – Только-только успею засветло-то... Баушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь око-

лачивается… Шабаш, брат: и узду забыл и весы – все ремесло.

– Ох, и не говори, – застонала баушка Лукерья. – Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет.

– Ничего, обмякнет, дай время, – успокаивал Кишкин. – До свежих веников не забудет…

– А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича, – вступился Родион Потапыч. – Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях… В сам-то деле, мужику теперь ни взад ни вперед ходу нет. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились… Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой, – она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

– Ты это что, птаха, по заугольям прячешься? – спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

– Дедушки боюсь… – откровенно призна-

лась Наташка, краснея детским румянцем.

– Ну, страшен сон, да милостив бог... Поедем ко мне в гости!..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

– Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. – кричала она задыхавшимся голосом. – Возьми ужо деньги-то от меня...

– Ага... а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо...

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

– Вот дармоеды навязались!.. – ворчала раздосадованная старуха. – Богадельня у меня, что ли?..

Родион Потапыч против обыкновения засиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

– И впрямь, надо полагать, с ума схожу, – печально проговорил старик, разглаживая бороду. – Никак даже не пойму, что к чему... Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец...

– Ох, и не говори!..

– Что мужики, что бабы – все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет... От жадности и с сыном вздорила, а теперь оба плакать будете. И все так-то... Раздумаешься этак-то, и сделается тошно... Ушел бы, куда глаза глядят, только бы не видать и не слыхать про ваши-то художества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый старый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Пра-

вильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. С ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь зарделся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак... Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

– Да ведь это баушка Лукерья горит! – вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявшийся с задней избы. Громадное

пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

– Сам поджег свой-то дом!.. – галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. – Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

– Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

– Да она, надо полагать, того... – объяснил неизвестный мужик. – В самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

V

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

– Тетя, родная, что только и было, – рассказывала она, припадая к Марье. – И рассказывать-то – так одна страсть...

– Дедушка-то зачем был?

– А так навернулся... До сумерек сидел и все с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел... Я его в сенки потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце – отдушинка у нас махонькая в стене проделана, – в оконце-то и вижу, как через огород человек крадется. И вижу, несет он в руках бурак берестяной и прямо к задней избе, да из бурака на стенку и плещет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич... ей-богу, тетя, он!..

– Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось… Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время… Ну, потом-то что было?

– А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она, как на меня зыкнет… Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб… Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе… Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного… А баушки нет… Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком это… Там ее и нашли, около сундука… Обгорела вся… ничего не узнать…

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней.

– Народ-то все Петра Васильича искал, – продолжала Наташка, – все хотели его в огонь бросить.

– А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все из-за тебя… Ежели будут спрашивать, так и говори, что никого не видала, а наболтала со

страху.

– Да я видела...

– Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука... Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

– Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его рабо-

та... Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

– Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой что поделает... Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху...

– Приказала баушка Лукерья долго жить, – заметил он, здороваясь с Марьей. – Главная причина – без покаяния старушка окончание приняла. Весьма жаль... А промежду прочим, очень древняя старушка была, пора костям и на покой, кабы только по всей форме

это самое дело вышло.

– Все под богом ходим, Ермолай Семеныч... Кому уж где господь кончину пошлет.

– Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем... Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло...

– Мало ли что зря болтают! Просто опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела... Много ли старому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

– Конечно, зря, а я только к слову. До свиданья, Марья Родивоновна... Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

– Милости просим...

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

– А моя-то Дарья пласт-пластом лежит... Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому...

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

– Вы не думайте, чтобы через мои руки она помирала... Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь ни боже мой...

– Жениться будете?

– Как сорочины минуют, подумываю... Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

– Сватайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить...

– А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоновна, статья подходящая... ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью... Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоновна в город переехала... Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая...

Марье пришлось прожить на Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дождаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и всю голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

– Я твоего Петруньку тоже устрою, – говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. – Много ли парнишке надо. Покойница-бабушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь…

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и Феня.

– Старичок ежели пошутит, так не велика беда, – наговаривала Марья. – Это не то, что молодые парни зубы скалят…

Таким образом, Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинулся на Марью же и долго ворчал, что у

него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

– Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша, – усовещивал он жену. – От места еще мне откажет...

– Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже, – разе удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и

тоже не очень тверда разумом-то... А главная причина поездки заключалась в желании видеться с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

– Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой, – говорил Семеныч, провожая жену, – бродяги в лесу шляются...

– Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, – огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался... Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

– Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куда прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука, – наказывала она перед отъездом. – Да возьми припрячь его при случае...

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозли-

лась и объяснила:

– Надоел он мне, как горькая редька... Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее маслеными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

– Играешь, Марьюшка, – посмеялся Кишкин. – Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужем и женой бог судья. Ты мне только тово...

– А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется... Ну что, довольны теперь?..

– Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у

своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное... В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька, – видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с размозженным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой... У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге, – она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его

дело... С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

– Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

VI

Дела у компании шли тихо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло, – нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрыше верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова кряжа, так что, по всем признакам, россыпь образовалась из разрушившихся жил, залегавших именно в этом кряже так,

что золото зараз можно было взять и из россыпи и из коренного месторождения.

– Мы возьмем золото с хвоста и с головы, – повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

– Что же, ваши бы слова да богу в уши, – уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы собственно в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они

выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделать.

– Как же это так, – удивлялся член, – кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

– Точно так, вашескородие, – отвечал староста. – Кругом золото, а в середке бедность... Все от компании зависит: ежели б объявили старательские работы, оно все же передышка... Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

– Я поступаю только по закону, – говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. – Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем...

– Да... гм... Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

– О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют... Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что собственно рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, – только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

– У меня разговор короткий: чуть что, сей-

час рабочих из других мест кликну, – хвастался Оников. – Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

– Кто там, крещеный?

– Можно зайти, дедушка, обогреться?..

– Дня-то тебе не стало? – удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. – Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

– Ты что это полуночничаешь? – сердито спросил его старик. – Мало ли тут шляющихся

по лесу-то...

– Я с делом, дедушка... – рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. – Окся приказала долго жить...

– Кончилась?.. – участливо спросил старик, сразу изменившись. – Ах, сердяга... Омманула она меня тогда, ну, да бог ее простит.

– Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла... На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждила... И тебя вспомнила. «Помру, грит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда».

– Вспомнила?

– И еще как, дедушка... А перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел... Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Что ты, – говорю, – Окся: даст бог, поправишься...» – «Я, грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль...» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала...

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще

раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

– Да ты чего это ночью-то хочешь идти? – проговорил старик. – Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

– Тошно мне, дедушка... – шептал он задыхавшимся голосом. – Ах, как тошно...

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

– Эк ты напугал меня, – рассердился Родион Потапыч. – Ну чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этакий молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот

бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл.

– Что же это такое? – изумлялся старик, глядя на Матюшку. – Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась... На твои счастки, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото... Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно... Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправ-

даются все произведенные расходы, да столько же получится дивиденда.

– Надо деньги-то считать, когда они в карман положены, – строго заметил Родион Потапыч.

– Ничего, сосчитаем и не в кармане…

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают… Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал любоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

– Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

– Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч…

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался груст-

ным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

– Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает... Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело...

– Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

– А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, чтобы ключ добыла, а она через Наташку... Я ее на дороге встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех... Как закричит... Все у меня в голове перемешалось... ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует... Потом Наташка

очнулась; ну, мы всех прикончили разом, чтобы никакого следа. Деньги захватили – и в лес. Ночью около огонька принялись делить... Вижу, Петр Васильич обманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят... Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы... На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью говорила все... «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того самого время: легче вот руки наложить на себя... места не найду...

Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

– Повремени малость... – сказал старик, не глядя на Матюшку. – Я тебя представлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое

сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

В ту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благодействовать стотысяч-

ное население и десяток таких компаний...

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.

То есть при смерти. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

2

Шары, по уральскому говору, – глаза. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

3

Сунериками на Урале называются крупные драгоценные камни, преимущественно тяжеловесы. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[^^^]

Неравный брак. – Ред.

[^^^]

5

Восетта – в прошлый раз.

[^^^]

6

На золотник выйти – найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник.

[^^^]

7

Якшить – от татарского слова якши: да, поддакивать, дружить.

[^^^]

8

Галиться – насмехаться.

[^^^]

9

Дивно – порядочно, достаточно.

[^^^]